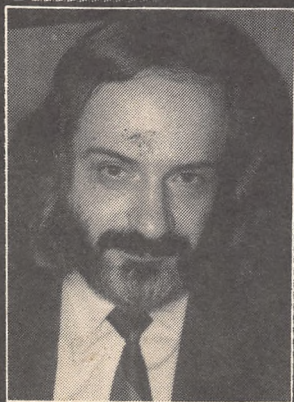
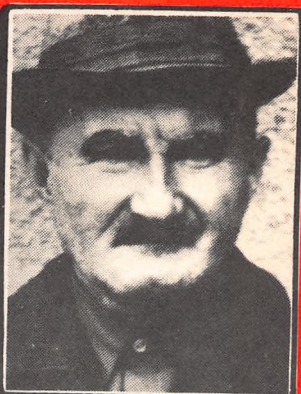
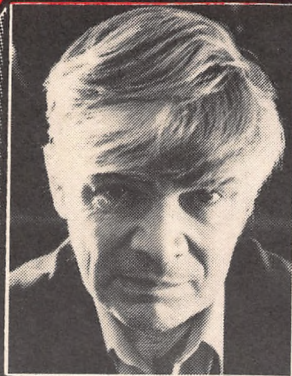


№3 (67)

1991 г.

# СРБИЈА

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ





№3 (67)

1991 г.

**АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»  
Париж — Нью-Йорк  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»  
Москва**



Главный редактор — АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Зам. главного редактора — ИРИНА ТАРТАКОВСКАЯ

Технический редактор — ВИКТОР ДОБРОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,

Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,

Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,

Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,

Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,

Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:

Third Wave Publishing House.

**Адрес редакции в США:**

Alexander Glezer,

286 Barrow Street, Jersey City, NJ 07302 USA

**Адрес редакции во Франции:**

Alexandre Gleser

215 Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France

**Цена номера: 25 амер. долларов, 150 фр. франков**

**Подписчикам журнал доставляется за счет редакции**

**Library of Congress Catalog Card No. 84-8582**

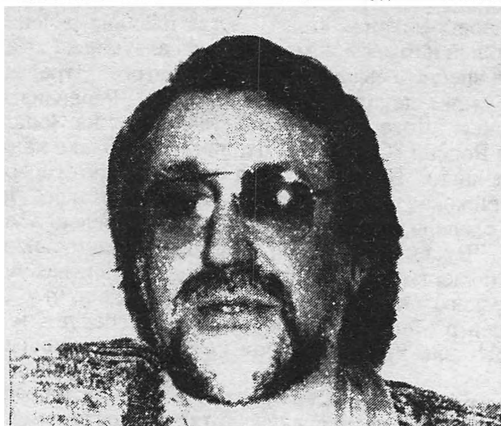
**ISSN: 0747-7287**

## ОТ РЕДАКЦИИ

"Очень своевременная книга" – так названа рецензия Олега Дарка на первый и второй номера нашего альманаха за нынешний год, которые впервые вышли в Москве (до этого "Стрелец" на протяжении семи лет печатался в Нью-Йорке). Рецензия эта была опубликована в "Литературной газете". А вот на Западе на два вышедших в России "Стрельца" откликнулся только калифорнийский еженедельник "Панорама" Два же зубра, две старых русских газеты – парижская "Русская мысль" и нью-йоркское "Новое русское слово" сделали вид, что никаких таких "Стрельцов" за 1991 год не было... "Русская мысль", нарушая французский закон, отказалась поместить даже наше платное объявление. А владелец "Нового русского слова" Валерий Вайнберг заявил, что "Стрелец", раз он вышел в Москве, его больше не интересует, и запретил давать в разделе хроники своей газеты сообщение о выходе альманаха.

Ну, ничего, мы к антидемократичности и антиплюралистичности этих изданий уже привыкли. Хотят отныне замалчивать наш альманах, пусть замалчивают, тем более, что тираж у них не как у "Литературки", а такой маленький и скромненький, что неловко цифры даже называть.

Но перейдем к третьему номеру "Стрельца". Тут вы встретитесь с целым рядом молодых и, главное, талантливых, прежде почти не печатавшихся авторов. Таких, например, как Сергей Бардин, Руслан Марсович и Игорь Яркевич. Нам думается, что вы получите большое удовольствие и от записных книжек Венедикта Ерофеева, и от рассказа-шедевра Георгия Владимова, от стихотворений покойного Яна Сатуновского и русского американца Льва Лосева, от мудрых эссе Михаила Эпштейна, от нового романа Сергея Юрьенена и от многих других произведений, в том числе и от критических статей, опубликованных в этом номере альманаха.



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

## ЗЕМЛЯ\*

Е. Германовой

1.  
Какою горечью  
впрок душу напитала  
мою невольничью,  
когда б ты только знала!

Поля лоскутные  
к военным поселеньям  
впритык и людные  
по воскресеньям

погосты с хлопьями  
вороньих стай галдящих  
ограды с копьями  
вокруг на дне лежащих.

...Раздав имение  
юрод и богомолка  
в своих владениях  
мы бедствовали долго.

---

\*Стихи из книги «Чужбинное», готовящейся к печати в издательстве «Московский рабочий».

Изгой и пария  
подслеповато,  
поддав, кемарили  
под боком у заката.

И возле осыпей  
ворсилась перед нами  
рожь низкорослая  
с седыми васильками...

О оскудевшая  
и испитая  
когда-то глевшая,  
теперь сырая,

по праву сына я  
в чьем черном списке,  
земля единая,  
хотя в раздрызге,

и неделимая,  
не отражая,  
шепчу: родимая!  
— тебе, чужая.

2

Желток ампира с мордой львиною  
в ноздре с кольцом  
Я пацаном стою с повинною  
перед крыльцом.

О пир для глаз!  
Но слеп сегодня я.  
И преисподняя  
не отпускает нас.

От каждой вещи  
разит белой.  
Позднее позднего мне смысл открылся  
вещий  
приниженности той.

Росли в провинциях емелями.  
А в грозный час  
на стенку стенка шли с портфелями  
и вожаки блатными фенями  
подбадривали нас.

И так сходились врукопашную,  
что было на весах  
победы потных однокашников  
цыплячье, но тем паче, страшное  
светило в небесах.

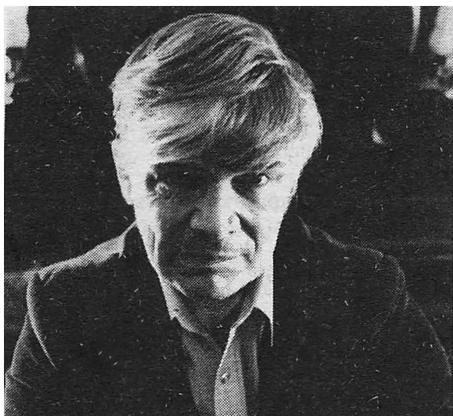
Кажись, кому именья розданы,  
тому служи.  
Но в сумерки грозноморозные  
куда-то юкнул неопознанный  
зверек с межи.

Мы — однолюбы  
в который раз  
В который раз архангельские трубы  
оповещают нас

о днях коклюшных.  
Прожорливая тать,  
особо жалкая в своих посулах ушлых,  
земля родимая, ты приучила душу  
чего-то ждатель.

ноябрь 1987

Мюнхен



**Венедикт ЕРОФЕЕВ**

## **ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК**

1974 г. (с 12. XI., пр-д МХАТА.)

Композиторы Будашкин и Хандошкин.

Пресловутый Амальрик: "Россия — страна без веры, без традиций, без культуры и умения работать."

А Тихонов бы все напутал. Он в Афинах был Брут, а в Риме — Периклес.

Т.е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества: стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки.

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

В "Правде" 37 г. статья "Колхозное спасибо Ежову".

А после пива сразу красное, "не переводя дыхания", как говорил Эренбург.

Ввели новый термин: "бессильный гуманизм". Да и всякий гуманизм бессилён. Да здравствует бесс//ильный//гум//анизм!

строгие, подтянутые барабанщики

Советская власть стала взрослеть на 37-м году.



Не говори с тоской "не пьем",  
Но с благодарностью "пили".

Вот и Христос: "тут же разрушу храм и в три дня его построю".  
Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так  
убедительнее для обывателя.

К. Аксаков, 40-е г. г. "Гарантии не нужны! Каждая гарантия –  
зло. Где они существуют, там не может быть добродетели".

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их сто-  
роны.

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько  
стахановских движений.

Восстановить эту параллель пьющих и непьющих:  
Христос – Магомет  
Дантон – Робеспьер  
Геринг – Адольф  
Есенин – Маяковский

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

женщина неограниченных возможностей.

бесстыдство помыслов

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

"непригодно для молодых субъектов"

"ангел ты мой поднебесный"

Самые частоупоминаемые фамилии по заморским радиостан-  
циям: Пиночет, Попандопулос, Померанц.

Перголези – Векарлен:  
Ах, зачем я не лужайка?  
Ведь на ней пастушка спит.  
гребля, ебля и бабслей.

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

Да мало ли отчего дрожит рука? От любви к отечеству etc.

"Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!"

"одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного по-  
дъема"

"у меня было какое-то важное дело на душе".

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую – только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

он щекотал подмышками эту великомученицу

Эпоха великих порнографических открытий

Солженицын не потому интересен, что о нем много трезвонят. Сравни, например, шумы в местах радио "Свобода". Мы вслушиваемся не потому.

дегенеральный секретарь

Романс Ипполитова-Иванова: "О, запах померанцев!"

Глупая радиостанция "Свобода", она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума – нет бы сместиться влево или вправо.

Любить Родину беззаветно – это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

Никсон попросил Голду Мейер занять более гибкую позицию.

Уйди, противный, а не то я убью тебя из револьвера.

Вот у Некрасова изображение горя:  
"Соленых рыжиков не ест,  
И чай ему не пьется".

беззаветный труженик В. Ер.

"Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует." (Чехов о Горьком).

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

толстеет, раздается, как топор дровосека.

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

Жандармский генерал-майор Глоба телеграфирует в Петербург директору Департамента Полиции:

"Астапово полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого".

Он все пугает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконта де Лиля с Руже де Вилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком. Он в Риме был бы Периклес, а в Афинах Брут.

"Иногда, хоть и редко, свежесыпанная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена". (проф. Бок).

Любить тебя или наоборот? Т.е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда-нибудь.

Не замечать за собой ничего дурного. Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

Что в этом случае сказал бы псалмопевец. Он ничего бы не сказал.

Выпью еще стакан солнедара, закушу луковицей и буду славить моего господя.

Щербина говорил о русских:  
"Мы – европейские слова  
И азиатские поступки".

Конституция должна гарантировать человеку право на галлюцинацию и "перманентную угнетенность".

Ср. Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц – больше, чем было в действительности. Ср. в XX – повальные самоубий((ства)), а ни один почти персонаж не покончил с собой.

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

От каждой двадцатой бабы тебя сразу кидает в озноб.

Вот последние эпитеты в "Правде" и "Лит.газете": Подонок. Пасквилянт. Клеветник. Циник. Предатель. Огвратительное пресмыкающееся. Литературный власовец.

Сослан в Тулу за гомосексуализм.

Этого глупца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

У меня нет адресов, у меня только явки.

рукотворный, т.е. ману-фактурный

Еще замысел.: если меня сейчас остановят и спросят(вздор какой-нибудь), я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т.д.

Лучшее назначение перчаток у "полноценных" людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова – кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам. етс.

На столе сервированы были болгарские духи с водой из уни-газа.

У меня нормальное положение – закрытое, как у шлагбаума с норм.закрыт. И т.д.

С меня, болшевского, П.И. Чайковский написал свое знаменитое *Andante cantabile* на тему "Сидел Ваня на диване, курил трубку с табаком".

и преуспела на поприще бессловесности

Ну, конечно, зачем ему знать латынь, глаголы и спряжения, когда ему "ведомы глаголы вечной жизни".

Не будем обижаться, не будем издеваться,  
А будем обнажаться, а будем раздеваться.

"книга, полная романтических измышлений".

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например "Служу Советскому Союзу".

Создавать деревенский колорит: ты будешь кукарекать, а мы воздух портить втроем.

Дон Гуан говорит Командору: я чай пью – приходи ко мне чай пить – только со своим сахаром.

группа "беспокойных отщепенцев"

Сергей Михалков журналу "Шпигель": "Мы не боимся Солженицына, он нам просто надоел".

Так и умру не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

Боря С. и пр.

Может обойтись без тех тот, кто в себя погружен.

Мы с Борей в Болшеве: он, сидя за столом, уходит в себя. А я прихожу в себя, лежа на диване. И говорю: "Сейчас не время в себя уходить. Сейчас надо из себя выходить". Етс.

Душка Лесков: "Можно доказать, что христианство на Руси еще не было проповедано".

Ты такая толстая, что тебя не только таскать на руках, на тебя смотреть тяжело.

Любовь к несбыточным мечтаниям, например, побыть бабой.

Тем же занят был, чем были заняты пажы с графиней на виноградниках Мабли.

Плакать надо только от чего-нибудь большого, не надо мелким быть в слезах. Например, от большого количества выпитого, от большой глупости Тихонова, от большого ума Любчиковой етс.

С меня он слезает угрюмый.

Почему я должен болеть за арабов? Ни один араб меня еще ни разу не похмелил.

Или года два евреем.

Дурак Ал. Толстой: "На войне человек становится лучше. Чепуха с них слезает, остается ядро — и видно, с изъяном это ядро или нет. Каждому на войне хочется быть лучше и вернее".

Пусть твой труп будет таким же холодным.

В этом, конечно, есть своя правда, но это **комсомольская** правда.

И в запой отправился парень молодой.

во фрикасе не добавлять каперсов.

проговорили ночь о первопричине всех явлений

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова.

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-жуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

пить для восторгу или для терзания пить

Пора домой. Я чем-то удручен.

Ты выпей. Это тебя сократит.

Покупайте советские часы — самые быстрые в мире.

Ему пить нельзя – он от этого падает в обморок. В особенности с бабами, они его корежат, как выпьет – сразу обморок. В один из этих обмороков он подхватил сифилис.

Прощай. Веревку и мыло я найду.

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

И этот хронический гамлетизм, хотя я не убил ни одного отца ни одной из своих невест, и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

Москва



*Ян САТУНОВСКИЙ*

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

\* \* \*

Старый город немцы взорвали.  
Пошатнулась, покати́лась мостовая.  
Я бежал по ды́мным развалинам.  
Я бегу до сих пор, не переставая,  
я бегу...  
Тихо-тихо, понуря голову,  
прохожу я по новому городу.  
Он и выше на этаж, и краше.  
Не хочу его видеть даже,  
не могу...

21 мая 61, ДН-СК

\* \* \*

Борис Абрамович Слуцкий,  
товарищ эксполитрук,  
случился такой случай,  
что мне без Вас, как без рук  
(случился такой случай)

Что мне не Фет,  
не Тютчев,  
не Бунин-Сологуб  
и не Случевский,  
а  
Слуцкий,  
Ваш  
стих,  
раздражающий слух,  
понадобился вдруг.

Сознательное стихотворение,  
снаряженное как на войну,  
понадобится в наше время  
не мне одному.

5 дек. 61

\* \* \*

Слова-то какие: кортеж, эскорт,  
такое не сразу подберешь.

А Никита Сергеевич куражится,  
а Микитка кочевряжится,  
дескать, знай наших,  
а ну держись,  
расшибу весь мир,  
пожгу Париж!

1961

\* \* \*

Бей своих, чтоб чужие боялись!  
этот лозунг  
мы слышим давно.  
Били нас,  
в тюрьмы сажали,  
рыбам  
спускали на дно.  
— Бей! в бога мать и в зубы,  
с ходу,  
во весь разворот.  
— Бей!  
Веселее будет русский народ.

9 июля 1961



\* \* \*

Парень тюха-матюха,  
неземные глаза,  
помнишь,  
        парень,  
                        макуху,  
жмых,  
        по-русски сказать?

— На дворе тихо-тихо,  
месяц словно слеза.  
Я болел вшивым тифом,  
я забыл все слова.  
                                7 ноября 1961

\* \* \*

Братцы, что вы обо мне знаете?  
Что под носом усы висят?  
И что я не вашей нации?  
И что лет мне под пятьдесят?  
Малю,  
Малю вы обо мне знаете.

А ведь, кажется,  
чего бы легче бы:  
поднимите только веки вечные.  
За веками,  
за веками вашими  
спят онежские светлы зеленые,  
братья мои,  
братцы Иванушки,  
сестрицы Аленушки...  
                                22 декабря 1961

\* \* \*

Стукачи,  
сикофанты,  
сексоты,  
Рябов,  
Кочетов,  
Тимашук,

я когда-нибудь все напишу,  
я сведу с вами счета,  
проститутки  
и стихоплеты.  
Корнейчук,  
Корнейчук,  
где твой брат Полищук?  
Не прощу.  
28 декабря 1961

\* \* \*

Олицетворенная  
женская слабость,  
точенная шейка,  
нежнейшая грудь,  
не женщина – умирающий лебедь;  
она тебя  
так  
обведет и объедет,  
и так тебя, простофилю, обставит,  
что не успеешь и глазом моргнуть.  
3 февраля 1963

\* \* \*

Главный инженер.  
Физиономия  
а-ля Джек Лондон.  
В стальных глазах  
отразился чернильный прибор.  
Дюже импонирует  
диплом  
с англобом  
слабым женщинам на передок.  
13 февраля 1962

\* \* \*

Сиена жженая, цвет ожога.  
Налей стаканчик, гамарджоба!  
Спасибо девочкам  
в цветастых платя ситцах,  
они глазам моим дают напиток.

Мне света солнечная палитра  
нужней, как пьянице поллитра.

Спасибо листьям  
и траве спасибо  
за то, что —  
зелено и красиво!

14 февраля 1962

\* \* \*

Кончается наша нация.  
Доела дискриминация.  
Все Хаимы  
стали Ефимами,  
а Срулики —  
Серафимами.

Не слышно и полулегального  
галдения  
синагогального.  
Нет Маркиша.  
Нет Михоэlsa.  
И мне что-то нездоровится.

8 марта 1962

\* \* \*

Достану томик своего учителя.  
Давно я Хлебникова не перечитывал,  
не подымался на валы Саянские,  
в слова славянские  
не окунался.  
Исполненная детской мудрости  
струится речь, двоится, пристальная,  
расчесывая кудри водорослям,  
людские судьбы перелистывая.

28 марта 1962

\* \* \*

Рассказать вам про случай из жизни,  
как недавно один человек  
день, другой не явился в цех  
и чего из этого вышло?

А сегодня выходной  
проживем и без проходной,  
и без цеха,  
и без шпиндельного станка,  
и без ОТК,  
и без ВТЭЖа.

Захочу – пропью 100 рублей  
в чайной.  
Захочу – пойду на хоккей с шайбой.  
25 февраля 1962

\* \* \*

Вы ошибаетесь,  
они  
не антисемиты:  
все эти –  
Кочетов,  
Кречетов,  
Марков А.,  
Марков Б.,  
бодряк Софронов  
и тэдэ, –  
все это  
члены союза советских писателей,  
члены партии,  
инженеры человеческих душ.  
А вот за Эйхмана не поручусь.  
Эйхман  
не из нашей организации.  
15 декабря 1961

\* \* \*

Ни на русого,  
ни на чернявого  
не науськивай меня,  
не натравливай,  
и падучего бить,  
лежащего  
не научивай,  
не подначивай.  
Я люблю  
Шевченко  
и Гоголя.  
Жаль,  
что оба они юдофобы были.  
10 января 1962

\* \* \*

Женщина, сытая любовью  
мужа  
и друга дома,  
и изменяющая тому и другому  
с первым проходимцем: "ай лав ю";  
переимевшая  
разных и всяких  
по форме и по сути, —  
чем заглушить ей  
тревожный запах  
сытости, смерти, скуки?  
17 июня 1962

\* \* \*

Я завидую Вам,  
Окуджава,  
Вы  
"совсем ведь еще молодой",  
и одышка  
не страшна Вам,  
и не нужен валидол,  
и неважно, что, вот, не печатают,  
( "золотистый, золотой" )  
по ночам Вас читают девчата,  
( не качайте головой,  
Окуджава... )  
16 сентября 1962

\* \* \*

Затмись, светило,  
свети вполсилы.  
Вознесенский Андрюша,  
треугольная груша,  
чудак, разиня,  
не суйся в драку —  
отрекут от России.

а меня, читаку,  
оплетут,  
околпачат,  
оглушат,  
проведут на мякине,  
но могильной глине.  
26 мая 1963

\* \* \*

Рабин: бараки, сарай, казармы.  
Два цвета времени:  
серый  
и желто-фонарный.  
Воздух  
железным занавесом  
бьет по глазам; по мозгам.  
Спутница жизни — селедка.  
Зараза — примус.  
Рабин: распивочно и на вынос.  
Рабин: Лондон — Москва.  
10 июля 1963

\* \* \*

Я Мойша из Бердичева,  
Я Мойзберг.  
А, может быть, Райзман.  
Гинзбург, может быть.  
Я плюнул в лицо  
оккупантским гадам.  
Меня закопали в глину заживо,  
Я Вайсберг.  
Я Вайнберг из Пятихатки.  
Я Вайнберг.  
За что меня расстреляли?  
Я жид пархатый дерьмом напхатый.  
Мне памятник стоит в Роттердаме.  
20 сентября 1963

\* \* \*

Живу по старинке,  
читаю Аксакова,  
малюю картинки  
конкретно-абстрактные,  
хочу забыть,  
что на свете делается,  
учу себя  
ни на что не надеяться.

А на свете зима,  
и в домах зажгли  
разноцветные окна,  
и такие мохнатые  
по углам фонари,  
что смотреть  
щекотно.  
27 ноября 1963

\* \* \*

Архангелы — евреи, говорит Сапгир.  
Архангел Гавриил.  
Архангел Даниил.  
Топор за поясом  
и крылья на весу.  
С архангельской лошадью  
в архангельском лесу  
архангел Иосиф Бродский.

А Бог на иконе,  
Бог в законе,  
Бог, как осина, завяз в тумане,  
руками сучит и ногами,  
Бог в загоне,  
а показания дают сексоты,  
а председательствует сука,  
и это — Суд над Тунеядцем Бродским,  
где верой-чибiryачкой был поэт Прокофьев.  
16 октября 1964

\* \* \*

На носу декабрь. На дворе снежок.  
Под снежком ледок, как заметил Блок.  
Вот и Блока нет, Пастернака нет,  
одинокое мне в ледяной стране.

26 ноября 1964

\* \* \*

Тюмень, да теща,  
Да Марьяна роща.  
А не приелась ли вам солома,  
та самая, что дома едома?  
Не тянет ли вас поглядеть на девчонок,  
с косыми коленками из-под юбочок  
на стадионе  
в Нанси и Лионе?  
Не тянет? Хы! Так оставайтесь дома,  
Дома и солома едома.  
Тюмень, да теща,  
да Марьяна роща.

Москва



*Георгий ВЛАДИМОВ*

# НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, МАЭСТРО

*Рассказ для Генриха Бёлля*

Они вошли в понедельник утром, сразу после восьми. То есть, сначала шагнул в квартиру мордастый — лет сорока пяти, невысокий такой, упитанный, с волнистым коком над лбом и космочками волос за ушами; круглые щечки румянились, а рот лоснился, как будто он только что поел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам, — сказал он. Хотя какое же было сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился еще долговязый — помоложе, с утомленным лицом и рыбьими неподвижными глазами, — и совсем молодая дама в джинсовом платье с погончиками, которая вошла плечом вперед и скромно стала у притолоки. Она сразу меня поразила — странной бледностью щек, потупленным взором, длинными белыми прядями, стекающими из-под синего беретика, надетого набекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в глазок и потом через цепочку, то был всего один — мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу. — Пройдемте в ту комнату.

— В какую в "ту"? — спросил мой папа, начиная пугаться и от этого ужасно раздражаясь. — Кто вы такие, позвольте узнать?

— А вот это, — сказал мордастый, — раньше надо было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. Знаете, сколько сейчас всяких разных по квартирам шныряют?



И действительно, всегда спрашиваем: "Кто?", а тут — не могу даже объяснить, почему, — не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и проверил два раза, как действует замок. Молодая дама в беретике, ни слова не говоря, двинулась плечом вперед по коридору, прямо к моей комнате, неся за собой на отлете серый чемоданчик с патефонными застежками. Мордастый взял папу под локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам ее показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая своим замораживающим взглядом, долго ли я еще не буду понимать, в чем дело. И я повернулся и пошел вслед за папой, чуть не отдавливая ему пятки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, черной кожи, сумка, в другой — как будто ничего не было, но мне вспомнились увлекательные фильмы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом месте у меня сильно зануло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувимовна, вас тоже попрошу с нами. Звонить собираетесь? Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько бледная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опираясь на одну ногу, а другую обольстительно отставив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую занавеску и сказала, не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.

Мордастый подошел к ней, заложив за спину короткие ручки, и тоже посмотрел.

— А куда он мог деться? Сегодня у него никаких свиданий не назначено.

Вошел долговязый — со своей сумкой и с нашим телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на мой диван-кровать, еще расстеленный, и поставил аппарат себе на колени. В ту же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал в трубку долговязый. — Да, все в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и уставился на мордастого вопросительно.

— Матвей, — спросила мама печальным голосом, — ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти люди? Может, им нужны деньги? Так пусть скажут...

— Аня, тут что-то другое, — сказал папа, досадливо морщась. — Успокойся, пожалуйста. Они нам сейчас все-все скажут.

Мордастый усмехаясь отошел от окна и встал в центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения, мы тут у вас поселимся. Вам уж придется уплотниться, ничего не попишешь. В эту комнату не входить, тут у нас будет... неважно что, вам до этого нет дела. Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали

родственники. — Он поглядел на папино лицо, потом на лицо долго-вязого. — Дальние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что они есть.

— И надолго приехали родственники? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых моста, сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спрашивают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят. К окнам старайтесь подходить не часто, занавески лучше не отодвигать. Телефоном можете пользоваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спросил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось узнать имя пленившей меня дамы.

— Ее? — Мордастый перевел улыбчивый взгляд с меня на даму и обратно. — А ее не будут спрашивать.

— Позвольте все-таки выяснить, — спросил папа, еще не остыв от раздражения, — а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич, — сказал мордастый с легким укором, — мы вам почему-то больше доверяем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точно крестик. Он развернул ее на секунду и снова упрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?

— Папа, — сказал я, — ты все еще не понял? Им нужен этот писатель, — я постарался сказать небрежно, — у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый. — Откуда вам известно, что отключили?

— У которого испортился телефон, — сказал папа с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытянулась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет "испортился".

Тем более, что и сам наказанный так отвечал. Знали истину оба наших кооперативных дома, знали бабушки, сидящие в беседке и на лавочках у подъезда, знали даже дети, играющие в песочницах, что телефон у нашей несчастной знаменитости отключен *пожизненно*, и этот номер 144-47-21 передан каким-то другим людям, которые вам ответят, что прежний абонент выехал навсегда за рубеж, а могут и ответить — что умер... Но кому-нибудь непременно хотелось выяснить "из первых рук", что за нарушение было Устава связи — куда-нибудь он не туда звонил, или ему звонили не откуда следует? — и он, отводя смущенно глаза, что-то бормотал, что все некогда вызвать монтера со станции, и вообще ему без телефона даже лучше, спокойнее.

– Вы с ним общаетесь? – спросил мордастый. Они с долго-вязым внимательно, выжидающе смотрели на папу.

– Ну, если можно назвать общением, что мы перекинемся двумя словами... о погоде, или он задаст какой-нибудь вопрос... технического порядка, – у папы от смущения одно плечо поднялось к уху, – да, общаемся. Как-никак соседи. Но если есть такая необходимость, чтоб я воздержался на какое-то время...

– Зачем же, – сказал мордастый. – Такой необходимости нет. Даже было бы желательно, чтобы вы продолжали общаться, как ни в чем не бывало. Я бы вам дал соответствующие инструкции.

Папа глянул на маму. Она опустила голову и разглядывала паркет.

– Ну, как желаете, – подождав, сказал мордастый. – Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, что вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.

Я подошел к даме, все так же пристально наблюдавшей за теми тремя окнами – прямехонько против наших, на верхнем, пятом, этаже, – и слегка отвел занавеску.

– Я же только что предупреждал, – сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока еще находился в своей комнате, поэтому к нему и не повернулся.

– Что-нибудь он опять натворил? – спросил я даму. – Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно, из-под опущенных наполовину век, затем ее взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался на чем-то ниже пояса и ушел в сторону. Больше ее взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое ее заглавие: "Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах".

– Столик мне подойдет, – сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь. – А это они уберут.

– Ну-с, мне пора, – сказал мордастый.

Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором, мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, что там у меня могло стоять, обернутое белой калькой, еле прозрачной, так что можно и не заметить, но при желании – кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксенов, Фазиль в полном виде, первая часть "Чонкина", "Верный Руслан", Липкина "Воля" и кой-какой Бердяев, "Зияющие высоты", три-четыре журнала. Не могу не сказать – золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в полстоимости джинсов.

– Зачем это держать? – спросил мордастый с укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же выражением.

– А если мне-е... – Я отчего-то заблел. – Если это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы, — сказал мордастый уверенно (и впрочем, со знанием дела). — Незачем голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрал голову, отставив ногу, вылитый "маленький капрал", которому ужасно хочется в Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нам только мешают, а ничего не дают для понимания.

— Да? Это интересно. Какие же этапы?

— Вы сами знаете, какие.

О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, все-таки пошла — тайком от мужа — выяснять, за что им отключили телефон. "Вы сами знаете, за что" — "Но в чем выразилось наше нарушение?" — "Вы сами знаете, в чем". Что они — языка лишились? Почему не смеют назвать? Значит — ведают, что творят?

— Но Бонапарт, — сказал я, — все-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чем помнить.

Мордастый этого просто не услышал.

— Александр! — сказал папа, вдруг опять раздражаясь. — Я же тебе говорил тогда: "Выбрось эту сомнительную литературу". И ты же со мной соглашался, что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.

— Вот именно, — подхватил мордастый. — Кто-нибудь почитать попросит — вы ж ему не откажете? А это уже будет считаться — "распространение".

Покачав головою, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте, — пошутил он с серьезным видом. — А сынок у вас, хоть и тридцать два года, а еще очень незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розг.

— Он задумается, — сказал папа. — Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свернутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне ее немедленно.

— Где-то в кладовке, — сказал папа. — Но, Аня, сейчас только девять утра.

— Я должна заранее позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился, как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.

— Хорошо, где ты хочешь чтоб он имел уединение?

— В кухне, — сказала мама. — Кухня — это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну. Кровать будет стоять в кухне все время.

— Но, может, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю что.

— Ничего, — сказала мама. — Захочется-перехочется.

— Аня! — Папа очень страдал оттого, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой. — Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю? Так же не будет. Ты нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряженное, почти несчастное лицо — красное, под белым встопорщенным ежиком, — и на то, как он нервно теревит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдем гулять и там, на воздухе, все обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал папа из кладовки. — Нам же объяснили, что все — временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.

— Ни в коем случае, — сказала мама. — Я тебя вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, задвигая шпингалет. — Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Саши сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак, — раздался из моей комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошел к двери. Заглянуть туда он почему-то не решался.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.

— Да, но кто же вам потом откроет?

— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьевич, против лома — нет приема.

Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама смотрела на него почти безразлично, но промолчала.

В эту ночь мне неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось: на кухню родственники наши не претендовали вовсе, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою отпирается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда пошел в ванную в трусах и майке, и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно неплохим баритоном: "Капррызная, упрямая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя мое, своих стыжусь я слез". Как скажут, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не "Малая земля". Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо осведомился у меня: "Как спалось?", и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он

утирался и вытер ли за собой на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчет полотенца не знаю, но что прибрал все аккуратно, могу свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десантницы — как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе — в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моем законном ложе, — раскинулось (лучше даже — "разметалось") прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно, никакие эти пышные словеса — "покровы", "одеяния", "ложе" — не приходили мне на ум и язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной — которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванну с восемью и предпочитала душ. Я слышал, как хлещут шипучие струи, с разными оттенками шума — оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения, — и, кажется, начинал постигать смысл затрепанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено... и т.д. Когда она выходила, освеженная, встряхивая длинными прядями и застегивая на груди свое джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней — хоть с тем же самым: "Как спалось?", — а только пытался поймать ее взгляд, но, как я уже сказал, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали на кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое удобство — что можно, не отрываясь от стола, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама могла приготовить обед, а в остальные они уходили на долгие свои прогулки — включающие, естественно, стояние в очередях, — и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж поработать — это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив — самый дешевый в Москве, теперь эта наша "пониженная звукоизоляция" мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами, — о, вы не знаете, что такое папины часы. У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные будильники, нагрудные — в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый Пушкиным "недремлющий Брегет", ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные — с красными секторами, и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что досталось папе в наследство, остальное он прикупал, когда еще прилично зарабатывал в конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с ней месяцами, пока не возвращал к жизни. Все

это богатство каждые полчаса возвещало о себе боем, звяканьем, диньканьем, блямканьем и урчанием – притом не одновременно, а в замысловатой очередности. Один Бог знал, которые из них поближе к истинному времени, – его все равно узнавали по телефону, – да папа к точности и не стремился, наоборот – соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать; просто в последние дни слух у меня болезненно обострился – от звуков иных, непривычных.

– Валера! – слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали себе – как они объясняли, "чтоб вам же не мешать". – Спишь там? А бельгиец-то – прошел... Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

– С Ивоннкой, – подсказывала моя десантница.

– Точно, с супругой. Уже десять минут как, а ты не сообщашь... "Не успел", пиво, небось, глотал... Где машину оставили?... Дверцы хорошо заперли, стекла подняли? А то ведь на нас потом свалят... На сиденье ничего не лежит?... Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из "Березки"... Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим – с чем выйдут... Ну, иди, глотай свое пиво, только о работе не забывай.

Ненадолго воцарялась тишина, но мне уже было не до моей диссертации. Мне слышалось – или чудилось – кошачье мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем подозрительная возня. В эти минуты – кто сказал бы мне? – стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала? Я чувствовал себя спокойнее, когда они заводили мой магнитофон и Коля с воодушевлением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
Наша судьба – то гульба, то пальба.  
Не обращайтесь вниманья, маэстро,  
Не убирайте ладони со лба!..

– Поставь лучше Высоцкого, – просила дама капризно и томно. – Ты же знаешь, что я Высоцкого люблю неизменно!

– Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.

– Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему, – голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую мое сердце ревностью к обоим бардам. – А Высоцкий – это моя слабость.

– И как ты его любишь? – спрашивал Коля игриво.

– Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто он весь меня трогает сексуально.

– Но-но, я па-прашу не выражаться! – Колин голос певуче взвизвался и точас, без перехода, исторгался низким рокотом:

Моцарт отечество не выбиррает,  
Просто игрррает всю жизнь напrrролет!

– Погоди, Моцарт, – в голосе ее слышалась насмешка, но почти любовная. – Моцарт, мой милый, ты про общественные поручения не забыл?

– Когда Коля чего забывал? Просят – всегда сделаю. Но только – после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил "Железную леди" побеспокоить. Но она просит – до двух ей не звонить. Не могу даме не уступить.

С часу до двух они, по очереди, удалялись обедать – наверное, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: "В заказах икра сегодня красненькая, я четыре банки взял, а куда больше?" Или – она ему: "Сегодня ветчина югославская – видишь, в удобной расфасовке, ты б тоже взял, жена мне спасибо скажет".

После обеда следовал звонок от Валеры – о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт – как я его мысленно прозвал, вслед за моей мамой, – приступал к общественным поручениям:

– Алё, можно Лидию Корнеевну?.. Ваш почитатель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то дошли. Не ошибается тот, кто ничего не делает... Как это так – не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока не мешаем. Воздухом – дышите? Дачку еще пока не отобрали?..

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с явной теплотой:

– Голос у нее сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли неселые. Да, ей много пережить пришлось...

– А всей стране – легче было? – возражала дама.

– За всю страну болеть – это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну болит. Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто же тебе, Натуля, еще звонить может. Большому кораблю – большое плаванье... Чего звоню? Удивлен я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя... А надолго ли он тебе муж? Я так думаю – ненадолго. Ты уже могла убедиться, на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца – будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца... Алё, куда ты там делаешь? Телефон, небось, бегала замерять? Давай, замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятых ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это объяснял не без той же заботливой теплоты:

– Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счет было свое мнение:

– А потому что все девочку из себя строит. А уже за сорок давно-о...

Коля-Моцарт уже набирал другой номер.

– Алё, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?!.. Бросай ты эти дела богословские, ты ж все равно не докажешь, что Бог есть, а в психушку – сядешь. Да не, из какого-то там "кей-джи-би", все тебе "кей-джи-би" снится. Просто, твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься – лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут специально записано. Что все твои писания – вторичны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, поэтому в статьях – драматургии не чувствуется... Да не у него, а у тебя. ... Ну, не знаю, какой. Центральной



нету... Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорят, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.

— Не поверил, но — огорчился.

— Хорошо у тебя получается! Лучше всех в отделе.

— Выматываюсь потому, что всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.

Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает опечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна — и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажите?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хоть завесил окно? В сущности, это ребячество, без которого можно обойтись, — эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки кленов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем кто другой, — и ему, наверное, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, подошли уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет — но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику можно, пожалуй, и прочитать, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, так и другим нет дела до него? Но когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов — любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих — ведь отчего он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки — в соответствии с настроением хозяев — натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с тех пор, как его исключили из Союза писателей, к нему исправно каждые три месяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живет, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в желто-голубой "москвич" с синим фонарем на крыше, повезли в отделение — за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут — как тунеядца?

— Тунеядец — то он тунеядец, — сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога, — да у него книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швейцарии и хрен еще знает где. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.

— Весь ваш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда переехал? Хотя там тоже писателей этих — до едреной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу — с детства. И я помню, как этот наш гуineaдец был некогда в большой моде, его печатали в "Новом мире", и по его сценариям снимались фильмы, и вот в той самой квартирке пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. Тогдашняя восходящая кинозвезда Л.Л. привозила дорожного автора со съемок на своей машине, и оба наших дома наблюдали, как она ему на прощание протягивает цветы. И эти старушки, бывшие еще только зрелыми дамами, домогались его автографа. Да все, кто теперь воротит от него лицо, старались попасть ему на глаза, удостоиться пятиминутного разговора.

Я не знаю толком, что такое случилось с ним — да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось "четвертым", и он входил в эту плеяду, "надежду молодой литературы", считался в ней "одним из виднейших". Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не то у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость "нехорошо выступать" и что-то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их начали выкорчевывать всем поколением сразу. Теперь и не прочтешь нигде, что было такое — "четвертое", а плеяда рассеялась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе, — и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, "терять уже нечего". Да, все почему-то не получается у нас — оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семи лет, которому заметили, что нехорошо царапать гвоздем чужую машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: "А вы тут вообще на птичьих правах".

Впрочем, еще один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание — наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в психушку, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: "А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за mine по "Голосу Америки" заступится!" Вот два полюса его невероятного положения: и "на птичьих правах", и можно — когда все исчерпано — ему пожаловаться, и он "заступится". Так говорят семилетний и юридивая, но и мы, взрослые, нормальные, знаем: и то и другое — правда. А может быть, все это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался каким был, а мы переменились вместе со временем? Что же с нами, со всеми, произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и ловят, сквозь ревы глушилок, сообщения о нем или куски из его последней книжки, — растят детей, которые выучились смотреть ему вслед насмешливо и вытаскивать из его ящика письма, чтобы порвать и бросить на лестнице... Да, впрочем, и пишут ему как будто все реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные — как наш сосед, бывший дипломат в Норвегии или Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку, — говорят, что, наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю

корреспонденцию забирает на почте особый человек по "доверенности номер один"...

А теперь, кажется, подступились к нему вплотную — и как мне его предупредить? Можно дождаться, когда он вынесет свою мусорную корзину, с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхиваемого содержимого, сказать потихоньку. А он мне — поверит? Не сочтет за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную "Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек" и донимал его расспросами, но помнит он и другое — все мы переменились, и каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы все-таки решился, но этот таинственный Валера... Черт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом "из горла"? Или на лавочке обжимается с подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свернутой в трубку? — вон даже махнул кому-то, знак подает. А может, он как раз уминает мусор в контейнере, а между тем собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал — между Колей и дамой: "Кто у нас сегодня Валерой? Вроде бы Дергачев со Жмачкиным?" — "Не со Жмачкиным, — отвечала она, — а с этим... новеньким, Ларьковым". — "То-то, я слышу, голос какой-то не родной..." Так он, этот Валера — не один? Так их — двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только двое звонят? Нет, я не осмелюсь. У меня — диссертация, и через полгода — защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно и за которой можно как-то пересидеть — если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти тамильские предания и пракрыты только потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нем понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их негенеральские пенсии или на то, что папа в крайнем случае продаст свою коллекцию? Ну и наконец, вот что... Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу. Ведь когда он становился за черту, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то из-за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он их уж слишком разозлил — иначе б не стали тут держать пост, это все-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то должен разделить его грехи и ошибки, к тому же беззащитный, о котором никакой "Голос", никакая "Волна" и никакое там "БИ-БИ-СИ" словечка не скажут? Не знаю, не знаю.

Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне — и в основном молчали. Я отчего-то догадывался — или читал по их

лицам, — что для своих прогулок в лесопарке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.

Ровнехонько в пять звонил в двери мордастый, отвечивал молча поклон и направлялся к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?

Докладывал Коля-Моцарт, моя дама вставляла отдельные поправки. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими:

— Четвертую главу закончили, слава Богу. С этой главой были трудности — наверно, придется кой-чего перебелять. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже надо покорпеть.

— Ну, это уже, небось, готово, — говорил компетентно мордастый. — Хорошие писатели финал пишут заранее.

— Еще будет предисловие к зарубежному читателю, — уточняла дама. — Но пока только наброски.

— Ну что ж, — говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьет кулачком в ладонь, — числу к тринадцатому, пожалуй запремся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на пленку и делает это в ванной.

— Запас пленки готов, — сообщала дама, — "Микрат-300".

— Молодец, хорошую пленку достает! — хвалил мордастый. — Узнать бы, с какого объекта ему тащат, да задать бы тому деятелю по заливку — за соучастие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Готовимся, значит, к операции "передача"? — Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смехок. — А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промедления. В прошлый раз — сколько тянули! Что-нибудь года четыре?

— С половиной, — уточняла дама.

— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят, — вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, держались. Ух, привередливые! Но с тех пор-то мы — выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Если мы тогда на аванс в две тысячи фунтов согласились не глядя, то теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать. — Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем — вздох почти горестный. — Да-да... И почему я романы не пишу? Все — статеечки, статеечки на злобу дня.

— Кто-то должен и на злобу, — успокаивал Коля. — Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако ж, на лесть был не падок — и коротко перебивал:

— Бельгиец был?

– Час проговорили, – отвечивал Коля. – Мы едва успели кассету сменить.

– Что-нибудь вынес?

– Отчетливо сказать нельзя.

– А какая у нас техника? – жаловалась дама. – Одно мучение!..

– Да, и этот черт берет так, что не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого по-крупному опорочить!

– А Хельсинки? – спрашивал Коля с ехидцей. – За письма же его не выдворишь.

– Что Хельсинки! Его на иконах надо подловить. Большой любитель старины! Кто еще?

– Из посольства Франции – на машине с флажком.

– Один шофер или кто поважнее?

– Шофер.

– Ну, это он приглашение привозил – на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял, французы – они осторожные. Кто еще?

– Ахмадулина приезжала на метро.

– Беллочка? – оживлялся мордастый и опять вздыхал печально. – Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в темном царстве. О чем говорили?

– Хозяйина не застала, с женой говорили полчаса. Все – насчет приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.

– Ясно. Стихи новые почитаем. И выпьем, конечно, – самую малость!

– Сапожки не модные у нее, – вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. – Наши таких сто лет не носят. И шапочка – старенькая.

– Так ведь когда у нее Париж-то был! Лет пять назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.

Черт был побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина – и я прозевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю ее книжку для автографа, не высказал, что я о ней думаю. А если и правда, что "поэт в России – больше, чем поэт", то, может быть, наше безвременье все-таки назовут когда-нибудь временем – ее временем, а нас, выпавших из летоисчисления, ее современниками? Но про меня – кто это установит, где будет записано. Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону – лишь договариваемся о встрече, а встретясь – киваем на стены и потолки, все важное пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они – даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя "раскидывая чернуху", неутомимые эти труженики, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю – по крохам, по шепоткам, по обрывкам мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг – при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб

Мы что-то могли потерять — у них ничего не потеряется! Все будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, — и прошу у тебя прощения! Когда все это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъезду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь крепче держать в руках. И поскольку возникло бы подозрение, что я через нее предупредил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собой представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.

— Даю оперативку, — прерывал мои размышления мордастый.

— Вечером у хозяина слет ожидается, надо полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено "Старомосковской", — подтверждал Коля-Моцарт. — Валера фиксировал.

— Будет кой-кто из диссидентуры, — мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили нас глушить "вражеские голоса". — Привезут, конечно, "документы" на подпись... Ну, это не наша забота. А вот проследить насчет рукописей. Есть сообщения, что двое молодых собираются прийти, из "Союза независимых", или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверное, вслух, а если толстое — то и оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не поступало. Наш объект — хозяин. И — каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою "золотую полочку", где уже, как вы понимаете, никаких "Зияющих высот" не было, зияла — пустота.

— Сынок ваш взрослеет, — как-то сказал он на прощанье папе, желая доставить приятное. — И в целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет, — отвечал папа — впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определенно что-то происходило. Они все больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать ее тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал — и вскоре иные вовсе умолкли, динькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он все реже шикал на маму, а мама все меньше стеснялась нашей "пониженной звукоизоляции".

— Ты знаешь, Матвей, что я решила?

— Что ты решила?

— Нам надо купить цейссовский артиллерийский бинокль. Я видела в фотوماгазине — за девяносто шесть рублий.

— Зачем? У нас есть бинокль.

— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский дает восьмикратное увеличение.

— Зачем нам восьмикратное увеличение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во всем участвовать.

Это слово — "участвовать" — она теперь часто произносила к месту или не к месту. Звала ли ее соседка занять очередь за сардельками — она отвечала: "Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать"; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата, — "Я подумаю, надо ли мне участвовать"; складывались ли по трешке на ремонт и покраску скамеек — "Считайте, что я в этом участвую".

— В чем ты хочешь участвовать? — спрашивал папа унылым голосом.

— Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлеклась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие — не считая, конечно, стоимости бинокля, — заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, прошу тебя — тише.

— Почему — тише? Я хочу — громче! Я хочу слышать, что делается в чужих постелях, о чем говорят любовники в антрактах или муж с женой. Ты не видал объявлений — где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, ее делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнем с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие — подслушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлепанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими черными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала ему, не выдержав. — И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю.

— Я не понимаю! — взрывался папа. — Кому из нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня, — он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным, — кусала губы, отчего горестно искажалось ее красивое еще, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

В мои библиотечные дни, занимаясь в "Ленинке" с утра до вечера, я все же приезжал на метро к обеду. Так требовала мама, и так нам всем было и дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждет меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я

настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, пожалуйста, — сказал папа, хотя я ни о чем не спросил. — Мама просто прилегла отдохнуть. Так что обед у нас будет позже. Мы с тобой пока перекусим в "Багратионе".

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой Филевской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия — и были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нем запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат увядшей капусты, перекаленного жира, лежалой рыбы и такого же мяса, вдобавок еще блевотины и скандала. Никто "порядочный" сюда не ходил, да и сейчас захаживают изредка — прежняя слава еще не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошел последний заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он поначалу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной "Ладе", попозже — на "бамбуковой", теперь — на белой, — но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями темного дерева и шоколадной кожей, установил разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева, переборками. Он, наконец, вышиб к чертовой матери "музыкальный ансамбль", этих наших "песняров": длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими "ла-да-да", — и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и довольно недурная музыка. Оказалось, и невыветриваемый брезготный дух — выветривается, при некотором напряжении ума и сил его можно вытеснить амброзией шашлыка с тмином, кинзой и эстрагоном. Многое может человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он — без конца доставать хорошую баранину.

Весь путь до "Багратиона" папа не проронил слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нем был его личный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всем облике моего старика чувствовалась непонятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя немного их было занято в глубине зала, в одной гудела компания азербайджанцев, в другой — лопотали по французски четверо негров, наверное — из "Лумумбы", еще в двух-трех сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и дожимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дожидаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь вышел нас обслужить. Он принес нам по шашлыку на никелированных тарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то винно-красным, из другой — бледно-желтым, по-



сыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зеленым крошевом. Руками же переломил надвое лепешку лаваша. Было в этом что-то милое, домашнее. Папа попросил его завести музыку. Он молча кивнул и удалился за стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:

– Ты понял, кто у нас поселился?

– О, да! На этот счет у меня никаких сомнений.

– Так ты-таки ничего не понял!

Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами, – лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева, – и задышал на меня барашком, кинзой и луком.

– Мы с мамой давно уже догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а – международного класса. Уверяю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.

– Папа, что ты говоришь? Они, прежде всего, русские.

– Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку – и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почувствует, что я курил... Да? Ну, и что – что русские? Почерк у них – явно международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, в особенности – женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю, они послали этим людям подметные письма с требованием – положить в определенное место такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? "Тебе, палло, по земле не ходить". И ты меня станешь уверять, что они – *оттуда?* – Папа, с брезгливой grimасой, помотал вилкой. – Не-ет! Там себе такого не позволяют. Там серьезное государственное учреждение. Там, конечно, не ангелы служат, у них свои "но", не будем говорить здесь... Но на такие штуки там не идут!

– Да почему ты думаешь? Почему мы все думаем, что есть какие-то штуки, на которые *они* не пойдут?

– Я знаю, – сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза. – Я знаю, если говорю.

– Но у них же... аппаратура.

Странно, это было единственное, что я нашел возразить.

– Хо-хо! – сказал папа. – Достать аппаратуру – это теперь не такая проблема. Наверняка ее где-нибудь делают подпольно – и не хуже, чем у японцев.

Я услышал совершенно мамины интонации.

– Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?

Глаза у папы, кажется, стали еще круглее, седой ежик пополз на лоб.

— Ты еще не догадался? Они и его хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и испанский, тогда он — просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтобы тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать: "Отдадим, но при условии — положите энную сумму в такой-то банк". Или просто продадут каким-нибудь пиратам из желтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всем мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности — фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут, — а ведь, казалось бы, человек точного знания, инженер, не я — с моим индуизмом и теорией "других рождений". Но даже если это и правда — не может же быть, чтоб там об этом не знали, не были б даже рады, если бы с нашим "отщепенцем" что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулеметами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.

— Ты считаешь, мы его должны предупредить? — спросил я. — Скажу тебе честно — я боюсь.

— Ты мой сын, — сказал папа, — поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.

— В конце концов, кто он нам, и кто мы ему?

— А вот это уже — нечестно. — Папа смотрел на меня прискорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд. — Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему — читатели. А он нам — собеседник. Он же к нам обращается! А мы — затыкаем уши.

— Ты можешь мне сказать, почему он не уезжает? Столько людей мечтает вырваться — и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать — Венецию, Лондон, Париж?..

— И заплатить за свое любопытство — родиной? — спросил папа. И не дождавшись моего ответа, покачал головой. — Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребенок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других — кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покидать Россию. И как бы ты отнесся, если б он действительно уехал? Совсем равнодушно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверное, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микромире — и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для многих не лишенной приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живется еще труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверное, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдержать?

— Но ему было столько предупреждений! — Я возражал скорее не папе, а себе. — Начать с телефона, с почты, с того, что машину

нельзя оставить, чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили б какую-нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хватило, и слезки по пятам. Что еще ждате? Обыска? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи?.. \*

— Это предупреждения? — сказал папа. — Это жизнь. Да, которую он сам себе выбрал. Он писатель, он это предвидел он свою страну немножко знает. В этом отношении — "все системы корабля работают нормально". А вот они, наши "родственники", — папа все гнул свою гипотезу, — это уже не нормально.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчет родной страны, случилось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был еще официальным писателем (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома елочки — штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу километров за сорок, на своем теперь уже состарившемся "москвиче" — по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти елочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каждым Новым годом по ночам визжали ножовки — ведь у нас такой прекрасный человеческий обычай: елочка в доме под Рождество — и желательно не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали — но он отвечал: "Видите ли, я стараюсь так не думать". Как же было не понять еще тогда, что мы — больная страна, больная неизлечимо. Если б я мог покинуть ее — и только вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина, Дина. Не пережить мне того холодящего сердце состояния невесомости, которое называется "быть в подаче" или "в отказе", не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патристического презрения и лютой зависти: "Есть шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?" Она прошла по этим горящим угольям, и я сейчас вижу ее такую, какой она улетала из Шереметьева — когда она вышла всего на несколько секунд на знаменитый "балкончик прощания", растерзанная после натального обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом, — каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: "Теперь ты, Саша... Через год — там... Я буду ждать..." Я стоял в окружении топтунов, которыми кишмя кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто не знал — что обещать. Скрипку ее, довольно ценную, провезти не удалось, — но,

---

\* Примечание рассказчика: после описываемых событий был и обыск.

кажется, ей такая и не понадобится в Бостоне, США, с концертами у нее пока не выходит, она дает уроки музыки и этим зарабатывает столько, что "двум нашим семьям, — как она пишет, — с голоду умереть невозможно". Первые письма от нее полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что *здесь* то, чем я занимаюсь, будет иметь вес — побольше, нежели там, — полтора года прошло, и все больше стало сквозить грусти и раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не дожидаться; в последних — она скучает по Москве и "даже по всей нашей мрази", а о том, что ждет, уже ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.

— Он мог писать свои книги, — сказал я, — хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же — тысяча экземпляров на всю Россию.

— Наверное, мог бы, — сказал папа. — Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет на Азорских островах. Поэтому, — закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой, — мы отсюда пойдем в милицию. В оперативный отдел.

У меня еще сильнее заняло под ложечкой.

— Прямо сейчас?

— Можно не сразу, — легко согласился папа. — Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам "шампань-коблер", папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?

— Я не из Еревана, — ответил бармен. — Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уезжал.

— Как это? — спросил я, довольно глупо.

— Я могу завтра туда поехать. Значит — я там живу.

— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец. — В этом вся суть.

Все же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли — к желтому флигельку бывшей усадьбы Огаревых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москве-реке и куда, как гласит история, Герцен посылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил папу:

— А что по этому поводу посоветовала мама?

— Мама? Ничего не посоветовала. Только сказала: "Я не желаю утасовать во всем этом дерьме".

— Так и сказала?

— Кажется, даже немножко резче.

И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — сидел массивный майор в светло-серой рубашке и темно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными залысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глазками, — то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настежь распахнуто, но забрано решеткой из толстых прутьев, расходящихся веером из левого угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дресси-

ровали своих собак – огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами, – учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануть по следу. Майор, развалившись на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:

– Как это вы говорите – "вне закона"? Закон на всех распространяется. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чистопородный "ариец", русско-татарских кровей, на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фантазмагорией. Но я ждал, когда нас все-таки попросят за дверь.

– Однако это еще не все, – вдруг сказал папа. – Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывают друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим душком.

Бог мой, это говорил мой папа, который за всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не пожаловался!

– Скажу прямо – махрово антисоветские.

Майор повернулся к нам и налег жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием – послушать хороший махровый анекдот с нехорошим политическим душком.

– А ну, ну! Поглядим, что за дым.

– Про нашу милицию, – сказал папа. – Но я не хотел бы здесь...

– Про милицию! – в глазах майора зажглось что-то зеленое, как у kota, когда он смотрит на птичку. – Ничего, давайте, а где ж их еще рассказывать?

– Значит, один – такой. Подходит пьяный к милиционеру: "Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу". Тот говорит: "Ты что, не видишь, что я – милиционер?" – "Это ничего, – говорит пьяный, – я тебе три раза расскажу". Вот в таком духе.

– Та-ак, – сказал майор. – А еще какой? Вы ж сказали "анекдоты", а только один рассказали.

– Второй – совсем дурацкий. И порочит милицию совершенно зря.

– Они все дурацкие, – сказал майор. – И все порочат.

– Опять же пьяный, – сказал папа, – идет по улице и орет: "Алё! Алё! Говорит "Голос Америки" из Вашингтона". Подходит милиционер: "А ну замолчи сейчас же!" А пьяный – не унимается: "Алё! алё..." ну и так далее. Милиционер его окунает в лужу...

– Как это? – спросил майор. – С головой?

– Разумеется. Чтоб пресечь эти выкрики. Но по сюжету пьяный не захлебывается, а продолжает из-под воды: "Лё.. лё.. хварыть... хлас... мер... с Ва... хтона" Тогда милиционер садится перед ним на корточки и делает ртом: "Уу! Уу! Уу!"

– Глушилку изображает?..

– Я же говорил – никакого отношения к милиции.

Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зеленое злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:

— Вы точно знаете?

— Точно, — сказал майор. — Все, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.

— Это называется "оперативный блокнот". Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я все понял, где что находится. — Он повернулся опять к окну. — Митрофанов!

— А! — Митрофанов и его пес обернулись одновременно.

— Поди сюда, "А"...

— С собакой?

— Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.

Они все же подошли вместе. Пес, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполовину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету, — сказал майор. — А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописанные живут свыше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире. — Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пес тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. — И мало, что без прописки живут, так еще анекдоты про милицию сочиняют.

— Я не сказал "сочиняют", — возразил папа.

— Это уж мне известно, кто их сочиняет. И зачем. Ты только послушай, Митрофанов!

Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый прошел для Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими деснами, но был осечен грозным взглядом майора.

— Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас или мне показалось?

— Выпады, — сказал Митрофанов. — И зlostные.

— Это я и хотел от тебя услышать. А ты — смеешься. — Пес взглянул на хозяйина удивленно, затем, склонив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он все же не до конца нам поверил.

— Я сейчас обедать пойду, — объявил майор. — Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотаревым. Им сегодня еще работка найдется небольшая, так что пусть подождут, я лично дам инструктаж.

— Устали, поди, Кумов с Золотаревым. Понервничали.

— С чего бы? Володьку Боже-Мой брали.

- Уже он опять освободился? – спросил Митрофанов.
- Уже ему снова садиться пора, – ответил майор. – Свыше недели погулял.
- Не отстреливался?
- В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозитя горло себе перерезать.
- Не перережет, – сказал Митрофанов.
- Раз грозитя – значит, не перережет. Ну, иди тренируй дальше.

Пес, взглянув на хозяина вопросительно – принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подобало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже поставил кое-где размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:

– Так, эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь – к себе открывается или от себя? Ручка – справа или слева?

Убий меня Бог, чтоб я все это помнил, но папа отвечал уверенно:

– От себя, ручка – справа.

– Хорошо. – Майор даже повеселел. – Теперь учтите. Оно, конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны операции, тем более – пожилых, со всякими там функциональными растройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной – лучше, чтоб люди эти оставались в квартире.

– Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения, – отвечал папа, бледнея, но твердо.

– Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я попрошу вас – усильтесь.

– Мы усилимся, – обещал папа. – Можете на нас целиком рассчитывать.

– Тогда – где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не прошибает, но не исключаются рикошеты. Иногда – двойные и тройные. Вот в этом уголке, – он показал карандашом на плане, – опасность наименьшая.

– У нас тут как раз стоит диванчик.

– И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле нее посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определил как "бурный", но – не скандальный, это тоже привлечет внимание. Вы, скажем, поспорьте с ней на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.

– Телевизора у нас нет, – сказал папа. – Принципиально. Но это неважно, повод у нас найдется поспорить. Скажите, а ему? – Папа кивнул на меня. – Ему, наверное, необязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?

– Спорить ему не нужно, – сказал майор, не глядя в мою сторону. – Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумней. Ровно в половине шестого.

– Все двери? – спросил я, ощущая, с какой стороны у меня сердце.

— Зачем? — Майор опять не посмотрел на меня. — Одну входную. А там — хоть в воздух испаритесь.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы ее провели? Папа и мама спорили у себя в комнате до того занудливыми и такими ненатуральными голосами, как если бы сильно перепились и приставали друг к другу с вопросом: "Ты меня уважаешь?" А минут за десять до срока они совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой — и замок шелкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным криком. Скрип отходящей двери приглушили железным ружьем и тяжким боем часы с бульдогом...

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофейных плащах, засунув руки глубоко в карманы, оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причесанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было, — разве что нос у одного слегка расплющен, а у другого — слегка на сторону.

— Ку-ку, — сказал мне первый, кто вошел, с расплющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением. — Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа... — успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твердости, запечатала мне рот.

Второй, с носом в сторону, притиснул меня одной рукой к стене и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и наш старый паркет, когда они пошли по нему друг за другом в тяжелых ботинках.

В моей комнате шел государственной важности разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:

— ... Еще жене пальто кожаное привезли в подарок, цвета беж, Валера фиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зеленой.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей дамы. — По каталогу фээргэ такое пальтишко — триста шестьдесят девять марок, и еще сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар. Совсем уж обнаглели. И что только делают, что делают!

— А сколько это в рублях, если посчитать? — задумался мордастый.

Первый, кто вошел, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!

Второй, став против двери и тоже с пистолетом у живота, рявкнул на всю квартиру:

— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!

Там что-то упало на пол, послышался изумленно-испуганный крик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое, что такое? Свят-свят!..

Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему как раз и досталось — я услышал звук, точно кулак с размаху



в тесто, и обиженный Колин взрев. Он что-то пытался объяснить насчет удостоверения, но нечленораздельно и вперемежку с матом, поэтому остался не понят.

— Опять лезешь, падла, куда не след? Еще пошевели у меня мослами! Сказано было — не двигаться.

Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобней будет.

— А и правда, Сергунь, — отозвался Олежек. — Ну-кошь, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упрямся руками, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошел в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул. "Родственники" наши, — не исключая и дамы, — упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохранила некоторую элегантность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.

— Лягаешься, — упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку. — Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб до тебя дошло?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, направляясь к окну. — Уу? Уу? Уу?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.

— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскричал мордастый. — Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы кто?

— Капитан, капитан, улыбнитесь, — пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь, между тем, исследовал аппаратуру — нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся черный кабель. Сергунь повертел ручки, приложил к уху толстый наушник, с раструбом из губчатой черной резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закричала дама. — И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских Сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?

— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.

— Что же она делает? — возмутился Сергунь. — Да она же все святое порочит, лярва. Не-ет, я ее сейчас оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к ее приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное, — а проще сказать, *оттянул по заду*, — и у меня в ушах зазвенело от ее истошного поросячьего визга.

– Полегче, Сергунь, – сказал Олежек. – Еще, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.

– На всю жизнь – это нет, – возразил Сергунь, *оттягивая* еще раз, для симметрии. – А недельку у ней это дело потрясется.

И не внимая новым визгам бывшей моей дамы, – от которой я излечился совершенно, – и возмущенным, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошел к окну и отвел занавеску. Поверх его плеча я увидел в окно на пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, – может быть, что-то услышав необычное или почувствовав чей-то взгляд, – но вряд ли он смотрел на что-то определенное и что-нибудь видел, кроме зеленеющих верхушек, скорее – блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова снова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.

– Во дела! – сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого. – А он, и правда, капитан. Только ни фи́га не Яковлев, а Капаев.

– Совершенно верно! – мордастый сделал попытку выпрямиться.

Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение.

– А чего ж врал?

– Вы просто не в курсе операции! – вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон. – Я на это задание – Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?

– Чего государственная тайна? – не понял Олежек. – Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, мосластого, он кто будет, Иванов он же Сидоров, или – наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал ее, почесывая себе лоб пистолетом.

– Ни то, ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серегин, Константин Дмитриевич. А говорили – ты Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Дмитрич. Вроде похоже...

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густокрасное. Из уважения к ее полу ей позволили оторвать одну руку от стены.

– Ты, значит, не лярва, – сказал Сергунь, – а техник-лейтенант Сизова? А еще кто?

– Никто. Сизова Галина Ивановна.

– Одна честная нашлась, – заметил Сергунь, не без чувства юмора. – Я, говорит, никто. Ну за чистосердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?

– Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне – за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю. Ты же у нас голубь мира.

– Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пушай выпрямляются?

– А они еще не выпрямились? – удивился Олежек. – Ну, может им нравится так. Тогда – мы пошли.

– Нет уж, положите! – Мордастый, встав вертикально, теперь, кажется, по-настоящему рассердился. – Извольте все же представиться. Кто вы такие?

– Да здешние мы, – ответил Олежек простецким невинным тоном. – Нас тут в районе все собаки знают. И обляять – побаиваются.

– Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?

– Пажалста. Я Кумов Олег Алексеич. А он – Золотарев Сергей Петрович.

– Книжечки можно не предъявлять? – спросил Сергунь. – Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:

– Не нужны мне ваши книжечки.

– А в рапорте своем, – сказал Олежек, – не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас не всегда препреждает.

– А мы этого не любим, – добавил Сергунь.

Выходя, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял у меня за спиной – весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.

– Ошибочка вышла, папаша, – сказал Олежек, разводя руками. – Люди это не наши, но, как бы сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись – малость с удивлением.

Мы проводили их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.

– Извините, папаша, – сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо. – Может, лишнее беспокойство внесли... Это у них работа – санаторий, а у нас – погрязнее.

– Извините, – сказал Сергунь.

– Ничего, что же делать... – ответил папа и закрыл дверь.

В коридоре его дождался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, а шипел:

– Что ж, вы проявили бдительность, в этом вас упрекнуть нельзя. Поступили как советский гражданин.

Папа, не поднимая глаз, опять молча кивнул.

– Но вы понимаете, что вы нас *дезавуировали*? Ввиду исключительной важности объекта мы здесь никого не ставили в известность, полагаясь на ваше содействие. А что получилось – из самых, что называется, благих намерений?.. А может, не из благих?

– Из благих, – ответил папа скучным голосом.

– Я сейчас иду звонить – если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.

– Зачем же идти куда-то? – спросил я. Должно быть – по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу живота, не знаю — как у папы.

Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.

— Боже мой, — говорила она, едва не плача. — Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были...

Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже не мог себе найти занятия. Вдруг папа нашел его для себя — он стал приводить свои часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась, как от натуги. Приступая к жизни, они тикали по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждые начиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.

Но "чу!" — как писали в добром девятнадцатом веке, нам это показалось — всем троим — слуховой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно что-то включилось, зашипело, переключилось, вступили аккорды гитары, глуховатый тягучий голос певца запел о старенькой скрипке — может быть, заменяющей отечество, — и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
Наша судьба — то гульба, то пальба.  
Не оставляйте старрраний, маэстро,  
Не убиррайте ладони со лба!

А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную, — скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, все жене скажу...

— Бро-ось, — перебивал он протяжно. — Дружеских ласк не понимаешь. Просто нас с тобою работа спаяла...

Я сказал — "в их комнате", но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно?

Дама, приятно покрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая ее, сидела одной ляжкой на моем письменном столе, а Коля — перед нею на диване, глядя на нее снизу. Моцартова костистая длань обхватывала ее колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, пока Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: "Что надо?" С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось, и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого все больше раздражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?..

— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют "сверкающими". — Этого быть не может. Этого не может быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их...

И она сказала, как именно с ними поступили, теми словами, которые из маминых уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал — в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, которой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого... не повесились, нет, я им такого не желаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они — русские?! И это они решают — кого лишить родины, гражданства? Надо их самих лишить навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, уменьшаясь в плечах, багровый как перед инсультом, показывает глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Коля-Моцарт.

— Ну что вы так, Анна Рувимовна, — протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущенно. — Зачем вы на нас так... злобствуете? Это мы на вас должны обижаться, натерпелись — не дай Бог.

Он потрогал под глазом — там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олежек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?

— А если бы у меня еще оружие оказалось? — спросил Коля сам себя. — Уй, что б тут было!

— Не смей! — послышался рыдающий вопль дамы. — Не смей перед ними унижаться! Иди сюда сейчас же!

— Отстань, — Коля отмахнулся своей широкой ладонью. — Ей-Богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно — вот насчет гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала дама. — А сало русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диван.

— Может быть, ей нужно что-нибудь успокоительное? — спросила мама, отчасти с жалостью, отчасти — брезгливо.

Коля не отвечая закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой темно-малиновый халат.

— Что вы думаете, — спросил Коля, — мы вашему соседу зла желаем? Хотим его посадить? Или — выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спросила мама. — Если уж мы говорим по-человечески...

– Да по-человечески-то мы понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но – нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашел. А в то же время – определенные круги на Западе его имя используют в неблагоприятных целях...

– Ой, не надо про "определенные круги на Западе", – сказала мама. – Не надо про "неблаговидные цели". Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич... Кажется, так вас величать? Я слышала.

– Так, – сказал Коля.

– Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут, – наверное, есть они у вас? – они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе перышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.

– Ох, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают! А когда вырастут – спрашивать перестанут. Потому что поймут – идеология! Нельзя! Да может, это самое опасное и есть – сидит человек и что-то скребет перышком. А мы не знаем – что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чем еще спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавес вниз, на зеленеющие кроны.

– А что вы будете делать, когда вот эти деревья дорастут до крыши?

– Подпилим, – слегка удивляясь, ответил Коля. – Не мы, конечно. Специалистов позовем – по озеленению.

– И долго все это будет?

Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклянными глазами.

– Что – "все"?

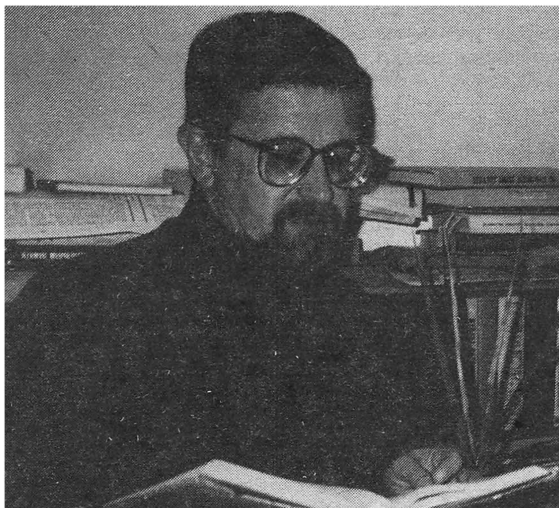
Папа словно очнулся.

– Я хотел сказать – долго вы его собираетесь держать в осаде? Наверное, покуда он не уедет?

Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошел к двери. Перед тем, как закрыть ее за собой, он все же ответил папе:

– Всю жизнь.

Нидернхаузен  
(Германия)



Лев ЛОСЕВ

## НОВЫЕ СТИХИ

### УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ

Вручи мне Ювеналов бич!  
Пушкин

Над белой бумагой потея,  
перо изгрызая на треть,  
все мучаясь, как бы Фаддея  
еще побольнее поддеть:  
"Жена у тебя потаскушка  
и хуже ты даже жида..."

Фаддею и слушать-то скушно,  
с Фаддея что с гуся вода.  
Фаддей Венедиктыч Булгарин  
съел гуся, что дивно изжарен,  
засим накропал без затей  
статью "О прекрасном" Фаддей,  
на чижика в клеточке дунул,  
в уборной слегка повонял,  
а там заодно и обдумал  
он твой некролог, Ювенал.

## НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

### Кораллы

украва у Клары, скрылся, сбрыз усы  
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.  
Он русским продал шубу и часы  
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.  
А в лиственных лесах дуплистых губ  
не счесть и нашептаться довелось им,  
что обрусел немецкий лесоруб,  
запил, запел, топор за печь забросил.

### Кларнет

украва у Карла как-то смеху для,  
она его тотчас куда-то?  
но дева готская уберегла,  
его порою открывала?  
Шли облака кудряво, кучево  
с востока наступая неуклонно,  
но снег не шел, не шел и ничего  
не падало в коралловое лоно.

### Mein Gott!

Вот густо-розовый какой коловорот,  
скороговорок вороватый табор,  
фольклорных оговорок? la Freud,  
любви, разлуки, музыки, метафор!

### ИОСИФ БРОДСКИЙ,

#### ИЛИ

#### ОДА НА 1957 ГОД

Хотелось бы поесть борща  
и что-то сделать сообща:  
пойти на улицу с плакатом,  
напиться, подписать протест,  
уехать прочь из этих мест  
и дверью хлопнуть. Да куда там.

Не то что держат взаперти,  
а просто некуда ийти:  
в кино ремонт, а в бане были.  
На перекресток – обонять  
бензин, болтаться, обгонять  
толпу, себя, автомобили.



Фонарь трясется на столбе,  
двоит, троит друзей в толпе:  
тот – лирик в форме заявлений,  
тот – мастер петь обиняком,  
а тот – гуляет бедняком,  
подъав кулак, что твой Евгений.

Родимых улиц шумный крест  
венчают храмы этих мест.  
Два – в память воинских событий.  
Что моряков, что пушкарей,  
чугунных пушек, якорей,  
мечей, цепей, кровопролитий!

А третий, главный, храм, увы,  
златой лишился головы,  
зато одет в гранитный китель.  
Там в окнах никогда не спят  
и тех, кто нынче там распят,  
не посещает небожитель.

"Голым-гола ночная мгла".  
Толпа к собору притекла,  
и ночь, с востока начиная,  
задергала колокола,  
и от своих свечей загля  
сердца мистерия ночная  
Дохлебан борщ, а каша не  
доедена, но уж кашне  
мать поправляет на подростке.  
Свистит мильтон. Звонит звонарь.  
Но главное – шумит словарь,  
словарь шумит на перекрестке.

*Душа крест человек чело  
век вещь пространство ничего  
сад воздух время море рыба  
чернила пыль пол потолок  
бумага мышшь мысль мотылек  
снег мрамор дерево спасибо*

## ГИДРОФОЙЛ

Не на галере, не в трюме мышшином,  
он задыхал в отделенье машинном,  
новых элегий коленчатый лад.  
Прополоскав себе горло мозгом,  
на пироскаф поспешим за поэтом.  
Стих заработал. Парус поднят.

Вижу матроску, тельняшку, полоски.  
Кушнер – ку-ку! И ку-ку, Кублановский!  
Много ль осталось нам на веку?  
Якорь надежды. Отчаянье пушки.  
Чаек до черта, да нету кукушки.  
Это ль ответ на вопрос: ни ку-ку.

Это ли нам завещал Боратынский –  
даром растрачивать стих богатырский  
на обмиранье, страх в животе?  
В русском народе давно есть идеяка:  
жизнь – де копейка, судьба – де индейка.  
Петь – так хотя бы о той же воде.

Вижу: волна на волну набежала.  
Смерть это, что ли? Но где ж ее жало?  
Жала не вижу. В воду плюю.  
Вижу я синие дали Тосканы  
и по-воронежски водку в стаканы  
лью, выпиваю, сызнова лью.

Я, как и все, поклоняюсь Голгофе,  
только вот бескофеиновый кофе  
с сахаром веры знать не по мне.  
Рай ли вдали, юнгианское ль море,  
я исчезает в этом растворе –  
буква в поэме, нитка в рядне.

Что там маячит? Палаческий Лисий  
Нос или плачущий светлый элизий,  
милые тени – друга, отца?  
Что-то подходит к концу, это точно.  
Что-то, за чем начинается то, что  
Бог начинает с конца.

## "ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ"

В. В. Рошину

Апрель простуду расточал,  
а я на "Оптима" стучал.  
За буквы, точки и тире  
мне обещали 300 р.  
По терпеливому листу,  
подобно дятлу иль клесту,  
стучал, сознание затемняя,  
и выходило из меня:

*Как говорил Тулуз-Лотрек,  
похожа жизнь на велотрек и т. д.*

Вообще либретто оперетт  
всегда напоминают бред,  
фигню, сорочью трескотню,  
к такому-то закончить дню  
поэт обязан и поет  
уже скорей автопилот  
или мотор — тарарара —  
машинка тарахтит с утра:  
*Как говорил Тулуз-Лотрек и т. д.*

Подобный текст хорош уж тем,  
что чист, освобожден от тем,  
идей и логики, что чист,  
что никакой авангардист,  
заумной гвардии солдат  
не сможет так от детонат  
освободить словесный знак,  
как рядовой халтурщик, как  
*Как говорил и т. д.*

Театр. Просмотр "для пап и мам".  
Взревел оркестр — парампампам!  
Эх, Оффенбах — бабах-бабах!  
Бинокли. Белизна рубах.  
И накрывается уже  
лихой сюжет на вираже,  
сквозь крашенный театральный свет  
весь хор и весь кордебалет  
блестят, как спицы колеса,  
и забирают голоса  
все выше. Жмут во весь опор.  
Со старта разогнался хор.  
Гремит канкан, уж тем хорош,  
что слов моих не разберешь.

## ПАМЯТИ ЮРЫ МИХАЙЛОВА

Мой стих искал тебя...  
Вяземский

Не гладкие четки, не писанный лик,  
хватает на сердце зарубок.  
Весь век свой под Богом ты был как бы бык.  
Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.

В шампанской стране меня слух подждал.  
Вот где диалог наш надломлен:  
То Вяземский вяжется, то Мандельштам,  
то глупый "смерть-Реймс" палиндромон.

"Что ж делать — Бог лучших прибрал", — говорят.  
Прибрал? Как письмо иль монету?  
То сильный, то слабый, ты был мне как брат.  
Бог милостив. Брата вот нету.

Девятый уж день по тебе я молчу,  
молюсь, чтоб тебя не забыли,  
светящейся Розе, цветному Лучу,  
крутящейся солнечной пыли.

12-18 сент. 1990, Эперне-Париж

### 30 ЯНВАРЯ 1956 ГОДА (У ПАСТЕРНАКА)

Все, что помню за этой длиной,  
очерк внезапной фигуры ледящей,  
голос гудящий, как почерк летящий,  
голос гудящий, день ледяной,

голос гудящий, как ветер, что мачт  
чуть не ломает на чудной картине,  
где громоздится льдина на льдине,  
волны толкаются в тучи и мчат,

голос гудящий был близнецом  
этой любимой картины печатной,  
где над трехрубником стелется чадный  
дым и рассеивается перед концом;

то ль навсегда он себя погрузил  
в бездну, то ль вынырнет, в скалы не врежась —  
так в разговоре мелькали норвежец,  
бедный воронежец, нежный грузин;

голос гудел и грозил распаять  
клапаны смысла и связи расплавить;  
что там моя полудетская память!  
где там запомнить! как там понять!

Все, что я помню, день ледяной,  
голос звучащий на грани рыданий,  
рой оправданий, преданий, страданий,  
день меня смявший и сделавший мной.

### ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ

В российских чашобах им нету числа,  
все только пути не найдем —  
мосты обвалились, метель занесла,  
тропу завалил бурелом.

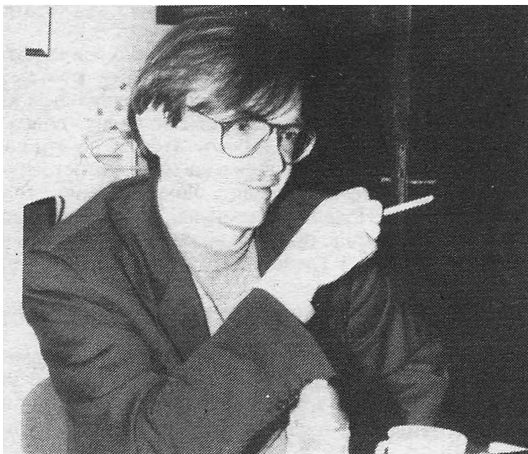
Там пашут в апреле, а в августе жнут,  
там в шапке не сядут за стол,  
спокойно второго пришествия ждут,  
поклонятся, кто б ни пришел —

урядник на тройке, архангел с трубой,  
прохожий в немецком пальто.  
Там лечат болезни водой и травой.  
Там не помирает никто.

Их на зиму в сон погружает Господь,  
в снега укрывает до стрех —  
ни прорубь поправить, ни дров поколоть,  
ни санок, ни игр, ни потех.

Покой на полатях вкушают тела,  
а души веселые сны.  
В овчинах запуталось столько тепла,  
что хватит до самой весны.

Нью-Хемпшир



*Сергей ЮРЬЕНЕН*

## БЕГЛЫЙ РАБ

*Евророман*

Конферансье объявил:

— Смертельный номер... Любовь в воздухе!

Голые девушки стали шестами отстегивать сетку, в которой происходили соития без эякуляции — прямо над залом, где за столиком в самом центре официально одетые мужчины исподтишка разбавляли принудительное шампанское "Посольской" водкой.

Когда самый молодой из них, взявшись за край столика, стал подниматься, слева и справа куратор по литературе и сопровождающий от посольства напряглись, а визави и без того держал его в поле зрения весь вечер — как все две истекшие недели. В качестве дирижера консерватории города Эн визави был включен в состав в последний день и сразу после взлета из Шереметьева стал рассказывать членам делегации о несчастных случаях с невозвращенцами. Однако и этот черный человек, и прочие расслабились, когда всемогущий руководитель делегации от МГК КПСС, растирая затекшее отсутствие шеи, изволил пошутить:

— Дрочить пошел, писатель?

Не ответил, но уголки губ машинально дернулись. Ничего...

Затылком, который свело, кожей между лопатками, негнушимся крестцом он ощущал взгляд визави. Девушка в одних туфельках и с пубисом в форме стриженного сердечка несла на шесте с крючком свою часть сетки; обдав мускусом выбритых подмышек, она только улыбнулась, когда он на нее налетел: "Пардон, месье".

За занавесью он расслабил галстук и, глянув на указательный палец привратника, свернул на лестницу и вниз.

Услышав сбегающее цоканье подбитых каблучков куратора по литературе, он уперся ладонью в переборку, согнулся и засунул в рот два пальца. Над вспенивающимся мочеиспусканием куратор возвысил голос: "Достал меня Париж! Бог видит, долго я держался, и почвеннице этой я так и быть: засажу по эти самые... Слышь? Ты чего там?" Согнувшийся в кабинке в ответ изрыгнул и прикрыл дверцу каблучком. "Даешь... Лично со мной только от красного вина. Когда в Провансе, помнишь, коммунисты напоили. Давай по-быстрому, сейчас прямо в воздухе засаживать начнут. Ну бля, эквилибристы..." Треща застежкой брюк, куратор удалился.

Из зеркала взглянуло бледное, измученное, но европейское лицо. Вот в том-то все и дело.

Он поднялся. Бумажки от гардероба сунул себе в карман человек из посольства, так придется в чем есть. Из-за занавеси слышно было, как оркестр настраивается к последнему номеру. Привратник спустился за ним к выходу с отеческой улыбкой и большим зонтом:

— Un peu d'air? <sup>1</sup>

Выскользнув за дверь, клиент промокнуть не успел — из-за спины над ним раскрылся зонт, по которому с силой забарабанило. Вывеска самого порнографического, согласно рекламе, театра Парижа *Le Septieme ciel* <sup>2</sup> озаряла стену дождя. Посольской машины видно не было, но она поджидала их, чтобы отвести в отель, затерявшийся в "красном поясе", а утром самолет, который через три часа вернет делегацию творческой интеллигенции в Москву.

Как раз под ноябрьские праздники.

В кармане пиджака ничего, в брючном тоже, но в заднем пальцы наткнулись на монету, отложенную еще в Марселе, каким-то чудом не выкатившуюся в последовавшей серии отелей. Десять франков. Старик взглянул и взял, но с изумленным видом и открывая рот. С интернациональным знаком — палец к губам — молодой человек шагнул из-под зонта.

Промок он сразу и до нитки.

На углу подошвы взвизгнули, и, поскользнувшись на говне собачьем, он приложился об тротуар ладонями, на которых и поехал вниз. При этом выскочила запонка, янтарная, но тут уж не до жиру. Он вскочил. За исключением машин ливень смыл с улиц все живое. На бегу поднимаемая воротник пиджака, он рванул под уклон.

Поперечная улица.

Бульвар, бля, Сен-Жермен...

Свет остекленного кафе освещал причудливую арочку начала века — спуск в метро.

Maubert-Mutualite

<sup>1</sup> Немножко воздуха?

<sup>2</sup> "Седьмое небо"

Не раздумывая, он сбежал под название, странное, но обещающее какую-то мрачноватую взаимность, сквозь двери, в неяркое блаженство замусоренной сухости и, последовав примеру длиннющего африканца в пальто, с ходу перемахнул воротца.

Врешь, не возьмешь...

Поезд въехал в тоннель, и он возник перед собой, как в темном зеркале. Лицо оставалось европейским, но в целом он выглядел как посланец страны Москошвея, которого невесть зачем раздели посреди Парижа. Не поднимая глаз, африканец пересел с откидного сиденья, когда он снял галстук, который затем сложил, выжал на пол и спрятал в хлопнувший карман. В собственной луже он стоял, держась за поручень, хотя вагон почти пустой. Над выходом с расшепленной молнии маршрута бросилось в глаза слово *Grènelle*. За две остановки до этого слова, непонятно, чем вспугнувшего, он вышел на станции, в названии которой было Ифиндшту. Пересел и ехал, повторяя в уме, что чем случайней, тем вернее до вокзала Сен-Лазар. Пересел. На остановке Опера в соседний вагон вошли трое ажанов, белый, черный и женщина. Он вышел на следующей.

Bourse.

Раздвижная решетка была сдвинута как раз настолько, чтобы протиснуться на дождь.

Площадь с грузным дворцом. Бессонный аквариум чего-то. На углу улицы каких-то Побед дождь хлестал по металлу ярко-зеленого мусорного ящика размером в танкер. Оглянувшись, он вспрыгнул на торец, заглянул вовнутрь и перевалился. Внутри, пригнув голову, он заскользил по корпусам пишущих машинок, телетайпов, какой-то аппаратуры, сундуков, разбухших газет, детективов в оранжевых обложках, аккуратно завязанных пластиковых пакетов с мусором. Косо торчал железный шкаф. Добравшись, он обнаружил, что дверца заблокирована. Выдирая ее из мусора, он увидел глубоко внутри ящик вина. Бутылки смотрели снизу запечатанными горлышками. Он лег, всунул руку, дотянулся и вынул одну. На ярлыке был год, вино пять лет. Он сунул бутылку в карман пиджака, уложил шкаф набок, развернул внутри него рулон содранного и обрезиненного исподу ковра и влез. Нижнюю дверцу он притянул, а верхнюю, обклеенную изнутри открытками, приоткрыл так, чтобы дождь скатывался мимо. Он вынул бутылку. Отдыхавшись, он выглянул наружу, поймал за хвост антенну, подтянул, пока приемник или что там не заблокировало, протолкнул в бутылку пробку и приложился к горлышку ноздрей. Градус на запах был. Он глотнул и сплюнул крошево. Пищевод разжался. Вино было отличное. По металлу барабанил дождь, бессонный аквариум светил в вентиляционные щели, а он лежал, опершись на локоть и пил, отогреваясь. Сигареты, на несчастье, остались вместе с зажигалкой на столике. Между глотками он срывал открытки и, налюбовавшись видами стран этого мира и райских островков, выбрасывал на дождь. Главное, отвлечься, не думать, в какой тревоге сейчас весь муравейник. И отель в "красном поясе". И посольство, откуда уже



вылетели в разные концы Парижа группы поиска и захвата. Неужели у них действительно там мини-крематорий?

Вскатившись на мокрый мусор, он выловил из ящика вторую бутылку. Почему выбросили. Ничего вкусней не пил.

Ковчег, он думал.

В крайнем случае, на свалке проживу.

Утро было мгlistым. Через дорогу на площади светилося кафе. За стеклом молодой парижанин курил и щелкал шариковой ручкой над какими-то бумагами. Когда он вступил в поле зрения, в глазах парижанина появился интерес. Он вернулся, толкнул стеклянную дверь и поднял к губам указательный и средний:

– Сигаретт?

– Ду ю спик инглиш? – оживился парижанин. Дал ему из синей пачки толстую белую сигарету, поднес огонь. – Тэйк э сит.

Он сел.

– Кап оф ти?

Он откашлялся.

– Спасибо...

Официант принес чай и кофе. Парижанин придвинул пачку сигарет:

– Австралия? Канада?

– Нет.

– Не говори... Европа?

Усмехнувшись, он полез во внутренний карман и шлепнул по мрамору отсыревшим паспортом. Француз поднял брови на герб СССР. Он кивнул. Француз взял паспорт, раскрыл и повернул.

– Алексей X-x..kx-x.. Это ты?

– Я.

Глядя на фото, француз усмехнулся.

– Ты в этом уверен, Алексис?

– Не очень.

– Проблемы?

– Одна.

– Осторожно! Перед тобой журналист. Бандит пера. Теперь говори.

У француза были синие глаза, орлиный нос, усы и впалые щеки. Кожаная куртка, распахнутый шарф, расстегнутая у ворота рубашка.

– Свобода, – доверился русский. – Хочу ее выбрать.

Засмеявшись, француз под взглядом бродяги с советским паспортом посерьезнел – но не глазами.

– Диссидент?

– Нет. Писатель.

– Известный?

– Мало.

– А я вообще неизвестный. Бон! Попытаюсь тебя продать... – Француз сложил свои бумаги. – Может быть, заодно на работу возьмут. Жди меня здесь. Кстати, зовут Люсьен...

Выйдя на дождик, этот Люсьен рванул через улицу к зданию, которое было Агентством новостей.

Под взглядом официанта Алексей опустил голову. Пепельница была полна окурков. Сигареты свои француз забыл. Владелец советского паспорта, он курил их одна за другой и видел, как с визгом на тротуар сворачивает машина, из которой выскакивают каменнолицые сверхмужики в плащах и шляпах...

Пан или пропал?  
Париж или Потьма?

2

За дверью стояла Бернадетт Мацкевич.

Свежий номер "Либерасьон" вывернут наружу (материалом о театре жестокости Арто) и прижат ремешком сумки к черной коже. Под курткой с погончиками, шипами, молниями и свисающей пряжкой белоснежная майка впихана в джинсы, поверх которых сапоги. Вот так она и пришла. Без сына.

И на высоких каблуках.

Алексей сделал шаг назад.

Бернадетт отдула свежевывытую прядь. Скулы ее алели. Прекрасно зная, где сейчас Констанс, она спросила:

— Ты один?

Ответило ей эхо запустения. Тени жалюзи исполосовали ее на пороге закуренной комнаты, где энергично смятые листы отбрасывались на пол. На столе гудела Ай-Би-Эм, за корпус которой для упора он взялся.

— Что ты делаешь?

— Бранлирую.

Оглянувшись, Бернадетт села на тахту и, расставив ноги, вынула из сумки "Никон" с навинченным объективом. Сначала она была в группускуле "Рево", потом в феминизме, который потребовал от нее невозможного, а теперь решила начать карьеру фоторепортера.

— Продолжай...

— Хочешь снимать меня?

— Тебе помешает?

— Нет, но.. Почему вдруг я?

— Потому что, — сказала Бернадетт, — я верю.

— А Люсьен?

— Давай, — нахмурилась она. — Не обращай внимания...

В перспективе финала Алексей был не в лучшей форме. После того, как с криком: "Это мой последний шанс" Констанс увезла девочку к матери и улетела в Лондон, он выключал машинку только, когда в дверь начинали ломиться соседи. Джинсы протерлись, фланелевая роба для джогинга впитала марафонский пот, щетина перешла в бороду. Но Бернадетт хотела его именно таким — кружа, выгибаясь, опускаясь на колени и садясь на корточки с упором в стену. Он перестал реагировать на выстрелы и втянулся вглубь бумаги. Опомнился он только, когда услышал звук "зиппера". За спиной у него Бернадетт снимала джинсы вместе с трусами и сапогами, а причинное место было выбрито и припудренно.

– Les morpillons<sup>1</sup>, – пояснила она без улыбки. – Люсьен подхватил у малюлетки.

В куртке и майке она поднялась – высокая и босиком.

Он с лязгом поднял жалюзи и распахнул окно.

Бетонные дома предместья расстились до горизонта, за который он мечтал вырваться с помощью этого романа. Там, за горизонтом, был Париж. Он вдыхал полной грудью, слыша, как по пути из ванной она волочит свою куртку, которую, увидев его, уронила на пол:

– Что это значит?

Он взял ее за сильные плечи:

– Ecoute..

Отбросив его руки, она сорвала с бедер полотенце и стала одеваться, обламывая ногти и опустив голову. Вбила ноги в сапоги и вышла, тут же вернувшись за "Никоном".

– Все равно! – Сверкнув глазами, она подняла камеру за ремешок. – Ты у меня внутри.

– Бернадетт...

– Надеюсь, пленка не пропадет впустую.

И ушла.

### 3.

В кафе на площади Биржи Констанс, несмотря на жару, заказала чай с молоком и вынула пачку английских с ментолом.

Люсьен вышел из Агентства с парой сослуживцев, махнул им и бросился к ней через улицу – руки в карманах лётной кожанки, палевые джинсы, светлые усы, запавшие глаза.

– "Са ва?" – притерся он шершаво, упал в плетеное кресло и повернулся в сторону уходящих коллег. – Соавторы мои. Мы с ними rolar<sup>2</sup> решили написать. Глобальный – от Ирландии до Индонезии. С говном смешаем и ЦРУ и КГБ. Бестселлер будет номер уан. Один материалы собирает, другой отвечает за сюжет...

– А ты?

– Я, как всегда... За стиль.

– Симпатичные.

– Пошли на рю Блюндель. 3

– Что, успевают в перерыв?

– И даже пообедать после. А между тем, женатые. Тогда как я храню верность неизвестно почему.

– То есть?

Люсьен заказал "как обычно" и, поскольку бросил курить, взял из ее пачки сигарету и щелкнул ее зажигалкой.

– Сбежала мадам Мацкевич.

– Бернадетт?

– Главное, именно когда я решил проституировать перо, чтобы заработать суке миллион.

---

<sup>1</sup> Мандавошки

<sup>2</sup> Детектив, триллер

<sup>3</sup> Одна из самых популярных улиц квартала проституток Сан-Дени

На мрамор сбросили картонку, фужер *demi*<sup>1</sup> был запотевшим.

— Куда?

Люсьен выпил половину залпом и утер усы.

— Я откуда знаю... В Триест как будто.

— Это в Югославии?

— Скорее в Италии.

— Триест?

— Тебя удивляет?

— Далеко...

— Твой Лондон был не ближе. Или, ты думаешь, в Триесте не ебутся?

— Не знаю. Про Триест я вообще не думала.

— Вот как?

— Ни разу в жизни.

— А напрасно. Впрочем, я тоже. Только вчера задумался. Когда она мне позвонила с Лионского вокзала. Я даже взглянул в энциклопедию — прелюбопытный город.

— А как же Феликс?

— Что Феликс? С Феликсом в порядке. Отвез его в школу, по пути с работы заберу.

— Она сказала, когда вернется?

— Сказала, что сама не знает. И вернется ли? Впрочем, спятила как будто не совсем. Предупредила и Мартин. Теща моя будет. Из анархистов старого закала. Приезжает вечером, но через пару дней, боюсь, тесь-поляк ее востребует обратно. Вот так, Констанс. Вместо полара с тещей буду ночи коротать. Воспользуюсь этим, чтобы как можно больше узнать о тяжелом детстве моей жены, которое и довело нас с ней до Триеста. Где сука ловит кайф.

— Кто у нее там?

— Откуда я знаю. — Прищелкнув пальцами, он повторил заказ.

— Судя по обрывкам с вокзала, какой-то славянин.

— Не итальянец?

— Нет, Юго.

— Триест же в Италии?

— Ха! Не говоря про Триест, их и у нас навалом. Поляки, югославы, русские даже — как твой романист. Какое-то нашествие, нет? Варваров на цивилизованный мир. Могла бы и в Париже найти: это ты верно. Жаль, не рекомендовал ей одного — мы его знаем. Примарный антикоммунист, бит, хотя вряд ли и скорострельный, но, уж, наверно, до колена. А ты не смейся: он с ней, возможно, переспал.

— С кем?

— С кем же... С Бернадетт моей. Случайно не делился?

Констанс мотнула головой.

— Тем более все основания подозревать. Варвары, они такие. Предпочитают делать и молчать. Та, кстати, тоже отмалчивается по его поводу — мадам Мацкевич. Тем самым подтверждая свою природу. А знаешь? Давай и мы переспим.

<sup>1</sup> Доза пива

- Зачем?
- Чтоб в догадках не теряться.
- Ты серьезно?
- Вполне. А им не скажем. Варварам.
- Если переспим, надо сказать.
- Констанс, я уверяю... Ни в коем случае. За мной ведь очень драматичный опыт. А все из-за чего? Я говорил. Делился. Хотел быть честным. Невермор.
- У меня другая концепция измены.
- Это у варваров *концепции*, а мы цивилизованные люди. Ты скажешь, а он меня, пожалуй, и зарубит. Топором! Согласно темной какой-нибудь концепции а ля, не знаю, Достоевский Федор Николаевич.
- *Михайлович*.
- Тем более... – Люсьен допил второе пиво. – Подумай, Констанс. Надумаешь, звони. А я пошел.
- На рю Блондель?
- Тошнит при одной мысли... К дисплею своему.
- Что, кстати, в мире?
- Провались он пропадом... Все то же. Нацисты поднимают голову повсюду. Пойду. Или ты хочешь пообедать?
- Слишком жарко.
- Не говори. Амбулия, апатия, и утром не стоял.
- Съезди куда-нибудь.
- Куда? Разве что в Триест. И зарубить обоих. Или присоединиться третьим.
- Просто проветриться.
- С тобой?
- *Without women*<sup>1</sup>, ответила Констанс. – И друга своего возьми, а то он мне на нервы действует последнее время.
- Что-нибудь случилось?
- *Mid-age crisis*<sup>2</sup>. А так ничего. Быт, осложненный полярностью культур.
- Как можно с русским жить, не понимаю.
- Дело не в том, что русский. Экс-советский, – ответила Констанс. – Без предрассудков, но и без устоев.
- В чем, наверное, и шарм?
- Не знаю. Иногда кажется, сама структура личности разрушена. Ни ценностей, ни традиций, одна жажда новизны.
- Слишком ты умная, Констанс. А жаль... – Люсьен погасил сигарету, медный браслет на запястье предохранял его от излучения отдела новостей. – Проветриться, говоришь? Не знаю. Если *belle-mere*<sup>3</sup> отпустит...

---

<sup>1</sup> Без женщин, аллюзия на Хемингуэя и сборник его рассказов "Мужчины без женщин"

<sup>2</sup> Кризис среднего возраста

<sup>3</sup> Теща

4.

Осознав, что выбравший свободу советский его герой не способен полюбить Запад, Алексей забуксовал.

Он сидел за своей огромной – только плечами с ней меряться – пишущей машиной, звукоизолировавшись от Европы, данной в ощущениях, с помощью губчатых американских затычек, поверх которых он надевал еще и наушники для стрельбы, тоже штатовские. На нем была черная майка и трусы типа "советские семейные" – отчасти дань ностальгии, отчасти моде, в которую они вошли по причинам сексуальной экологии.

Осознал неспособность своего героя Алексей еще ночью, предварительно заставив его исполнить с героиней (символической Европой) каннилингус длиной в три страницы. При свете дня было ясно, что перебор и порнография. Впрочем, хотя бы в этом он еще сохранял национальное своеобразие – переходить черту. Но что за ней открылось? Что нет любви. И стало быть, романа. Весь труд насмарку, ибо тщетны усилия... Был такой романс, но слов уже не вспомнить...

Что нет любви... Та-та-та-та!

Дым сигареты уплывал в окно – послеполуденное удущье двора средневекового квартала Марэ.

Рыжий кот продвигался по жестяной крыше пристройки к окну мансарды, откуда даже сквозь звукозащиту автора всю минувшую ночь прорывались brutальные рыки анальной любви.

Кота звали Масик. То был кот Алексея, один из сыновей сибирского кота князя Татищева, и крался он сейчас не за раскинувшим в истоме крылья воробьем, а с извращенной целью вновь обоссать "голубого" обитателя мансарды – вернее, территорию его отсутствия. А между тем не далее, как вчера педак опять являлся с ламентациями, что "русский монстр" сделал пипи в сатиновые простыни, купленные к возвращению друга из Марокко. Что же делать? думал Алексей, глядя, как уверенно взбирается кот к открытому окну мансарды. Может, превратить все это в антироман? Любовь, нелюбовь – главное, книгу как спасти? Репутацию, созданную первым романом?

Не услышав, как вошла Констанс, он вздрогнул, взятый за плечо.

– Что?

Выражением лица она дала понять, что принесло кого-то, – вручила джинсы и вынула из холодильника три банки пива, оставшиеся в пластиковой оплетке. Затычки он выковырял, а наушники надел на ручку оконной рамы.

Это был Люсьен.

– Сава?

Люсьен ухмыльнулся, Алексей хлопнул его по плечу. Что тут скажешь? Он выдрал запотевшую банку пива, с хлопком открыл и вручил другу, который из галантности передал ее Констанс.

Они сидели и пили.

Из детской комнаты доносился писк электронной игрушки, которую Анастасия наконец бросила и пришла рисовать, свесив медные свои волосы над зеленым овалом мрамора.

- Бон. – Люсьен взял с пола неизменную кожанку. – Поехал.
- Куда?
- Из Парижа.
- А именно?
- Если бы я знал... Хочешь со мной?

Констанс пожала плечами на взгляд Алексея: как, мол, знаешь. Но рисунок Анастасии отражал подсознание ребенка, растущего в проблемной семье, и он отказался:

- Роман...
- Продвигается?
- Не особенно. Второй, понимаешь...
- Мне бы твои проблемы, – ответил Люсьен. – Ну, что тогда...

Чао?

- Съездил бы, – сказала Констанс.
- Думаешь?
- Вдвоем веселей, – сказал Люсьен.

Чувствуя, как душа сбрасывает балласт, он огляделся:

- Так я поехал?

Машина была запаркована на солнечной стороне. Они открыли окна.

- Куда?
- За границу.
- Давай. А ты паспорт взял?

Зная, что пути не будет, Алексей вернулся и на глазах Констанс и Анастасии полез под стол – в картонки, набитые бумажными отходами жизнедеятельности в мире, который себе выбрал. *Titre de voyage* – путевой документ беглеца – был голубым. Он раскрыл, взглянул на срок годности и швырнул на пол:

- Просрочен!
- А зачем он тебе?
- За границу хочу.

– Ты и так за границей. Кроме Парижа, есть Бретань, есть Корсика...

- *Cote d'Asur*<sup>1</sup> – добавила Анастасия.

- И нудистки всюду.
- Надоело! Вот так мне Франция...
- Тогда возвращайся.
- Куда это?

– В лоно матки, в ГУЛАГ – откуда я знаю. Десять лет отсидишь, обнимешь свои березки...

Стиснув зубы, он пытался засунуть свой документ, мало того, что негодный, еще и садистски огромный – не по карману. Не отрываясь от беспощадного рисунка, Анастасия осведомилась по-французски:

- Они за Бернадетт поехали, маман?

Ни та, ни другая не подошли, чтобы махнуть рукой или хотя бы бросить прощальный взгляд из окна детской – как раз напротив китайского ресторана "Райский сад". Дверца хлопнула, отдавшись в сердце.

<sup>1</sup> Лазурный берег

Люсьен завел мотор.

Квартал был по-воскресному пуст. На перекрестке они опустили противосолнечные щитки.

– Только не в Италию, – предупредил Люсьен.

– В Испанию?

– Подохнем от жары.

– Тогда на север.

– You are the boss.<sup>1</sup>

На автострате в лицо ударил ветер.

И Алексей запел.

Он растягивал ремень безопасности и бил себя по ляжкам – с отчаяньем, невероятным самому. Сначала водитель посмеивался, потом присмирел. Когда сидок отпал на изголовье, спросил, не Красной ли это армии песни?

– Ее.

– А смысл?

– Что от тайги до британских морей Красная армия всех сильнеей.

– Нет?

– Да.

– Пентагон бы лучше придумал.

– Пентагона тогда не было.

– Старая песня?

– Юности наших отцов мудацких.

Люсьен тоже стал насвистывать, но, не найдя аналога, замычал что-то из песенного фонда Тысячелетнего рейха, отчетливо повторяя: фрише, фройлих, фест. Алексей смеялся, а француз пел, сводя брови и с большим напором. Настроение было отличное, и песня была именно о них – все ебуших. Бодрых. Радостных. Крепких.

– Часть нашей культуры, нет? Двадцатого века?

Алексей крикнул:

– Не оправдывайся! Never explain.<sup>2</sup>

Просто – все еще впереди за горизонтом. Лебенсраум. Пространство нашей жизни. Идеальное, как мечта.

Там, вдали...

На станции обслуживания очередь к заправке. Парень, расстегнутый до небрежно завязанного пупка на белом брюхе, вытирал руки тряпкой и мотал головой, что не может. Слишком много машин, еще больше народу. Послеобеденная лень, всеобщее похмелье – Франция. Это был целый комплекс, разделенный полотном автостраты, но связанный остекленным виадуком, по которому они перешли на сторону, где ресторан. Невероятно, но идущие за ними поколения продолжали размножаться. Институт брака вроде рухнул, но от юных семей негде было протолкнуться, а в проходах между столиками копошились дети. Они выпили кофе у стойки, после чего обнаружили, что наличных кот наплакал, а свою чековую книжку (которую у Алексея аннулировали за нечаянный минус в банке) Люсьен забыл.

<sup>1</sup> Хозяин – барин (англ.)

<sup>2</sup> Никогда ничего не объясняй (англ.)



- Ну, еб же твою...
  - Вернемся. Горючего до дома хватит, – утешил француз.
  - А до Брюсселя?
  - Может быть. А там?
  - Там у меня кредит.
  - Какой?
  - Неограниченный.
  - То есть?
  - Читатель.
- Люсьен восхитился:
- Ну, русские... Скромностью не страдаете.
  - Вперед!

6.

Ракетами СС-20 летели в них машины галльских любителей быстрой езды, на своей левой то обгоняли они, то делали их, но в целом трафик на Европейской 10 был пунктирен, особенно на их стороне – к исходу уик-энда из давшей Алексею убежище благословенной и самодостаточной страны охотников бежать было немного, так что машины, с которыми они состязались, были почти сплошь иностранцы, на которых передний, поверхностный план сознания эмигранта с известным стажем реагирует уже с "петушиным" автодорожным шовинизмом: вон, дескать, "ростбифы" слева держат руль (хотя их аббревиатура "GB" вызывает еще чисто советский рвотный спазм по ассоциации), а вон "капустники" – "D" на пошлых "мерседесах", при этом бельгийских и голландских вкраплений даже мысленного замечания не удастайвая.

- По этой дороге я уже убегал.
- Когда?
- Я не рассказывал?

Из отчего дома в Гаскони сын отставного полковника впервые дал тягу в 15.

- Завидую. Там, откуда я, в этом возрасте далеко не убежишь.
- Здесь тоже...

На выезде из Парижа юный Люсьен тормознул одного месье, который вел себя прилично до Компьена, после которого съехал на обочину и сбросил маску. Обстоятельства тому сопутствовали – вечер перед Рождеством, автострада пуста, как заснеженные поля по обе стороны. Когда Люсьен отклонил гнусное предложение, месье распахнул дверцу. Нет, он не вышиб отрока из кабины, как мог бы в аналогичном случае шофер грузовика, он просто предъявил строптивцу альтернативу, которую беглец и выбрал. Педофил умчался в лоно семьи, а Люсьен поднял воротник, втянул руки в рукава и зашагал по заинделелому асфальту в том направлении, куда стремился из родной провинции. Шапок во Франции избегают даже в морозы, что сходит с рук разве что парижанам, которых на каждом шагу готов согреть их город. Но вокруг был не

Париж, а снежная равнина. Тогда, в конце 60-х, климат еще не свихнулся, и Рождество подступало старое и люто доброе ("Березина!" – как говорят во Франции про мороз). Но люди уже шли новые – две-три машины за час ходьбы пролетели мимо. Под-росток окошел и лег на дорогу. Наполеоновским воином – только не в России. Он лежал в ожидании смерти, однако очередная машина не только не переехала его, как собаку, но и подобрала в свое накуренное тепло. Женское! Спасительница за рулем оказалась стюардессой авиакомпании "Сабена", сломя голову она гнала по пустынной Франции, опаздывая на рейс Брюссель – Нью-Йорк...

– Надеюсь, дефлорировала?

– Если бы, – с горечью воспоминания ответил Люсьен, теперь водитель сам. – В Брюсселе оставила меня в своей квартире, там чулки висели в душе... Представляешь? Они тогда еще чулки носили... Обычные нейлоновые, но кончил от одного вида. И сбежал, не дождавись ее из Нью-Йорка.

– Куда?

– Как Лао-дзы говорил, следуя потоку. Тогда мы все бежали в Амстердам.

– Не в Катманду?

– Это потом. А вы?

– Мы в основном в себя.

– Потому что русские интраверты?

– Потому что дальше СССР нам было не убежать.

– Ты же сумел.

– Когда? Когда, Люсьен? Земную жизнь пройдя до половины...

– Лучше поздно, чем никогда.

– Не знаю...

Рожь не рожь – тучно колосится все на местах рождественского сюжета.

Лето.

Июль...

Странно впасть в меланхолию – ведь не Россия пролетает мимо. Но без анестезии тянет из-под кожи этот вид саднящую нить ностальгии по избыточно-захолустной окраине – будто родом отсюда, из этой самой ржи, и в детстве радио пело не про "могучую, кипучую, никем не победимую", а приторным голосом Шарля Трене, которого так извращенно любит авангардистка Констанс:

*Douce France, cher pays de mon enfance...*<sup>1</sup>

Франция, колыбель. А разве нет? Разве не здесь, Алексей, родился, сбросив опыт небытия и начав отсчет с нуля? Колыбель и могила, куда, Владимир Семенович, так и сойти мне подростком, поскольку при таком отставании от них не дожить уже до зрелости... Пускай. Сбежим. Эмигрируем. Регрессируем! Снова начнем и подохнем, как дети – в Крестовом исходе сверхдержавы на Запад. Впадем в парадиз. Посреди обреченной этой жизни внезапно и вновь – *douce France!* Инфантильный оазис, остров детства России... Мерси.

---

<sup>1</sup> О, нежная Франция, милая родина моего детства..."

– Вот и граница, – сказал Люсьен.

– Уже?

Слева по дороге возник пограничный пункт, при виде которого майка стала липнуть к груди Алексея. Сбрасывая скорость, Люсьен снял руку и полез за своей *carte d'identite*<sup>1</sup> в куртку у ног, но черно-синий пограничник с блестящим от пота лицом отмахнулся белозубо:

– *Allez-y, les gars, allez-y...*<sup>2</sup>

Машина выползла на ничейный асфальт. Кровь застучала во лбу Алексея, впервые в жизни покинувшего Францию. Отпустили, но впускают ли...

Розовый, как огромный ребенок, старик в иноземной зеленой униформе улыбался им навстречу...

Но, может быть, коварно?

7.

Королевство Бельгия.

– Септант, нонант, – сказал Люсьен сварливо.

– Что значит?..

– Так они говорят вместо суасант-дис, катраван-дис... *Les cons.*<sup>3</sup>

Алексей засмеялся – чисто нервное. Он просто не мог опомниться, и не от счастья противозаконного проникновения, скорей, от ужаса. Он был в сложном и глубоком шоке от попустительства к себе – нарушителю. К себе, частице Целого, блуждающей в отрыве, но воспроизводящей весь наследственный узор преступной ментальности. Может, он не просто эмигрант, а по казенной надобности... Агент? И не пассивного влияния агент – оперативник? Террорист? Ничего не мог он понять. Глубины западного благорасположения к ближнему заказаны для выходца из вечной мерзлоты и мизантропии. Просто страшно сделалось за Запад, гарант его выживания. А как они здесь произносят числительные "70" и "80", на это, право, наплевать. Во всяком случае, короче, чем соседи с юга.

– Септант, нонант... – Люсьен бросил взгляд на показатель бензобака. – Так где же твой читатель?

В придорожном кафе им выложили на стойку телефонный справочник столицы королевства. "Вот", – остановил Алексей указательный палец под строчкой:

*Mlle Anabelle Weiss, orientaliste.*

– Все ясно.

– Что тебе ясно?

– Какой-нибудь синий чулок.

Набирая номер, Алексей вспомнил письмо, которое переслало ему издательство: читательница приветствовала "гусарскую" отвагу, с которой автор выразил сексуальное отчаяние всего своего пола.

<sup>1</sup> Удостоверение личности, которое в пределах Европейского Экономического Сообщества служит и заграничным паспортом для граждан стран, входящих в ЕЭС

<sup>2</sup> Давайте, ребята, давайте...

<sup>3</sup> Мудаки (дословно "пёзды")

- С чего ты взял?
- Кто же еще читает русских...
- Это говно он отрубил:
- Смотря каких.

Хотя Люсьен, возможно, прав, поскольку в воскресный летний вечер мадемуазель томилась дома. Голос, впрочем, хоть и низкий, но отнюдь не пожилой. Русский роман забыла? Когда он у нее пылает в памяти. Конечно, будет счастлива, сейчас же... Ах, он еще у границы? Условившись о встрече, он положил трубку.

– Ну и что?

– Complètement folle <sup>1</sup>, – ревниво ответил Люсьен, вкладывая отводную мембрану в гнездо позади стандартного аппарата, которые здесь были не серо-голубые, как во Франции, а бледно-зеленые и обтекаемые. – Но говоришь, неограниченный кредит?

Провинция Брабант была музеем по истории капитализма. Терриконы, почернелый кирпич, архаичный уже при Мунке пейзаж первоначального накопления. Солнце садилось над шахтерскими городками, где даже реклама выглядела обесцвечено.. Глядя с автострады на улицы между рядами машин и односемейных домов, думалось о силикозе, забастовочной борьбе, мощно-гладких крупках конной полиции и сексуальном отчаянии под закопченными крышами из черепицы. Кем бы он стал, родившись здесь?

– И все-таки мне жаль.

– Чего?

– Социализма. В отдельно взятой стране...

– Швецию имеешь в виду?

– Ебал я Швецию.

Люсьен никогда не жил на рабочей окраине советского города, он засмеялся – в приближении очередного щита с еще большим Bruxelles-Capitale.

## 8.

Было еще светло, но уже залито неонам, когда Люсьен ухитрился запарковаться в центре – прямо у сортира.

Заграница.

Головокружение.

Спускаясь, Алексей ощущал нетвердость в ногах.

В мужском отделении куражились две подвыпившие мадам-пипи – туалетные старушки. Ориентировав свою неистощимость, он загляделся в окошко, за которым мелькали ноги брюссельцев. Когда он вышел, одна мадам притирала животом Люсьена к кафелю, повторяя: "Мон бо паризьен!" – на что другая хохотала так, что в блюдечке у нее подпрыгивали скучноватые монетки с коронами и профилем короля. Мадам переключилась на Алексея, он пятался, потом, застывши улыбаясь, оказал сопротивление не на шутку, поскольку, выкрикивая что-то невнятное на их фран-

<sup>1</sup> Абсолютно безумна

цузском и дыша пивом, этот божий одуванчик пытался расстегнуть ему штаны и втолкнуть обратно в кабинку — у нее был красивый пластмассовый протез. Высыпав всю мелочь, Люсьен его выкупил, и они бросились прочь под резонирующий хохот. Наверху Люсьен вспомнил рефрен парижской радиопесенки на русские темы:

— Бабушки, бабушки. Вот тебе и бабушки!

За углом сиял "Макдональд".

Люсьен вывернул драный карман, и в вязаном окаймлении его куртки Алексей нашупал и перегнал обратно к дыре закатившуюся десятифранковую монету. Кроме стандартного набора, шоколадно-ванильно-клубничного, здесь оказался еще и банановый шейк. Им хватило на один, они вставили в него две соломинки и, попеременно посасывая, оказались на соборной площади. Мощеная неровностью пятисотлетней давности была замкнута готикой с расчеченными тусклым золотом аспидно-черными фасадами, что в этом сумраке он даже взглянул на часы — но был еще не вечер. До свидания с читательницей масса времени. На паперти собора Святого Гудюля — никогда, заметил Люсьен, в природе не существовавшего — les cons — они перекурили. В прилегающих улочках торговали жратвой, туристы перемещались с картонками жареной картошки с соусом беарнез, кетчупом и горчицей...

— Са ва?

— Са ва...

На площади, которую они снова пересекли, была уже ночь, в начале улочки туристы толпились перед фонтаном с медным ссыкуном дошкольного возраста, это был Manneken-Pis — едва ли не главная их достопримечательность, и с лотков вокруг шла бойкая торговля этим "писом" в разных размерах, а сам фонтан был центром самодетельных перформансов, кто-то падал в него и, задирая юбки, вылезал с показом, какая-то очкастая особа, которую держали сзади несколько рук, сумела дотянуться разинутым ртом до струи, за что ей захлопали, придя в экстаз за то, что проглотила, в Москве ему показали вышедшую за иностранца девушку из Текстильного, которая до этого любила, чтобы на нее, залезавшую в заржавленную ванну, коллективно ссали после "Жигулевского", так, что с волос текло, рассказывал участник игрищ в "золотые струи" по-советски, через толпу кретинов нельзя пройти, германо-японскую по преимуществу, обвешанную видео- и фотоаппаратурой, с торчащими из жоп бумажниками, свобода, когда у тебя миллион, "Иметь и не иметь" — причем не иметь даже автомата... Что я здесь делаю? Алексею стало отрывиваться банановым шейком, вся глотка облипла приторной гнусью, убивавшей вкус сигареты — к тому же предпоследней.

— Са ва?

Он не ответил. Известно, что по воскресеньям, когда закрыты банки, у людей в Париже наличных нет, тем более у эмигрантов, тружеников пера, и, отрывая их от романов ради терапевтических прогулок, изволь же хотя бы голодом, блядь, не морить, еще при этом изображая альтруиста, катающего по "священным камням" варвара, волей рока доставшегося в друзья-приятели.

За час до свидания они явились в назначенный английский бар, где сразу оглохли от рока. Plus tard <sup>1</sup>, — сказал Люсьен официанту, а он заказал стакан воды. Водопроводной. Брюссель уже остоебенел. Устал — не то слово, еще до выезда он изнурен был гибнущим своим романом, а сейчас, перекурившему до омерзения, ему хотелось только встать под душ, чтоб смыть остывший пот, но все еще хотелось есть. Вместо этого он вынужден был переживать удары рока по барабанным перепонкам, израненным машинкой Ай-Би-Эм.

— Пардон? — переспросил он.

— Как она выглядит?

— Какая разница.

— Да, но как мы опознаем?

Алексей усмехнулся. Парижское издание его романа, стоящее у них в семье на видном месте, украшено фотопортретом небритого автора (signé <sup>2</sup> Бернадетт Мацкевич).

— Она, — сказал он, — опознает.

Побарабанив по столу, Люсьен поднялся и ушел — проверить, не завалилось ли в машине мелочи.

Все дело в том, что он писатель тоже, но — без книги. Когда они с ним познакомились в кафе перед Агентством новостей, Алексей только в кошмарах видел первый свой роман, тогда как у Люсьена он уже был — сырая рукопись того, что могло бы стать конгениальным французским аналогом *On the Road*.<sup>3</sup> Пока он, принятый за это в Агентство на работу, давал пьяные клятвы довести свое произведение до публикабельного вида и победного конца, Алексей кончил свой первый и, никому не показывая, запер в чемодан, после чего сел за второй, который и вышел со всеми их парижскими фанфарами. За это время зарплата Люсьена поднялась до заветного "кирпича" (une brique, говорят по-французски, он получает "кирпич" в месяц), но Керуаком он не стал, убедив себя с активной помощью Бернадетт, что отдел новостей лучше, чем журавль в небе — или что они в таких случаях говорят. Алексейпил воду, испытывая сожаление по поводу преуспевающего друга. В неопубликованном его романе остались погребенные заживо юные бунтари, и девочка-подросток по имени Сад, и как они собирают грибы в провинции, надеясь вытянуть оттуда ЛСД, и сцены с родителями, и финальное бегство в Катманду. Как можно жить с этой могилой? Глядя на обтянутый зад вошедшей в бар особы в ковбойских сапогах, он думал, что, может быть, для Люсьена и к лучшему — бегство супруги. Не исключено, что, бросив так или иначе обреченный на провал проект с триллером, которых французы писать не умеют, извлечет он из старого польского сундука свою юношескую рукопись.

Особа повернулась.

Под распахнутой черной курткой растегнутая блузка из индийского шелка показывала отсутствие лифчика, но, несмотря на

<sup>1</sup> Немного погоды

<sup>2</sup> Подписанного (мастером)

<sup>3</sup> "По дороге" — известный бит-роман Джека Керуака

это и на расшитые бисером голенища, на пояс с серебром и мексиканской бирюзой, на джинсы, впрочем, тонкие, и дорогие, и обтягивающие так, что сквозь бледно-зеленую ткань по обе стороны от застёжки вздувались лаба мажорис, — женщина была высокого полета. Иссиня-черные локоны, можно сказать, пошопеновски обрамляли матовой белизны лицо интеллектуалки. Озираясь, она наощупь расстегнула сумку, вынула сигареты, зажигалку и задержала взгляд на Алексее.

Черные глаза сверкнули, когда он поднял руку. Она порывисто шагнула к нему. Поднявшись, он обнаружил, что одного с ней роста.

— Вы это он?

Стиснув ему руку, она ее не выпускала, пока Алексей не предложил ей сесть.

— Нет, нет, — перебила Аннабель, — это не место, я просто боялась, поскольку не была уверена, что вы знаете город. Я покажу вам нечто совсем другое, мы сейчас пойдем...

Вернувшись, Люсьен запнулся и сделал глаза, но у столика, представленный, обрел светское выражение. Сразу стало ясно, что с Аннабель они свои, одного круга, и самовыражение Алексея по сравнению с их искрометностью было мычанием дебила, впрочем, Генри Миллер, говорили ему, сумел сделать из своего французского косноязычия стиль общения, и на него французы, наверное, смотрели точно так же — сиянием очей. В котором Алексей понес себя надмирно, представляя им обоим обсуждать детали маршрута, а потом, будучи настоящим другом, сохранил верность "рено", тогда как Аннабель рванула с места в "порше" — двухместном, белом и открытом.

— Mais elle est belle, elle est vraiment belle... <sup>1</sup>

В ответ на это Алексей только раз издал: "Фееутешшт!" — когда Люсьен чуть не врезался в зад его читательницы, которая привезла их в какой-то барак, место, как было ясно по запаху марихуаны, очень "in" <sup>2</sup> — обшитое фанерой, частично расписанное в стиле африканского наива, здесь были голые столы и скамейки, которые вкапывают в землю, и очень яркий голый свет в лицо. Пара сверкающих от пота африканцев в дыму исступления хучила по тамтамам, и, конечно, был здесь "весь Брюссель", которому Аннабель с гордостью представляла своего "русского друга" в его отнюдь не умышленно латанных-перелатанных джинсах, иногда при этом вспоминая и Люсьена. Перед ними была бутылка советской водки, и перед каждым по адекватно граненой стопке, причем водка была не только не замороженной, как пили ее в романе Алексея, но просто теплой, и они — Аннабель и Люсьен — пили это на извращенный европейский манер, глоточками, смакуя и при этом непостижимым образом умея удержаться от гримасы омерзения. Алексей кинул свою, он сделал это без аффектации с афишеванием, так просто, чтобы скорей отделаться от муки, и поймал взгляд черных глаз, отметивших еще один момент его соответствия чему-то, какому-то, наверное, из возбудивших ее

<sup>1</sup> Но это же красавица, настоящая красавица

<sup>2</sup> Для "посвященных"

романных образов безудержа а ля рюсс – из того же ряда, где эти лиловые тамтамшики с пудовым яйцетрясом в набедренных повязках. Сочинитель попросил у читательницы сигарету, и по той порывистой готовности, с которой отдана была ему вся пачка, понял, что барак не апогей, а лишь начало предстоящих испытаний. Он глубоко затянулся, маскируя вздох. Закрыв глаза, Люсьен с трепетом ноздриным вдыхал аромат заведения, в этом смысле он тоже был ориенталист, дома у него двужайцевый тамтам, и бубны, и на стенах виды Сенегала, намалеванные маслом прямо по стеклам, и соломенные шляпы, и прочая дребедень, вывезенная из побегов в "третий мир", где ему было, надо думать, так же в кайф, как и здесь. На лице его было выражение, с которым он иногда рассказывает одну из своих коронок: как одни линявшие по-быстрому друзья-революционеры оставили ему матрас, который он однажды раскатал для любви со случайной студенткой, скуластой и русой, – она-то в процессе и унюхала в этом матрасе целые залежи замечательной травы, в связи с чем и задержалась: мадам Мацкевич теперь ее зовут.

– У вас немало общего, – заметил Алексей, когда они снова оказались в машине, и Люсьен не отрицал, сосредоточенно преследуя "порш", хозяйка которого перетянула волосы черной бархаткой, срезая углы так, что покрывшки взвизгивали.

– Что она делает? *Bon sang! elle est complètement folle...* <sup>1</sup>

Ночной Брюссель был по-провинциальному пуст, а они так неслись через него, что на поворотах Алексей упирался подошвами, чувствуя, как водка сбивается с желудочным соком в болезненный ком.

– *Si folle et si belle...* <sup>2</sup>

– Дарю ее тебе.

– Мне? Нет...

– Бернадетт я не скажу, не бойся.

– Сука здесь не при чем. Перед Аннабель у меня комплекс неполноценности.

– У нее тоже.

– Слишком хороша...

– Но о том не знает. Будь другом?

– Нет-нет. Твоя читательница, и ты... Но что же она делает? Придется тоже на красный, держись!..

Забалдел Алексей так, что оступился и едва не загремел на натертой воском лестнице. Заведение было до потолка завешено подписанными фото именитых клиентов. Аннабель знали и здесь, им подали какого-то швейцарского вина чуть ли не времен Джойса, и, причем белого, а оно, любое, с первого глотка разламывает ему мозги, сразу три бутылки, тогда как есть – в смысле пожрать – Аннабель, видимо, считала делом, романиста недостойным. Люсьен уводил блудливые глаза столь нагло, что он достал его по голени носком ботинка, отчего тот сразу же нашелся:

– Сыры, наверное, тоже здесь на уровне?

---

<sup>1</sup> Ей-Богу, ну, совсем безумна

<sup>2</sup> Такая красивая, такая безумная



– Ах! Я даже не спросила, не голодны ли вы... – Она сделала знак, но официант скрючился с сожалением, кухня уже закрылась, второй час ночи...

– Как это закрылась?

Люсьен вмешался в смысле, что они не ради, нет! и в результате им подали на спиле дерева стель эзотерический сыр, что, сиюсь смуть привкус, Алексей выпил залпом и стиснул челюсти, пытаясь удержать все это вместе.

– Не нравится?

Он замотал головой.

– Очень!

Со стены над ней черепахой взирал легкий на помине Генри Миллер – яйцевидный череп в старческих крапинах наискось пересечен автографом. Ресторан, узкий и длинный, был пуст, только у выхода на лестницу между парочкой, сомкнувшей руки над столом, догорал огарок, свидетельствуя, что в объективном мире еще была любовь.

Люсьен обнес бокалы длинногорлостью очередной бутылки, и он немедленно ополовинил свой – от ужаса. И закурил – с чувством смертной истомы, смачивающей виски. Его тело потловски поднялось, отставило стул и с сигаретой меж пальцев двинулось прочь. Куда? Но он никуда не шел, он сидел за столом и вел непринужденную беседу, тогда как под его телом проскрипели три ступеньки вверх, и в параллельном зале коридоре, в конце направо, за дверью, предварительно запертой, он распахнул перед собой сверкающий унитаз.

С лицемерной улыбкой вернулся к столу, и Люсьен озабоченно смотрел, тогда как Аннабель восторженно ему улыбалась, и он понял, что она близорука, но не носит очки, что было на руку, потому что, несмотря на пощечины, которые он себе надавал перед зеркалом, он был бледен так, что ощущал это физически – мерный отлив крови.

Он сел.

Они кончили вторую бутылку.

Поднявшись после третьей, он был, как боксер, пропустивший под дых удар в полтонны. Напрягши брюшной пресс, он нес его не расслабляя. При этом, неизвестно почему, в ее "порш" он попытался сесть, как Бельмондо в комедии про автора триллеров, – прыжком в стиле "ножницами". При этом он ударился коленом.

– Куда бы ты хотел сейчас? – Смесь водки с белым вином не прошла и для нее бесследно, она была пьяна – сосредоточенным и мрачным огнем. – Брюссель *by night*<sup>1</sup>. Закрыто все, кроме блядей. Хочешь смотреть блядей?

По французки это *voir les putes* – показалось нестерпимо грубым, но Аннабель настаивала:

– Здесь они в окнах сидят. *Les putes*.

– Не люблю этого слова.

То есть.

– Проститутки, – предложил он, что по-французски звучало еще более уважительно: *prostituée*.

---

<sup>1</sup> Ночью (англ.)

— Бляди и есть. Не хочешь? Тебе скучно со мной?

Ему просто вступило, он сказал, вступило в голову, И Аннабель рванула с места, обещая, что сейчас все выветрит, и на лету сквозь старые кварталы кричала про Петра Великого, который по пути в Голландию своих идеалов побывал здесь еще до Алексея, такого дав разгона, что память о русском императоре передается среди брюссельцев из поколения в другое. Был ли в том скрытый укор? Но максимум разгула, который он мог себе позволить, это держаться, как в трамвае, за непристегнутый ремень безопасности, уводя глаза от расставленных ног адской води-тельницы, а закрывая их, он ощущал глазницы запавшими, будто их выклевали: нет. *Богатыри не мы. Согласен — и закроем тему.* Его тошнило.

— Площадь Байрона! — Аннабель с визгом осадилась перед старинным домом. — Здесь я живу.

Не вырвало.

Донес.

— И у меня полно шампанского. Вперед!

Запнувшись, она со звоном уронила связку ключей.

Невдалеке припарковался Люсьен, который в контексте квартала пошел на цыпочках — едва палец к губам не поднося. На этот пиетет она расхохоталась, вызывая эхо, потом ударом сапога свалила бак — из тех, что выкатили на утро. Пластмассовый, он не дал эффекта, только с мягким звуком вывалил упакованный мусор, тогда она пнула крышку, которая загромыкала по плитам и врезалась в "роллс-ройс".

Дом вида не подал, что нечто происходит.

Дом-джентльмен...

Грохоча и хохоча по мрамору, Аннабель поднялась в бельэтаж, вломилась в высокие двери, швырнула сумку, которая вывалила под зеркало месиво косметики и кредитных карточек, двумя руками выбила пламя из своего серебряного "данхилла" и, вздыбливая сапогами ковры, пошла кругами, повсюду зажигая ароматические палочки, свечи, масляные лампы...

— Она не русская, случайно? — прошептал Люсьен.

Он поднял палец.

— Ориенталистка.

В салоне царил колониальный стиль. В золоченой раме каминного зеркала отражалась Юго-Восточная Азия. Алексей ввалился в мягкую чашу плетеного гнездышка на двоих, ноги оказались на уровне стола, а в лицо смотрел высокий лепной потолок. Он подтянулся и чуть не опрокинулся, а удержавшись — замер. Оцепенел. Аннабель появилась со ртом, накрашенным так, будто напилась крови, с прищуренным глазом и прикушенной сигаретой. Под полупрозрачной тканью груди лишних движений не производили, проступая лишь точками темноты. Это была не женщина с материнским началом, воплощение его мечты, и она вынимала из своих пальцев хрустальные бокалы — в то время как Люсьен уже развинчивал розовое Piper-Heidsieck. Было гулко и как-то напряженно. Пробка выскочила. Он протянул руку и принял свою дозу. Со своим Аннабель села в плетеную бабочку кресла, крылья

которой со времени выхода "Эммануэль" как нечто оригинальное не воспринимались, но давали дополнительный повод для раздумий о выборе стратегии, может быть, а труа? — тем более что, осушив бокал, она откинулась на подоконник и разняла ноги, на ковбойский манер положив на колено левой свою правую — шиколоткой подкованного сапога. Промежность светлых джинсов впиалась так, что пусть и в первом приближении, но рельеф по обе стороны шва в тусклом ароматном свете читался со всей четкостью, беспощадно предлагая к ответу вопрос: *если за целый вечер ее не натерло до пароксизма, то какие же усилия любви потребуются? Даже если вдвоем?* Осторожно, чтобы не потерять равновесия, Алексей повел глазами яблоками на друга, мысленно приносимого в жертву этому огненно-черному вулкану. С бокалом *rosé* Люсьен откинулся на плетеную спинку, он смежил веки и вдыхал аромат курений "дерева страсти" — именно, что не сандаловый — ноздри его трепетали, и наконец он решился артикулировать намек, что для полной эйфории — нет? — чего-то не хватает...

— Посмотри в холодильнике, — ответила Аннабель, и рука Люсьена с медным браслетом отставила бокал, присоединившись к левой в усилие отжимания от подлокотников, под ним тоже было кресло Эммануэль, но от этого ему по виду ни холодно ни жарко — в отличие от женщины, которая сидела как под переменным током. Когда он вышел, она попыталась что-то сказать, но, сорвавшись, фраза лязгнула на зубах, а со второй попытки вышло:

— Т-тоже пишу.

— Да?

— Роман.

Наливая, она облилась.

— Когда я прочитала тебя, я осознала, что не имею права молчать. Ты дал мне даже не импульс. Смысл бытия.

Подавляя спазм, он стиснул зубы, но, если она и услышала мук его перистальтики, то игнорировала, как нечто низменное, рассказывая, как читала его, как прилетала отовсюду, валилась в постель, а он, Алексей, был под рукой. Первая в жизни весна постоянства. А потом в Токио она купила себе машинку... Она выпила залпом, снова налила.

— Я никому не давала. Наверное, ждала тебя. Подсознательно.

— Она поднялась. — Хочу, чтобы ты меня прочитал.

— Сейчас?

— Идем.

Вывалившись на паркет, он взялся за крестец и последовал за ней — высокой и решительной — в спальню, полную будд, безделушек и безбожной японской чудо-техники. Огромную кровать застилал китайский шелк, над изголовьем шамбала, на тумбочке нефритовые неприличия и православные складни. Среди вечно-зеленых боизаев Аннабель села на пол. Крохотная лампочка осветила лист в портативной электронной машинке. Она сняла ее с рукописи:

— Хотя бы первую главу...

Оставшись в одиночестве, Алексей поспешно отложил налево несколько страниц. Вторая дверь отсюда была в ванную, где он осторожно затворился. Перед тем как отжаться рвоте, он расстегнулся — толкало во все стороны. Особенная мука, а вы попробуйте, была в том, что при этом нельзя было проронить ни звука. Потом, дистрофически дрожа, он спустил воду, вымыл салфетками унитаз и подмылся, сидя на краю ванны на львиных лапах. Поднявшись, он встал на весы. В одежде и кедах он весил как дома в Париже голый. Из зеркала на него смотрел счастливый человек. Нескормо изнуренный, небритый, но блаженный, как после ночи с любимой. Абсолютно! Он откинул шелковую кисею с павлинами, распахнул окно, оно выходило в черную зелень, в сад, и он вдыхал, одновременно выветривая свою вонь из этой уютной тесноты, пронизанной золотистой зеленью парижских духов, туалетных вод, эзотерических флаконов с притираниями, на которых были надписи вроде *Himalaya Morning*<sup>1</sup> — все в этом духе. На плетеной этажерочке коллекция противозачаточных супозитуаров, коробочки были нетронуты, на всякий случай, он снова расстегнулся, извлек и осуществил, как это деликатно писалось в его советское время, "личную гигиену"; при этом член наощупь был такой, словно давно послал все на хуй — лишь бы оставили в покое.

Он открыл дверь.

Аннабель повернулась с немим вопросом. Дозадернув "зиппер", он ответил:

— Гибель всерьез.

— Ты читал? Этим я обязана России... — Оставшийся неизвестным автор рылся в корзине, набитой пачками сигарет со всего мира и — да — советских папирос, из которых предпочтение отдалось черно-зеленой с золотом "Герцеговине Флор". — В твоём лице, Алексис!

Смешав советский табак с афганской травкой, Люсьен набил обратно папиросу имени Иосифа Виссарионовича и пустил по кругу. Первая же затяжка унесла Алексея очень далеко отсюда. Ничто так не убивает человека, как необходимость представлять страну — французский эпиграф из романа Кортасара, кубинское издание которого некогда он приобрел в столице юности и коммунизма, в книжном магазине "Дружба" на улице Горького, достал до сердца только в это вот мгновение — жизнь, можно сказать, спустя, в которой Аннабель рассуждает о восточных способах любви, а именно о древнекитайской школе, а Люсьен набивает третью, ей кивая; вцепившись в подлокотник, с ужасом, остановившимся в угольных глазах, она доказывает ему, за травку заранее согласному со всем, что китайцы очень, очень нежные, она знает, бывая в КНР, где в основе борьбы с размножением техника тао, в основе которой идея об оргазме без эякуляции, о вечном рае, Аннабель возвращает папиросу Люсьену, который передает ее Алексею, который уплывает еще дальше, слыша, как из-под воды, что его обсуждают в аспекте авторского отличия от гиперсексуальных и на все готовых его героев.....все равно.....не.....

<sup>1</sup> Гималайское утреннее

от меня сбежали в Триест, а читательниц во франкофонном мире у меня, как наложниц у царя Соломона а вот почему хронически выворачивает от всего лучшего, что предлагает Запад, это вопрос психоанализа, который в состоянии отплава не решить разбирайтесь сами в своих франко-бельгийских.....отпустите душу в Герцеговину Черногорию славянский мир.....Россия осифсориныч...

Женский голос сказал:

— Оргазм без эякуляции! Вся идея в этом.  
Больше он не услышал ничего.

9.

Издаലെка смотрело бледное лицо Люсьена, который поднял голову с дивана, когда Алексей выпал из корзины.

— Где мы?

— Это ты мне скажи...

В окно кухни, просторной и гулкой, смотрел с площади памятник Байрону. На столе были апельсины для выжимания сока, пакет, промасленный свежими круассанами, и записка. На запах кофе Люсьен явился в джинсах и босиком.

— Имело место?

— Увы...

— А спосб Тао?

Люсьен вынул из-за спины руку с безделушкой и взял в рот. Это был диллос, расписанный японскими иероглифами.

— Натощак?

— Чистый, — оправдался Люсьен. — Вкус слоновой кости.

— Откуда же в Японии слоны?

— Тогда моржовой.

Завтракая, они созерцали стоящую кость, которой было, может быть, сто лет, а то и триста — музейная вещь.

— Следует признать, — сказал Люсьен. — Девушка с классом.

До массовой культуры себя не унижает.

— Из-за фригидности, возможно.

— Думаешь?

— Резина мягче.

— А знаешь, что мягче резины?

— Не говори... Одной читательницей меньше.

— Зато надежда с нами. На эякуляцию.

— Но без оргазма.

Они засмеялись — небритые и мрачные мужчины в возрасте первого кризиса. Из темно-синей пачки вынули по толстой бельгийской сигарете.

— Что будем делать?

— А это предусмотрено...

Алексей перебросил ему записку; их ждали в городе на "бранч".

— Тяжелый случай...

— Свалить или остаться. Третьего не дано.

— Свалить — это садизм.

— А остаться?

- Тоже верно. Но бензин...
- Что?
- На нуле.
- Так ты и одолжить не смог?
- Вырубился, друг. Трава была уж больно хороша...

Американский ресторан был рядом со зданием Европейского Экономического Совета, откуда Аннабель явилась не одна – с подружкой-японкой. Обе были невыносимо элегантны: бон шик, бон жанр, как говорят в Париже. Во время бранча Люсьен (не прерывая разговора) взглядывал с вопросительной задумчивостью, как бы готовый и сдать те позиции, но Алексей сдвигал брови: стоим до конца. Бифштексы были бесконечными. Перед кофе Аннабель сделала предложение на вечер вчетвером, в ответ услышав об эскапистских их намерениях, что с робким звоном подтвердили выложенные на скатерть ключи от квартиры на площади Байрона. Дамы в лице не изменились, но прибывший арманьяк зазолотился с очевидной и даже как бы нагловатой неуместностью. Глубоко вздохнув, Люсьен попросил в долг – он вышлет чек. Меланхолично Аннабель ответила по-немецки, что о чем речь: "Зелбстферштендлик". И посмотрела на часы. С автором русского романа она простилась хоть и за руку, но уводя глаза, подружка-японку и Люсьена – последнего, впрочем, не далее, как до банковского автомата на углу.

– Никогда! – сказал он, вернувшись и хрустнув наличными при посадке. – Никогда ей не прощу.

– Выпей.

– С-сука... – Он выпил. – Этот Триест кастрировал меня. Японка... Представляешь? А у меня ни искры. Не только между ног, но и промеж ушей. Отпал.

– Вернем обратно. За это.

Они выпили.

– А главное, какие девушки. Богатые, изысканные, интеллектуальные. Разве ей чета? *L'addition s'il vous plait!*<sup>1</sup>

Ответ добил.

– Урегулировано.

– Нет?

Мэтр поднял брови:

– За все заплачено, месье...

Захлопываясь, они притиснулись плечами.

– Куда?

– А не один ли хер?

– Тогда сначала на заправку. – Люсьен включил зажигание. – А потом в город отрубленной руки.

10.

Антверпен – голландское название бельгийского города, который по-французски называется Анвер.

– Когда-то самым был большим в Европе.

– Наверное, давно.

---

<sup>1</sup>Счет, прошу вас!

Проскочив город насквозь, они вышли на припортовой улочке, где меж торцовых камней росла трава.

— Порт и сейчас четвертый в мире.

Вдоль канала Альберта томились барки, они были поставлены на просмоленные шпалы и подперты колами. С другой стороны тянулись облупленные дома с закрытыми лавками и прогоревшими кафе. С собачкой, похожей на лисенка, появилась старуха — седая, грузная, в шортах и пиджаке, но босиком. За углом нежаркое солнце освещало склады старинной розово-кирпичной кладки, глухие ворота, тронутые ржавью, странные надписи на стенах типа *"Magaz'jn Antverpia"*, грузовые краны, рельсы поперек мостовой, отцепленные вагоны и легковые машины, брошенные как попало посреди мощеных пространств. Они обогнули венгерский грузовик-рефрижератор.

Вдоль причала стояли тумбы для океанских кораблей. Они влезли на теплое железо, из карманов куртки Люсьен вытащил по банке пива.

Под ногами плескало.

Не открытое море, но отсюда, по темной тяжелой воде, прямой был выход. Они прихлебывали пиво, смотрели на далекие суда у пирса и вдыхали его запах — Северного. Соленый дух большой авантюры. Чистого побега — без смысла и границ. Безумно и безудержно хотелось к ним, морякам — за горизонт. Вздуть мускулы и вены в усилии бессмысленном, но общем..

— Завербуемся юнгами?

— Испытано, — ответил он. — Был в моей жизни маршрут Марсель — Александрия. Когда я в Катманду бежал.

— И как?

Люсьен извлек "Герцеговину Флор".

— Сделай мне по-русски...

Алексей передал папиросе мундштук. Прерывистой затяжкой Люсьен расправил грудь, обтянутую полосатой майкой. С задержками выдохнул и передал обратно. Затягиваясь, Алексей видел себя мальчиком — бегущим в воде по щиколотку вдоль кромки Рижского залива. Он был в ссадинах, ладони липли от смолы: только что он сорвался с сосны, увидев за забором на закрытом пляже — а до этого не видел ни одной — миллион голых женщин, и теперь, имея в голове все это, неся что было сил, одновременно тормозя себя подъемами стоп, как бы на каждом шагу готовый упасть в прибой, и время от времени падал, но оказывался не убитым, а только тяжело раненным, и бежал снова, и скорбно при этом пел. Мелодия та вздула ему горло, а потом явились и слова:

Но пуля-дура вошла меж глаз

Ему на закате дня,

успел он сказать в последний раз:

"Какое мне дело до всех до вас,

а вам до меня..."

Конечно, с пулей промеж глаз уже не пикнуть, но из-за этой песни он в то одиннадцатилетнее свое время три раза смотрел фильм на тему зоологического одиночества в мире капитала.

Бывший военный летчик за большие бабки полетел снимать акул, которые отъели ему руку, и если бы не сын, которого он без охоты взял с собой, обратно бы отец не долетел — по рассказу, который один, и, кажется, единственный английский соцреалист написал еще до того, как изменил своему учителю Хемингуэйю с Союзом писателей СССР. Поскольку все взаимосвязано, не исключаю, что тот "Последний дюйм", продукция Ленфильма, и дал мне первый импульс для побега в мир, проданный британцем ни за понюшку табака:

Простите солдату последний грек,  
и, памяти не храня,  
не ставьте ему над могилой крест,  
какое мне дело до вас до всех,  
а вам до меня...

По пути к машине Люсьен залез на барку, которая косо томилась на мощеной набережной. Рядом под деревом был щит с предупреждением "Privat Parking". Он бросил ключи от машины и попросил найти в багажнике "полароид".

Алексей прицелился в видеоискатель. Глубокая и узкая, барка называлась "Esperanza", что было золотыми привинченными буквами на алом, а корма украшена железными пентаграммами. Хоть в море сейчас, хоть в преисподнюю — так стоял Люсьен, держась за руль.

Он сделал снимок.

## II.

Сразу за Антверпеном навстречу поднял руку панк-ирокез.

— На хуй...

Но Люсьен остановил.

Ирокез неторопливо подходил в своих высоких шнурованных ботинках — в руке мешок, в глазах недобрая усмешка.

— В Амстердам, *messieurs*?

Он влез к ним за спину, заставив сразу впасть в ожидание чего-то максимального — ствола в затылок? Алексей отмалчивался, передоверив хозяину машины счастье общения с ближним. По-английски: ирокез был *made in Britain*. Утром его с полицией выставили из Голландии. Теперь он туда снова. Не может ли он, Алексей, закрыть окно со своей стороны? Алексей закрыл. Пепел с сигареты, которую Люсьен ему охотно выдал, ирокез стряхивал нам на пол. Перед самой границей он велел остановить себя у забегаловки. Проветривая машину, они смотрели, как тип хрустит по гравию. Вместе со своим мешком ирокез исчез за дверью. Алексей посмотрел на сиденье. "Полароид" на месте, но все равно:

— До Амстердама духа я не вынесу.

— Что ты предлагаешь?

— Он с кас!

---

<sup>1</sup> Сваливаем (дословно "сламываем")



Взгляд Люсьена сказал, что даже от русских с их коварством он не ожидал. Он вышел и отправился за ирокезом. Давно оквадраться, сохраняя он еще обязательства к альтернативным братьям.

Из забегаловки он выбежал.

— Их там полно! В сортире, представляешь? Одной иглой...

И газанул.

## 12.

Как оказались в стране тюльпанов, этого Алексей не заметил, поскольку в Бенилюксе погранпунктов нет, да и тюльпаны вроде отцвели. Ветряных мельниц, впрочем, было в избытке — тучных и легкомысленных.

На плюском и зеленом.

— Самый большой в мире порт, — склонял Люсьен. — При этом, можно сказать, культурная столица. На каждом углу авангардизм. Цадкин, Певзнер алиас Габо. Ваши, русские...

Что выбрать на предстоящий вечер — Роттердам или Амстердам?

Мальчик вырос, засыпая над "Политической картой мира"; и постепенно осознавал, что до конца обречен на жизнь в пределах красного разлива "священных границ". Он бы лишь скорбно ухмыльнулся, предскажи цыганка в стране отказа, что придет момент томления перед подобным выбором. Впечатанный в кресло, он лежал безмолвно. Машина летела в сиянии над бесконечной дельтой Рейна.

Поставим вопрос иначе. Секс или культура? Потому что, кроме дома Анны Франк, с культурой в Амстердаме будет туго.

— Пассон, — ответил я.

— *You are the bosse...*

Культура осталась слева и внизу.

## 13.

В Амстердам въехали после заката. Небо прорезала вывеска отеля "*Krasnopolsky*".

Каналы были без парапетов, а иногда и вовсе без ограждений. Вода отражала свет высоких и узких — на три окна — домов. Ни ставней, ни даже занавесок. На вылизанных кухнях садились за ужин эксгибиционисты, одетые с корректностью витринных манекенов. Город был более чем приличный. Чинный.

— Где мои пятнадцать лет? — повторял Люсьен с энтузиазмом не вполне понятным.

— В воду не упади.

Он запарковался на мосту. Какое-то время они сидели, отдавшись состоянию внезапного покоя.

Потом ремень отпрыгнул к правому плечу.

Странно было оказаться сразу в центре Амстердама. Только машина это вам дает — мгновенный выброс в чужую ситуацию. Пока Люсьен изучал витрину табачной лавки, где над разнообразием сигар к стеклу изнутри был приклеен снимок того, что он сначала принял за алую орхидею.

— Цветами зла лобуешься? То ли еще будет...

За углом в закусокной кофе подали в огромных фаянсовых кружках. Люсьен распечатал "Питер Стьювезан" — сигареты, названные в честь функционера Ост-Индской их компании, скупившей в свое время остров Манхэттен и полмира заодно. Абориген — благообразный и седой ост-индец — бросал из-за стойки улыбки одобрения.

Афиши кинотеатра зазывали пустую улицу на фестиваль лучших порнофильмов Северной Европы.

Вдали у мотоциклов тусовалась молодежь — столь рослая, что вместо них, во Франции ничем не обделенных, на площадь вышла как бы пара лилипутов. Розовощекие гиганты корректно предложили альтернативный метод эскапизма — пакетики с кокаином, разноцветные блестящие таблетки в притертых пробками флаконах, не говоря о гашише с марихуаной.

— Видал "козью ножку"?

— Ну?

— Недельку можешь курить, а стоит дешевле сигарет. Причем, трава чистейшая.

— Поддерживать врагов Запада?

— Ну уж и враги...

— Нет, нет — торопился куда-то порт. — Охота жить!

— Тогда по пиву?

В поисках созвучного заведения они ушли по набережной в молодежные кварталы. Заклеенные сплошь афишами заборы, размалеванные стены, заколоченные окна, за которыми осадлу держат скутеры — зона крутой контркультуры. Девушки-гинейджеры обгоняли на длинных голландских ногах — еще больше повышая волю к бытию. Юность, и это очевидно, прошла необратимо, но почему в стране, враждебной к молодежи?

К стойке сначала было не протолкнуться, а потом оказалась она едва ли не до подбородка. Отступая, они пригибались под кружками голландцев. Джинсовые зады толкали их не извиняясь, это они: "Пардон, пардон!" — галантно извивались среди дымящих трубками гигантов и великанш, хрипящих на языке согласных. Забили в угол и подперли стену — два не первой молодости карлика, которым для смеха придали эти пивные кружки. Люсьен перехватил свою для прочности:

— Давай, Петр Великий!

По пути обратно стали вдруг ломиться в какой-то вертеп под названием "*Member*".<sup>1</sup> Высокая и крепкая дверь отливала черным голландским лаком, а посередине было железное кольцо, которым они поочередно били в дверь, одновременно ее пиная.

Возник сверхчеловек — весь в коже. Сложил над выпирающими мышцами груди чудовищные руки и спокойно стал ждать реакции. По-английски Люсьен потребовал доступа. Оглядев их сверху вниз, сверхчеловек привел в движение мускулатуру шеи:

– *Members only!*<sup>1</sup>

Гасконская кровь не снесла такого унижения. Бойцовским петухом Люсьен скакнул на этого быка. Тот только разнял ручки – друг уже летел на мостовую. С разворотом Алексей врезал великану по мягким яйцам. Охнув, тот схватился за них и, демонстрируя могучий голый зад в специальном вырезе штанов, юркнул за дверь, на штурм которой бросился Люсьен:

– *Sale pede!*<sup>2</sup> А ну выходи, я тебе морду разобью!

Он бился и гремел кольцом, но дверь больше не открывалась.

В дежурной аптеке, после того, как ему продезинфицировали и заклеили ободранные локти, Люсьен приобрел пачку английских презервативов и спросил дорогу в квартал Красных фонарей. Аптекарь – очки в стальной оправе – вышел с ними на улицу, чтоб разъяснить маршрут.

Люсьен дрожал от ярости.

– Сейчас мы их...

Никаких фонарей, конечно, не было.

Промеж каналов не улица, щель. Мощеная и с древним желобом для стока. Между витрин, отчасти задернутых, зигзагами ходила озаренная неоном черно-белая публика, туристы вперемешку с аборигенами из бывших голландских колоний – Суматра, Борнео, Гвиана. За чисто вымытыми стеклами коротали вечер женщины. Неглиже они казались еще больше и белей. Особенно впечатляли формы ляжек, которые в целом, однако, смотрелись соразмерно – столь длинны были эти ноги в чулках и туфлях на высоких каблуках. С диванов и кресел-качалок они переключали дистанционным управлением свои телевизоры, листали книжки, вязали или размешивали растворимый кофе из банок – с показом невероятных ягодич.

От конца улицы они повернули обратно.

Прямо перед ними раскрылась штора. Взглянув на груди за стеклом, Люсьен свернул в нишу, ткнул кнопку и оглянулся: "Идем-идем..."

Увидев их вдвоем, она не удивилась.

– *Bonjour, madame.*

Она отступила с улыбкой:

– Французы?

С улицы глазели аборигены. Она задернула занавес.

– Алзо... Френч кис?<sup>3</sup>

Люсьен взглянул на него.

– Не знаю...

– Одер месье зинд попофройнде?<sup>4</sup> – и она пошлепала себя по этой попе – этимологически с немецкого, как оказалось. Друг Люсьен все мялся. Ничто человеческое нам не чуждо, однако необходимость так вот, в лоб обнаружить при очевидце сокровенность предпочтений застала его врасплох.

– Так как?

Подняв ладонь, Алексей опустил в кресло.

<sup>1</sup> Только для членов

<sup>2</sup> Грязный педак!

<sup>3</sup> Поцелуй по-французски:

<sup>4</sup> Или господа – друзья попы?

— Я пас.

— Филяйхг, хенд джоб?<sup>1</sup>

— Мерси, — сказал он, — ноу...

Дама догадалась:

— Регарде? — и объявила цену — с одного за просмотр, с другого за action, которым он останется доволен, она знает, что ему, Люсьену, надо. Отсчитала сдачу с голландской сотни, вынула полотенце и показала ему на прихожую:

— Шауэр плиз. Душе!

Большая женщина и безмятежная. "Мэй ай?.." Из под настольного света Алексей взял книжку, заложенную на месте вторжения. Серийный любовный роман по-голландски. Тахта, на которой она сидела, взяв себя за ляжки, задрапирована как бы шкурой — с бестиальными разводами.

— Пэрис?

Он кивнул, Париж...

Отдавая должное, дама закатила глаза. На ней был парик, зеленый пояс, черные трусы, серебристые чулки, туфли с перепонками, которые врезались. Специальный лифчик выпячивал наружу груди, между ними поблескивал крестик. Вопрос дистанции, возможно, но казалось, что в других витринах они намного привлекательней. Навстречу Люсьену она встала, сняла огромные трусы и положила их на столик, где на пластиковой поверхности была еще банка растворимого кофе, початый пакет сахара, чашка с торчащей ложечкой, два сцепленных йогурта и красное яблоко. Отвалилась и с улыбкой раскрыла ноги. В этих туфлях по Амстердаму она не ходила, каблуки, как из магазина. Схватившись за резинку своих трусов, надетых после душа, Люсьен стоял столбом и признаков готовности при этом не выказывал.

— Буар келке шоз? Виски?

— Но мерси... — Он повернулся. — Где гондоны?

— В куртке у тебя.

Отрабатывая деньги, она развернулась всей массой молочной плоти к визионеру. Чтобы лучше было видно, взялась наманикюрными пальцами. Маленький бесцветный цветок пизды, но под этим анус, вид которого бросил Алексея в дрожь. Это было разрушено непоправимо и бугрилось, как асфальт. Заглядывая в проем своих же ног, издали она подмигнула: "Хэлп уорсэлф"<sup>2</sup>.

— Сори, бат...

Уже одетый, всунулся Люсьен:

— *On fout le camp!*<sup>3</sup>

Алексея как катапультировало.

Зеваки за дверью шарахнулись в стороны.

Они вырвались к каналу.

— Кошмар! Ты жопу се видел?

— Профессиональный, — сказал Алексей... — Профессиональный травматизм. Мог бы выбрать помоложе.

<sup>1</sup> Может, вручную поработать?

<sup>2</sup> Самообслуживайтесь

<sup>3</sup> Бежим!

– Я что, специалист? Я человек женатый, любовь не покупаю. Нет, но сто гульденов...

– Цена познания. Забудь.

– Могли бы в ресторан сходить. Это на наши франки сколько?

Справа в подворотне был фастфуд.

В глубине под сводами они взяли по кофе и хот-догу.

В стойку, которая шла вдоль каменной стены, были вделаны мини-телевизоры – экранчиками вверх. Рядом с каждым пара наушников. Они влезли на табуреты.

По ТВ давали сюжет на тему библейской зоофилии змей с женщиной. По развесистым деревом она ласкала толстые кольца, которыми змей обвил ее ствол, используя для познания добра и зла конец хвоста. Он заглянул к Люсьену – тот же змей. Рядом с картонным стаканчиком кофе, закрытым пластиковой крышкой. Изображение оставляло желать, но Люсьена заигнотизировало. В руке он держал ненадкусенный хот-дог. Алексей надел наушники – женщина говорила по-голландски. Язык был полон страсти и согласных. Он надел наушники на мокрую после душа голову Люсьена, который стал смеяться так, что абориген за стойкой поднял голову. Вдруг Люсьен сорвал наушники и прыгнул с табурета, роняя его с грохотом.

– Настоящий, думаешь?

– Похоже.

– Анаконда?

– Или какой-нибудь питон.

– Питон?

Хот-дог его еще завернут был в салфетку. Он швырнул его в канал, разбив неоновое отражение. Из полуподвальных секс-шопов рвалась наружу музыка, мелькали лица очень черных амстердамцев, блестящих от пота, озабоченных, недобрых...

– Такое чувство, что нас сейчас зарежут. Нет, серьезно.

– Комплекс вины.

– Ты думаешь? Но только не перед Бернадетт...

Мы перешли мост и зашагали вдоль канала в обратную сторону.

– Нет, – сказал он. – Наверное, мне хватит Амстердама.

– А женщины?

– Наверное, мне нужны другие.

– Как насчет этой?

На железном крыльце, как на помосте, стояла пожилая дама в блестящей черной коже. Расставив ноги в шнурованных сапогах. Хлыст – поперек бедер. С тыла ее подсвечивало из приоткрытой двери заведения, где на кирпичной стене висели плети, цепи, кандалы.

– А что... Забыть про Триест?

Хлыст искусительно прищелкнул по ладони полуперчатки.

Он сделал шаг назад.

– *Maman* мою напоминает. Нет, после этого мне только в канал. Вниз головой.

Ни перил, ни парапета – они шли по самому краю. Над маслянистой рябью сомнительных огней квартала, который если чем и жуток, так этой своей мертвой водой.

Но мосту среди толпы очаг возбуждения. Они огибали группу, когда Алексея вдруг схватили за руку:

— *French?*

Ирокез — ими брошенный в Бельгии. Безумные глаза и бритый череп. К ним повернулись лица из чугуна. Из нагрудного кармана ирокеза выпрыгнул обтянутый резинкой сверток денег — так Алексей рванулся прочь. Туристы разбежались, а банда захохотала за ними по мостовой, взывая:

— *Kill the frogs!*

14.

Люсьен остановился.

— Фу-у...

Луна сверкала в канале, по прямой пересекавшем луга. Справа на поляне чернел уснувший фермерский дом, а прямо перед ними было нечто вроде леса. Переехав дощатый мост, они свернули в мокрые кусты.

— Роса, — сказал Алексей. — В Париже нет.

— Разве?

— А ты не замечал?

Место казалось укромным, но не успели они решить насчет ночевки, как с двух сторон в машину ударил свет фонарей.

— Йопт...

— Не по-русски! И спокойно...

Алексей сидел и видел, как русского нелегала в этих вот блестящих наручниках транспортируют в участок, чтобы утром под конвоем выставить за пределы пермиссивного королевства. Но вооруженные до зубов полицейские ограничились взглядом на пресс-карту Люсьена, сами же при этом высказав предположение, которое он опровергать не стал, что они здесь освещают для своей прессы голландский этап велогонок *Tour de France*.

И взяли под козырек.

— В этих глазах и мысли не возникло, что мы, к примеру, педаки. — Утомленно Люсьен завелся. — Цивилизованные все же люди. У нас бы во Франции и застрелить могли...

Асфальт в ночи слепил. Подавляя зевоту, они неслись вперед, таращась на подсвеченные указатели, куда-то он сворачивал и, осознав ошибку, возвращался, из лабиринта этой цивилизации выхода не было...

"Спишь?"

С закрытыми глазами Алексей мотнул головой.

Снилось ему что-то на грани поллюции, но он успел проснуться раньше. Люсьен обнимал его во сне. Он снял руку друга, повернулся на другой бок, но заснуть не смог. Весь воздух в машине выдышан, и стекла запотели так, что ничего не видно.

Кроме того, что утро.

---

<sup>1</sup> Убить лягушек (французов)

От открыл дверцу, из-под которой стала выскакивать полынь. Размялся, расстегнулся и поднял глаза. Люсьен вылез из машины и присоединился, оглядывая стройки вокруг пустыря.

— Что это?

— Утрехт как будто.

— Утрехт?

Чувство абсурда нашло такое, что лечь в сорняк и помереть. Алексей рванул по каменистой почве, заложнулся и, вернувшись, закурил натошак. Люсьен отбрасывал локти, разгоняя кровь на фоне машины, отчужденно нахохленной под испариной росы.

Выехав на улицу, они направились в центр этого Утрехта — к горячему кофе. Это только его дочь Анастасия способна утром выпить стакан холодной воды из-под крана и бодро уйти в свою школу на улице Семи Сестер.

— Эрекция исчезла на хуй, — сказал Люсьен.

— У тебя?

— А у кого же?

— По утрам или вообще?

— Такое чувство, что больше никогда не встанет.

Алексей понимал его, но — вчуже. Какое дело ему, что некто Б. Мацкевич дает кому-то в Триесте? Когда вы на другом краю Европы, и нет еще шести утра? В глубине ему было наплевать, и от сознания постыдного бесчувствия он испытал к Люсьену, осунувшемуся и небритому, сильный порыв.

— *Mais quelle salope, quelle salope...*

До полудня они слонялись по тихому Утрехту — вокруг собора и вдоль каналов. Ненавязчиво светило и вновь исчезало солнце. В лавке, где продавались рамы, краски и мольберты, купили детям по большой картине, где симпатичные животные предавались азартным взрослым играм взрослых людей — в карты и бильярд. Уложили это в багажник с родным А.

— Домой?

Энтузиазма Люсьен не обнаружил.

— А в Скандинавию не хочешь?

— Возвращаться долго.

— В Германию?

В его глазах была мольба.

— Давай...

И они взяли курс *nach Osten*.

Уже в Голландии, на выезде из Маасрихта, произошла размолвка. На террасе придорожного заведения Люсьен сказал, что хочет рассказать... Если он правильно поймет. Весной в Германии, а именно в Западном Берлине, где Люсьен освещал встречу на высшем уровне, сошелся с каким-то Людвигом — интеллектуалом из Аахена. Адрес он потерял, фамилию помнит приблизительно, но в Аахен ему необходимо — Людвиг, может быть, спасет. Единственный в его французском опыте был человек, который за первым же пивом заговорил о главном...

Глядя на дорогу, Люсьен молчал.

— О чем?

— О смысле жизни.

С высоты террасы Алексей тоже смотрел на автостраду, которая неслась в противоположных направлениях. Одновременно — туда и обратно.

— А мы с тобой о чем же всю дорогу?

— Да, но...

— Что но?

— Немцы, они, ты понимаешь... Метафизическая нация.

Сни неслись под уклон.

Алексей молчал.

Германия возникла навстречу своими холмами, на которые водитель смотрел с нехорошим вожелением, как на материнскую грудь.

## 15.

Первое, что потрясло Алексея в Германии, был розыскной лист на террористов с дюжиной фотоснимков над заголовком, который начинался так: "1 000 0000 DM..."

Автоматически лицо черствеет при виде этого. Надписи на стенах пункта, где Люсьен менял гульдены на дойчмарки, он понимал не очень, только шрифт. Особый их — социальный, унифицированный. Этой озабоченной графики достаточно для погружения в депрессию от сознания примата государства с этим кафкианским почерком. Военно-полевая форма полицейских, полуголенность вороненого оружия, беспросветность физиономий — почти родных по их рылей сугубости. Контрольно-пропускной аванпост Федеративной Республики с виду был непроходим, и показалось чудом, что их с Люсьеном, людей вполне террористического возраста и анархичной наружности, в этот организованный парадиз впустили не только без просвечивания мозгов, но даже не проверив паспорта. Так, отмахнулись: мол, давайте. Но не как во Франции, а без улыбки.

Через пять километров Аахен.

Город-гора.

Запарковавшись у подножья, они заглянули в коммерческие улицы, эту гору опоясывающие. "Общество потребления" в германском варианте отличалось явным дефицитом воображения набившего витрины изобилием — тупым и скучным. В супермаркете Алексей купил китайскую записную книжку, чтобы на обратном пути решить меж красно-черным переплетом вопрос о смысле жизни. Люсьен ничего не купил, но, вволю назубоскалясь, вышел в прекрасном расположении духа и сказал, что это, конечно, не место, где можно встретить Людвиг — дружка-метафизика.

Людвиг предположительно обретался на вершине горы.

Она оказалась максимально интеллектуализированной. Мощная макушка духа. Собор, университет, библиотеки, книжные магазины. Кафе, которые на вольнодумный западный манер вынесли свои столики на солнце. Среди публики, всем видом отвергавшей ценности подножия, они опустили на плетеные стулья — в надежде, что искомый Людвиг пересечет поле зрения.



Скатерть была прищеплена к столу держалками – чтобы не сдуло ветром. Заложив ногу на ногу, они пили пиво, и Алексей постепенно наполнялся раздражением от вида обитателей вершины, каждый из которых являл собой себя же отрицающим продуктом государства всеобщего благосостояния – откормленно-сытым, но при этом разворачивающим почему-то наш позавчерашний "Либерасьон".

При этом Людвиг все не было. Чем дальше ебанный Людвиг не появлялся, тем инициативней становился Люсьен – словно вожжа под хвост. После безрезультатных засад во всех студенческих кафе вершины наступила очередь телефонных будок, где в надежде вспомнить фамилию Люсьен, задыхаясь взаперти, листал омерзительные желтые тома. Наконец за темным пивом он объявил о решении ехать в Западный Берлин – начать поиски с того конца.

Смотрел при этом с вызовом.

– Валяй.

– А ты?

– Вернусь в Париж.

Он обиделся, хотя Алексей напомнил о причинах, по которым не с руки ему пересекать границу лагеря, обнесшего Берлинской стеной то место, где Люсьену было хорошо.

– Поеду поездом. А ты?

– Пешком пойду.

– Если бы ты водил, то мог бы взять мою машину.

– Но я не вожу.

Они спустились – по другую сторону горы. Все уже закрылось. Солнце зашло, и было томительно светло. Навстречу всходило семейство *гастарбайтера* – усатый мрачный турок, жена и трое их детей. Одного отец нес на плечах. Машины у них еще не было, но по-немецки гастарбайтер говорил не менее свободно, чем Люсьен.

– Энтшульдигунг, во ист банхоф?

Турок опустил ребенка на тротуар.

– Гауптбанхоф?

Жена и дети смотрели на своего главу уверенно дающего разъяснения европейцу. Кивая, Люсьен закурил, предложил турку, который отказался, но закурил свою и, хмурясь, стал вникать в объяснения Люсьена, который, насколько понимал все это Алексей, рассказывал про друга в Западном Берлине. Это встретило отклик: там у турка тоже множество друзей. Алексей с семьей турка стояли там, где остановила их встреча, и терпеливо ждали – на улице, застроенной вниз функциональной архитектурой. Когда запас немецкого иссяк, Люсьен распрощался с турком, как с родным братом, – стиснул руку, одновременно своей левой сжимая ему локоть. Турок посадил на шею своего ребенка, и семья снова пошла в гору – впятером.

– Вот они, турки! Уже адаптировался человек. Купят "мерседес" и впишутся – не отличить.

– *Белый*, – добавил Алексей.

– Это, в конце концов, асоциально. До сих пор не получить права...

– Мне больше нравится "ролс-ройс". Желательно с шофером.

– У нас в шоферах были ваши великие князья?

На агрессивный этот импульс Алексей ответил, что если ему (дословно по-французски) говнит бросать машину, то пусть он выбросит из головы свой пиздоватый (общеупотребительное и освященное поэтом *a la con*) фантазм о Людвиге...

— Это не фантазм!

— ...который перспективы не имеет все равно. Вместо билета купи на вокзале карманного Канта, а лучше Ницше, который жизни не боялся. Во всяком случае — пизды.

— Я? Я ее боюсь?..

Повернулся и зашагал, унося во внутреннем кармане своей кожанки все бабки, одолженные у бывшей читательницы.

В Париж теперь и впрямь пешком...

И на хуй! С тротуара Алексей полез в гору, которая промеж зданий здесь была вспорота кверху каким-то созиданием. Выбившись из сил, завернул за забор и, найдя выгоревший островок травы, бросился на спину и завел под шею руки.

Над Германией догорали перистые облака.

Глядя в это небо, он постепенно отпустил свои заботы — деньги, ночлег там, возвращение... Куда?

Когда весь мир чужбина, а на медную пуговицу-кнопку в нагрудном левом застегнут путевой документ профессионального беглеца.

С этой стороны забора было хорошо. Защищенно, земля прогретая, и чисто — ни банки гива, ни сраного клочка... Впрочем, откуда бы? Когда там, у оранжевой времянки, для гастарбайтеров стоит перевозной химический сортир. Слезы вдруг переполнили глаза и раскатились по вискам. На этот казус он только ухмыльнулся, ослепше глядя в догорающее небо, но грудь сдавило так, что политэмигрант перевернулся, и его заколотило лбом, лицом о незагаженную землю, с которой — *неужели Федор Михайлович был прав?* — ну никакой *химической связи* он в себе не чувствовал, тогда как тот детсад, который строили у дома в Заводском районе, все стройки детства с окаменевшим на морозе их говном...

Разбудила компания, которая спускалась после пива с вершины зачарованной горы. Две светлые фигуры завернули и присели, подобрав подола. Дружный звук струй — две по земле, две извне по забору. Компания при этом переключивалась, вприсядку девушки смеялись. Потом увидели его, умолкли и позвали своих парней.

— *Was ist los, Mensch? Irgendwelche Probleme?* <sup>1</sup>

Алексей поднялся.

— Алесс ин орднунг, данке...

Машины у подножья были озарены витринами. Он просто не поверил глазам, когда увидел за ветровым стеклом "рено" огонек сигареты, узкий подбородок, небритость и усы...

Дверца приоткрылась.

Он сел.

Люсьен включил мотор.

Агрессивный белый свет бил по глазам на автобане, и все их обгоняли — французов с гуманно-желтыми огнями.

Не утруждая себя контролем, Германия их выпустила...

---

<sup>1</sup> Что там у тебя случилось, друг? Неприятности?

– Септант, нонант.

Алексей засмеялся. Бельгия была как дом родной.

Люсьен достал из-под сиденья бутылку виски. Ирландского.

– На вокзале купил. Вместо билета в Берлин.

– А почему не уехал?

– Потому.

Они сделали по глотку.

Справа под звездами возник крепостной замок, гора под ним еле просматривалась, и, подсвеченный тускло, этот замок висел в ночи, не заземляясь, – призрачно и грузно.

– Льеж, – сказал Люсьен. – Оружейная их фабрика... *Les cons.*

Старый каменный город затемнился, как в ожидании бомбежки. В этой полутьме на площади сидели, казалось, все его обитатели, но, к счастью, вскоре одна пара в возрасте поссорилась и освободила столик. Духота стояла, как перед грозой. Перед закрытием они заказали еще по пиву, после чего Люсьен разменял бумажку и отправился внутрь ресторана – звонить в Париж. Вернулся он, растирая безволосую грудь под расстегнутой безрукавкой.

– С Феликсом все в порядке. – Он выпил полстакана и отер усы. – Тогда как мать его еще не наеблась. Дай мне покрепче...

Алексей выдал другу "голуаз".

– Знаешь, что я думаю?

– Что?

– Что сна больше не вернется. Или только тряпки свои забрать.

– Никуда не денется. Вернется...

– Понимаешь, к примитиву пизду влечет неудержимо. И что тут можно сделать? Когда отец – поляк. Бил смертным боем...

– А я ее люблю, – сказал Алексей.

– Не знаешь ты ее.

– Очень...

– Я, думаешь, нет?

Пальцы у него тряслись.

Бутылка виски осталась в машине. Вернувшись к ней бегом, они врезали еще, после чего Люсьен рванул. В дорожных знаках протестантской логики уже не было, и они колесили по безвоздушным каменным теснинам наугад. Заливая светом автострады, на городах своих королевство явно пыталось сэкономить. Мимо неслись какие-то черные заводы. Темно было, как...

Из-за поворота с грохотом вдруг вылетела огромная кабина – грузовик со снятым кузовом.

Алексей успел схватиться за поручень над головой и уперся ногами. Люсьен резко вывернул – они проскочили. Почти вприкуру к несокрушимой грани каменной стены.

– Реакция, однако...

Люсьен молчал.

– Бля, жизнь нам спас.

- А зачем?
- *Сеггант, нонант...* Погибнуть в Бельгии бессмысленно.
- А жить?
- Где, здесь?
- Нет, – вскричал он... – *Вообще?*

Автострада шла синусоидой по этим лесистым арденнским холмам – из долины в долину. Высоко выгнутые фонари заливали все впереди красноватым светом. Люсьен в молчании прибавил скорость. Алексей покосился на спидометр, но это еще был не предел. Его вдавило в кресло, и он закрутил до конца стекло, чтобы не слышать встречный ветер. Сигарета ровной струйкой исходила в правящей руке его парижского друга – надежного, как этот мотор, как полотно дороги, как сама Европа, и, взлетая на гребень волны, они на пару с ним врезались в звездное небо, подсвеченное багровым заревом. Он завел руку за спину, нашарил "Полароид". Вспышка ослепила их обоих, в ладонь Алексею вытолкнуло снимок в профиль. Потом щелкнул руку с сигаретой на фоне приборной доски, и, разглядывая сыроватый глянец, обнаружил на фото, что, выжимая газ до предела, другой рукой Люсьен суеверно перекрестил два пальца. Алексей приложился к видискателю. Вспышка в лобовое стекло. Небо сквозь него вышло, как открытый космос, откуда нет возврата на брошенную землю. "Полароидом" он перекрыл водителю обзор и выстрелил в лицо.

Люсьен вскрикнул.

Ослепше он летел вперед.

Сбросив скорость, на вершине свернул к обочине.

– *Mais t'es fou ou quoi?* <sup>1</sup>

На влажном фото в глазах, однако, был не ужас, а восторг. Не глядя, он отбросил снимок:

– *Complètement fou.* <sup>2</sup>

Метрах в ста направо поворот на тускло озаренную стоянку для тех, кого среди Европы застигла ночь. Люсьен въехал и припарковался задом к бордюру.

– *Il est fou.* <sup>3</sup>

Алексей открыл дверцу, вышел. Позади вдоль линии асфальта одного стояли урны, на каждую опрятно вывернут пластик мешка. Со стороны водителя дверца хлопнула.

– Зато теперь тебе охота жить.

– Ладно! – сказал он. – Федор Николаич... Что будем делать?

Стоянка уходила в рошу, вдоль аллеи вкопаны столы и скамейки. Все удобства, включая печки для гриля. И никого. Справа проносились темные машины – изредка и словно сами по себе. По обе стороны автострада красноватый туман растворялся над полями сахарной свеклы. Было душно. На горизонте полыхала неонем станция обслуживания.

– Сходим. *A clean, well-lighted place?* <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Крыша поехала, да?

<sup>2</sup> Совсем рехнулся

<sup>3</sup> Безумец

<sup>4</sup> "Там, где чисто, светло" – название рассказа Хемингуэя

— Давай.

Слишком светло, не очень чисто. Поставив на пол огромный кассетник, за столом накачивалась пивом молодежь, бледная и отрешенная. Девушки были в майках без лифчиков. Ярость сортирных рисунков была такова, что соответствующие дыры вожделений местами сквозили, пробитые уж неизвестно чем — отвертками? — сквозь треснувший пластик. Юный итальянец их обслужил. Они вышли к бензоколонкам. Отхлебнув пива, Люсьен посмотрел на пластмассовый стаканчик у Алексея в пальцах.

— Кофе на ночь?

— Привычка.

— Почему ты, собственно, работаешь ночами?

— Ибу, — сказал он, что по-французски значило "сова".

— Не сова ты, а мизантроп.

— Кто я?

— Не любишь ближнего, как самого себя.

— Может быть.

— Потому что себя не любишь.

— Тоталитаризм.

— Нет. Эмиграция. Все вы такие, эмигранты, — папаша Мацкевич тоже, а он социализма в Польше не застал. Это ваш комплекс неполноценности.

— Нет у меня никакого комплекса... — Со стаканчиком в руке под звездным небом этой ночи, которая и посреди бельгийских полей давала иллюзию родного места, Алексею так и казалось. — Там я себя эмигрантом чувствовал больше.

— В России?

Автоматически он поправил западного невежду:

— В Союзе Советских...

— Да, но почему?

— Все там было чужое, ami. И не безразлично чужое, как неон или эта вот ракушка SHELL. Агрессивно враждебное.

— Ничего своего?

— Ничего. Кроме смутной мечты.

— О чем?

— Об ином.

В круг света въезжали неожиданные люди, заправлялись, бросив на них, стоящих, безразличный взгляд, входили расплатиться, убывали. Группа молодежи вышла, опрокинула урну, погрузилась в открытый американский "кадиллак", выкрашенный в безумный розовый цвет, и уплыла в ночь, предварительно разбив за собой об асфальт бутылку с пивом.

— Тогда, наверное, я тоже эмигрант.

Алексей качнул головой.

— Ты нет...

— *Внутренний*, я имею.

— Нет. Вы эскаписты.

— Какая разница? Вы бежите, мы бежим...

— Но в разных направлениях.

— То есть?

— Вы — от, мы — к.

– К?

– К.

– К чему же это?

– Предположительно к себе.

Он засмеялся.

– Ладно. Идем *chez nous*...<sup>1</sup>

За время отсутствия на стоянке вырос гигантский трейлер, на борту надпись "Лондон – Вена". Водители в роше готовили ужин. Жаровня озаряла их, обнаженных по пояс, мускулистых. На столе светился огонек транзистора, вместе с запахом мяса доносилась музыка – из фильма "Третий человек".

Они разложили сиденья и легли. В бутылке плеснуло виски.

– Будешь?

– Спасибо, – отказался Алексей, и Люсьен устроился с бутылкой повыше. После каждого глотка он ее завинчивал.

– Спишь?

– Нет...

– Ты когда-нибудь занимался любовью с женщиной?

Люсьен смотрел ему в лицо. В машине вдруг стало тесно. Алексей усмехнулся:

– Стрейт.<sup>2</sup>

– *Streit*, – повторил Люсьен... – Звучит самодовольно. Нет? Прямо как *credo* какое-нибудь.

В джинсах вдоль голеней, где волосы, ноги у Алексея зудели от пота – и в промежности тоже. Было жарко и душно. Сигаретный дым с неохотой вылезал из машины.

– Или, – сказал Люсьен, – ты против принципиально?

– Почему же? Жизнь многообразна.

– А ты в ней сделал выбор. Я, дескать, *streit*. И все тут.

В ситуации выбора Алексею пришлось оказаться только раз – в Москве, когда, оставшись на ночлег, его шокировал сбежавший от жены приятель детства: "Может, поебемся?" А его тогдашняя любовь была в отъезде. Обычная разлука, первая любовь. Как это было все давно. Какие же мы старые, все еще считаясь молодыми. Какая долгая на самом деле эта жизнь.

Он усмехнулся.

– Ничего смешного, – сказал Люсьен. – Однажды я тоже сделал выбор. Я не рассказывал? Сел в Турции в рефрижератор. В пустыне дело было. Когда я в Катманду бежал. Двое в кабине. Как вон те... Шофер со сменщиком.

– Ну?

– Изнасиловали.

– Нет?

– До самого Непала срать потом не мог. Голодный шел. Афганистан, Пакистан, через всю Индию. Ничего не ел, только курил. Гашиш. Смотрел "*Midnight Express*?"<sup>3</sup> Вот такие же, как тот турецкий надзиратель. Жутко агрессивные. Не хочешь?

<sup>1</sup> В наш (общий) дом

<sup>2</sup> Нормальный (прямой)

<sup>3</sup> "Полуночный экспресс" – фильм Алена Паркера об американце в турецкой тюрьме

Алексей глотнул виски.

– Ничего не значит.

– Согласен... – Люсьен взял бутылку, сделал свой глоток, затаился и вынес сигарету наружу, выбросив руку в проем окна.

– И все же первый сексуальный опыт. Тебя никогда не ебли в жопу?

– Не физически.

Но он упорствовал в серьезности.

– Повезло. Но я не имею в виду секс. Грубый, я имею в виду. Потому что он может быть: как нежность. Просто продолжение дружбы...

– Другими средствами, – поддакнул Алексей.

Люсьен обиделся. Завинтив бутылку, он откинулся. Демонстративно, чтобы даже не соприкасаться.

Машину озарило – на стоянку въехал еще один грузовик.

– Нет, не могу... ты спишь?

– Ну?

– Я в смысле Бернадетт. Все думаю о ней.

– А ты не думай.

– Нас венчали в церкви – я фото не показывал? Мы с ней курили до рассвета и под венцом стояли под балдой, едва не заржали патеру в лицо. Муж и жена едина плоть... – Он засмеялся, а потом ударил головой так, что металл загудел.

– Фе п а л ь кон, <sup>1</sup> Люсьен.

– Могу и *faire une pipe* <sup>2</sup>

– Фе п а л ь кон.

– А это буду не я – она. *Bernadette, c'est moi.*<sup>3</sup> – Он засмеялся. – А меня в ее лице, возможно, ты уже познал и глаз свой русский себе до этого не вырвал. Чего молчишь? Имело место?

– Нет.

– Молодец! Всегда скрываешь источник. Первая заповедь журналиста. Защищать источник информации. О чем она тебя проинформировала ртом? Зубы у нее в порядке, дантисту сам платил...

– Говорю тебе! Ничего не было.

– Сейчас будет.

– Не муди.

– Потому что *Bernadette, c'est moi.* Сейчас она тебя – своими гнусно-нежными устами. Или как ваш развратно-церебральный Набоков писал за конторкой нашей мадам Бовари. Я одержим ей, как Флобер, ты знаешь? Не повторить ли нам сцену в фиакре? Классическую? А ля франко-рюсс. А может, просто в жопу? А *sec.* <sup>4</sup>

– Слушай...

– Весь внимание?

– Давай спать.

– Не хочешь мадам Бовари? Что ж, по рукам пойдет тогда...

Он вылез из машины.

<sup>1</sup> Не муди ("не делай пизду")

<sup>2</sup> Сделать минет ("сделать трубку")

<sup>3</sup> Бернадетт – это я (аллюзия на флоберовское: "Эмма – это я")

<sup>4</sup> Всухую

— Эй, постой... Люсьен?

Не оглянувшись, друг удалялся на свет жаровень.

— Ну и черт с тобой!

Завинтив окна до отказа, Алексей свалился лицом в разложенные для двоих сиденья. Он слышал, как на стоянку сворачивали грузовики — один, потом другой... Вон окурков не давала заснуть. Обдирая пальцы, он вытащил пепельницу и вытолкнул дверь.

На краю заставленного выпивкой стола транзистор передавал нечто греческое. В отвесах углей пара шоферов танцевала сиртаки, остальные подхлопывали — и с ними был Люсьен.

Выбив окурки в урну, Алексей вернулся и захлопнулся.

*Какое мне дело до всех до вас?*

## 17.

Алексей открыл глаза. Лицо у Люсьена было серым и пустым. Он пытался без шума сложить свое сиденье.

— Са ва?

Люсьен не ответил. Международные трейлеры забили весь паркинг, сверкая хромом и стеклом, как небоскребы. Солнце еще не взошло. Асфальт потемнел от росы. Содрогаясь, Алексей вернулся в машину, шелкнул ремнем. Избегая контакта глазами, Люсьен вырулил со стоянки.

Автострада была ясной, как небо. По воле водителя машина пролетела станцию обслуживания, и до кофе они дорвались уже только перед самой границей.

Они пили молча.

За чистой скатертью в красную клеточку.

Дорога шла и дальше через лес.

Потом навстречу опустился шлагбаум.

Странно было видеть на солнце насупленные лица пограничников в черно-синей форме, которая показалась Алексею родной. Но здесь, на проселочной дороге, к служебным обязанностям относились всерьез. Один отправился с их документами в будку, другой заставил выйти и открыть багажник. Дотошный пограничник даже влез в машину, не оставив без внимания полароидные снимки на заднем сиденье, а потом (*c'est pas porno*<sup>1</sup> — пытался отшутиться Люсьен) потребовал предъявить упакованные картины с животными, невинные игры которых в бильярд и в карты провинциала не растрогали. Но они были чистыми. Ничего, кроме тихого отчаяния, во Францию ввозить не собирались. Люсьену вернули паспорт без замечаний, голубой же *titre de voyage* эмигранта вызвал сведение бровей:

— Месье! ваш документ просрочен.

Алексей заглянул в страницы, заложенные большим и грубым пальцем, — как бы не веря своим глазам.

<sup>1</sup> Не порнография



– Пардон...  
– Впустить не можем.  
– Ню...  
– Месье!  
– В чем дело? – спросил Люсьен из машины.  
– Месье не может въехать во Францию. Документ месье просрочен. Прошу, – вернули Алексею книжку.  
– Что же ему делать?  
– Это не наша проблема, месье. Освободите дорогу!  
За Люсьеном уже посверкивало несколько машин, и все, что он нашелся сказать на прощанье, было:

– Ездить с просроченным документом... T'es malade? <sup>1</sup>

Алексей хлопнул дверцей.

Он газанул вперед – под шлагбаум.

Пограничники игнорировали эмигранта – на холодный французский манер.

Алексей повернулся и с веселой яростью зашагал обратно к бельгийцам, о которых они в Париже зря так плохо говорят. Он шел, слушая пение птиц и удивляя встречные машины видом пешего одичания посреди Европы. В карманах не было ни сантима, но в кармашке, вшитом внутри правого, он нашел монету в две марки с брозгливым профилем Аденауэра, которого хозяйка лесной гостиницы, подумав, приняла-таки за чашку кофе.

Тот же самый столик на террасе, та же скатерть в клеточку, но на этот раз один. Даже без сигарет, забытых в машине.

Утро было прекрасное...

Углубляясь в Бельгию, он выбрал момент безмашинного затишья, свернул с обочины и растворился в лесу.

Где заблудился.

18.

Он вышел к озеру неведомой страны.

Солнце стояло уже высоко.

На берегу сидел горбун, лежала женщина. Когда он опустился на траву, женщина бросила взгляд, кричащий о внутреннем мире, в этом захолустье невестребованном. Книга ее был в обложке NRF – но их и в Бельгии читают. Два мотоцикла, на которых въехала прямо в осоку молодежь, были без опознавательных знаков. Горбун спросил, который час, Алексей показал запястье с циферблатом – тот улыбнулся. Часы стояли. Жестом Алексей извинился. Он вынужден был отмалчиваться. Стоило заговорить, как он привел бы этих людей в изумление своим акцентом. Одинокий, как извращенец, поцарапанный, заросший и угрюмый, он тем не менее пытался изображать пляжную непринужденность, что было нелегко: берег не Лазурный, день не выходной. Не залеживаясь, местные окунались и, обсохнув, отъезжали в

<sup>1</sup> Не в своем уме?

заросшую лесами неизвестность. Он оставался лежать, трепеща ноздрями на дымок сигарет, которые периодически выкуривала обнаженная читательница парижского романа, и остро сожалел, что игнорировал учебник своей дочери по географии.

Франция или Бельгия?

Отражения лесистых холмов затемняли озеро, но в середине зеркало воды блистало. Он уже всерьез склонялся к сюжету с женщиной, как вдруг на дальнем берегу возникло нечто одушевленное — и на мостки, вокруг которых толкались лодки, спустился из лесу некто в палевых джинсах.

Человек спрыгнул в лодку и, взявшись за борта, окунул голову. Алексей вскочил.

— Эй!

Крик, который он издал, прозвучал не по-французски, инородность подтвердило вернувшееся эхо. Все на него смотрели, исключая Люсьена на том берегу.

— Се мон копен,<sup>1</sup> — сказал он женщине и крикнул снова:

— Лю-сьен-н!

Он выпрямился. Вышел из лодки на мостки.

Прямо в одежде Алексей вбежал в воду, под резиной подошв расплзлось илистое дно, он запрыгал, его отталкивая и все мутя вокруг, и бросился вперед, и окунулся с головой, и поплыл, разбивая отражение пограничных лесов. Время от времени он вырывался из воды рукой вперед и кричал, удерживая внимание друга, но потом почувствовал, что надо экономить силы. Друг это почувствовал тоже. Сбросил одежду, прыгнул, вынырнул и кролем поплыл навстречу. Вода держала плохо, она была жутко бесплотной, он даже боялся остановиться, чтобы стащить свои кеды, прокуренные легки спеклись, ему было не семнадцать, он был в чужой стране и в черном озере, и с каждым новым гребком все сильнее, все печальней ощущал нарастающее бессилие, но где-то знал, что выберется и на этот раз — друг плыл навстречу.

19.

В Реймсе они выпили по бокалу шампанского.

Люсьен пошел в кафе звонить, а он, откинувшись под тентом, смотрел на зной, на площадь и собор, витражи которого полыхали. Потом он поднял глаза и, не спрашивая, вынул бутылку, давая каплям стечь на тротуар.

— Вернулась...

Он взял бокал, Алексей поднял свой:

— За это?

— Надеюсь, навсегда, — ответил он. — С ней я еще не говорил. Только с Констанс. Она у нас, а дети во дворе. Там горе, — не скрывал он счастья. — Хоронят хомяка. С процессией, с крестом... По-христиански, знаешь? Пусть...

— Разве у вас хомяк?

— А ты забыл? Гастоном звали...

---

<sup>1</sup> Кореш мой

По Европейской магистрали номер 2 до Парижа было рукой подать, и в этот послеполуденный зной они не спешили покидать столицу славной Шампани, тем более, что через площадь прямо на них собор лил дивный синий свет.

20.

В августе Констанс с Анастасией уехали в Испанию.

Париж был пуст, только на пляс Пигаль в свете неона кипел туристический водоворот.

За соседним столиком американки в белых тишотках пили пиво, одновременно занимаясь интеллектуальной деятельностью: одна писала что-то на желтой почтовой бумаге, другая на белой нелинованной рисовала нечто, что показалось ему Царь-пушкой, но оказалось древнегреческим монументом в честь Дионисия, — американки его видели в Делосе, — взведенный в небо фаллос, от которого то небольшое, что сохранилось до наших дней, выглядело все равно внушительно.

*"Your place, our place!"* <sup>1</sup>

Они засмеялись, когда он вступил в гавно собачье.

*Place* их был на рю де Мартир.

После душа американки переоделись в кимоно. Он начал с одной, другая присоединилась, но затем отпала и, закинув руки за голову, созерцала их, а свет нельзя было назвать интимным, потом вдруг стала истерически рыдать в подушку, и он на кухне у холодильника пил пиво, пока первая гладила ее по спине, но вторая вырвалась и все время, пока они с первой продолжали, навалившись на край тахты, яростно выстукивала на машинке в смежной комнате, иногда входя то за бумагой, то за белой жидкостью для прачки, а потом вдруг объявила, что такси внизу.

*"Oh, damn,"* — ругнулась первая, поскольку, несмотря на все его усилия, пароксизма пока еще не достигла. Кимоно слетело на паркет. Ай эм соу сори, сказал он. *"It's OK"*, — ответила она из душа, объясняя, что, согласно своему врачу, начнет кончать не раньше, чем через три года интенсивной разработки, и с криком: *"Have fun, you guys"* <sup>2</sup> загремела по ступенькам вниз со своим чемоданом из цельного дюралюминия — трансатлантическим.

Та, которая осталась, натянула длинные шерстяные носки и снова села за портативную машинку. *"Don't be upset"* <sup>3</sup>, — и объяснила, что с мужчинами оргазмов у подруги еще не было. Абсолютно пустой и голый, он сидел рядом, пока она дописывала письмо своему психоаналитику в Нью-Йорк.

Заклеив авиаконверт, американка нашла ему для утреннего джогинга пару драных кед, оставшихся от старшего брата, — в них Алексей от нее и сбежал...

---

<sup>1</sup> К тебе или к нам (твое место, наше место?)

<sup>2</sup> Имейте фан, ребята

<sup>3</sup> Выше голову

– Пошлый тип, – говорила Бернадетт во время обеда, – вкуса, ну, никакого, я это осознала, взяв в руки его галстук, да, он его забыл в шкафу, а номер был ужасный, причем снимал он галстук через голову, ты понимаешь, не развязывая узел, такой широкий и короткий, даже не шелковый, хотя в Италии мог бы позволить. Бедный, жадный и преданный своей мамуле. Ничего удивительного, что предпочитает большие груди. Моими он остался недоволен. Конечно, прямо не сказал, иначе получил бы в глаз, но выражал всем видом. По-твоему, не груди? По-моему, они на уровне.

– Вполне.

Соседи на них смотрели. Час обеденный, и кафе на рю Ришелье было переполненно. Они допивали графин rosé<sup>1</sup> – завершая свидание, состоявшееся по ее инициативе: конфиденциальное.

Он разлил остатки вина.

– Уф-ф! Хорошо хоть, не забеременела. Я бы чего-нибудь выпила с кофе – давай?

И сама заказала.

– Вот так, – сказала она, выпив арманьяк. – Это касается Триеста. А говоря про нас с тобой...

Он дал ей прикурить и, утешая, накрыл ладонью ее руку, которую она вырвала, и все кафе опять взглянуло в их сторону.

– Но я хочу, ты понимаешь? – Осознав истеричность выкрика, она улыбнулась, как застенчивая девочка, но упрямо повторила – на полтона ниже. – Хочу ебаться.

Под его нехорошим взглядом парижане отворачивались, успев ему выразить своими умными глазами усмешливое неодобрение – как будто бы он встал поперек потока – заведомо бессильный перед напором тридцатилетней женщины с лихорадочными пятнами на скулах.

– Понимаю, но...

– Но он твой друг?

Он имел в виду не это, но не успел в уме построить фразу. Теперь же ничего не оставалось, как только подтвердить кивком. Померкнув, она усмехнулась и отбросила салфетку.

Поднялась и вышла.

Через неделю вернулась Констанс.  
Началась осень.

Мюнхен, 1991 г.

---

<sup>1</sup> Розового



Евгений РЕЙН

# МУРАВЬЕВО

Поэма

"Хотите дочь мою просватать Дуню?  
А я за то  
Кредитными билетами отслоню  
Вам тысяч сто;  
А вот пока вам мой портрет на память,  
Приязни в знак.  
Я не успел его еще обрмить, —  
Примите так!"  
А. К. Толстой

"Туда, туда, где апельсины зреют".  
И. В. Гете

На "Жигулях", ведомых женской ручкой,  
мы въехали в ночное Муравьево  
и осветили фарами снега.  
Стоял хозяин дома на пороге  
своей избушки в девятнадцать комнат,  
был стол накрыт, кипел на кухне чай!  
О, этот дом был знаменит изрядно,  
его построили в годах пятидесятых  
на сталинские премии, к нему  
прирезали гектаров десять леса,  
два прудика, речушку и запруду,  
и окружили каменной стеной,  
и заперли калитку на засов,  
спустив с цепи кавказскую овчарку.  
И вот он был открыт — великий дом!

Его хозяин – подлинный хозяин, –  
Лауреат, вельможа и писатель,  
годами пребывал в любимой Ялте  
с женой, секретарем и кошкой Азой.  
А здесь вот в Муравьеве сын его  
свой правил бал; а старшая сестра  
давным-давно жила в Канале  
с детьми и мужем, критиком кино.  
Был стол накрыт, кипел на кухне чай.  
Приехало нас трое: Вова Раков,  
водительница наша Виолетта  
(ошибочка годов тридцатых, ныне  
зывается просто Ветой). Ну, и я.  
Хозяина же звали Александром  
по кличке Саня, Саня Шевардин.  
Ему пошел двадцать девятый годик,  
он выучил пятнадцать языков,  
издал ученых книг четыре штуки  
и докторскую ересь написал.  
(Хотя не защитил еще, а впрочем,  
уж верьте – непременно защитит).  
Я знал его давно, и был он чем-то  
несимпатичен мне и симпатичен;  
перемешалось в нем то родовое,  
отцовское, с каким-то новым стилем,  
уже мне недоступным, – это страшный  
провал в десяток лет  
меж мной и Саней. А впрочем,  
больше я его любил.  
Вот мы уселись, выпили чайку  
с вареньями такими и сякими,  
с цветочным медом, пряником, ватрушкой, –  
все было в этом доме, но хозяин  
молодой не пил вина, и было поздногато  
его искать в поселке Муравьево,  
тем более, что постная девица,  
лет двадцати, уродка и очкарик  
(она вела Шевардина хозяйство),  
нам объяснила, что вина не может  
быть в этом доме: Александр не пьет.  
Но я-то знал, что это дом особый,  
я двадцать лет бывал у них в гостях  
и кое-что соображал.  
И я предположил: вино лежит  
в каком-то тайнике. Но только где?  
Тут подали салат и эскалопы,  
и экономка вежливо сказала:  
"Оставьте эскалоп и две ватрушки,  
еще приедет Леночка Кускова".  
"Какая еще Леночка Кускова?"

А кто она?" — "Она? Она — поэт".  
"А ваше мнение, Александр?" — "Мое?  
Она — поэт. Но больше секретарша  
моя; обширнейшая переписка,  
корреспонденты разных континентов,  
архивы, связи, — все это она". —  
"А кроме этого?" — "А кроме — так,  
студентка на третьем курсе  
где-то на вечернем,  
и машинистка фирмы "Интурист". —  
"Ну ладно. Бог с ней,  
все-таки так поздно. Как доберется?" —  
"Ходят электрички до двух часов".  
"А можно ли чаек подогреть?" —  
"Не только можно, нужно".  
Я вышел в сад. Под северною чашей  
небес, где, как сказал поэт,  
нет ничего совсем и не бывает,  
стоял прекрасный, строевой, сосновый  
японским лаком отливавший лес,  
в нем что-то копошилось, верно, белки,  
и мартовские звезды крупной солью  
рассыпались, и от залива шел  
соленый дух Атлантики и жизни.  
И где-то пел Высоцкий на магнитке.  
И было хорошо. Но где вино?  
И тут я увидел — в калитку входит  
высокая фигурочка в дубленке  
с авоськами и сумками. "Ах, вот,  
приехала. Привет тебе, Кускова". —  
"А вы тот самый?" — "Да, тот самый я". —  
"Хотите выпить?" — "Очень, очень, очень.  
Но мы вина, увы, не захватили.  
Оно есть в доме? За все ответственность  
беру я на себя". — "Не знаю, тут немало  
есть секретов Шевардиных.  
И я не знаю, где". —  
"А есть ли здесь чердак?" — "Чердак?  
Конечно. По задней лестнице наверх.  
Там будет люк с кольцом. Откиньте и влезайте".  
"Попробую. Идите в дом, Елена.  
А то под этим белофинским небом  
вы слишком соблазнительны".  
"А вы уж что-то больно скоры на забавы".  
"Ну-ну, идите". И она ушла.  
Я люк откинул, снял ботинки,  
чтобы меня не услышали те, внизу.  
И чиркнул спичкой. Боже! Боже правый!  
Какие сундуки, сто чемоданов,  
Рояль без ножек, битое трюмо,  
Лопаты, грабли, скаты старой "Волги",

не то, не то, портрет вождя работы  
Герасимова, чуть ли не авторское  
повторенье, портрет Хрущева –  
фото в толстой раме,  
портрет какой-то дамы в полушубке,  
ушанке со звездой и с автоматом  
через плечо – за нею саквояж.  
Попробуем – не поддается!  
Что ж, подсунем ключ.  
И повернем, как фомкой, Ух!  
Открывается. Ну, разве я не прав?!  
Четырнадцать бутылок "Еревана" –  
все это куплено давно, когда бутылка  
такого коньяка еще была доступна,  
теперь цена ей – сорок пять рублей!  
Ну, сколько взять? Четыре для начала.  
И я, тихонько на носки ступая,  
спускаюсь вниз с бутылками, усердно  
держа их за утонченные горла,  
и прячу в гардеробе под пальто.  
А в комнатах уже неразбериха:  
Скучает Виолетта, Вова Раков  
грызет мизинец – старая привычка  
прославленного кинодраматурга,  
плейбоя и истерика. Кускова  
дожевывает жадно эскалоп,  
ватрушки ест и запивает чаем.  
Я объясняю им по одному  
тихонечко, что нынче происходит.  
Выходим погулять. В моей дохе  
за пазухой бутылки.  
Под муравьевским небом "Ереван"  
прекраснее мальвазии Шекспира,  
прекраснее бургундского Рабле,  
и лучше булгаковской белоголовки.  
Он греет, он наяривает в жилах,  
и мартовская ночь так широка,  
и светят окна шевардинской дачи,  
и нам пора обратно. Третий час.  
А утро все же утро и работа,  
И Ленинград, и множество забот.  
Нас четверо: домохозяйка Сани  
и сам он не пошли гулять, – они должны  
вычитывать всю эту ночь работу;  
"Старофранцузский суффикс "эн",  
его значение, закат и возрожденье".  
И вот четыре допиты бутылки,  
за час прогулки мы совсем пьяны.  
У Виолетты десять лет роман  
с Вовулей Раковым, они ушли вперед



и говорят на собственном наречьи  
запутавшихся старых побратимов  
любви и дружбы, — верно, есть у них  
о чем поговорить. А я с Кусковой  
целуюсь под ущербною луной на голубой  
заснеженной поляне под елями и соснами.  
Она так молода, ей двадцать два, мне сорок.  
Распахиваю жалкую ее плешивосамодельную дубленку —  
целую плечи, шею, грудь, живот  
под трикотажной кофточкой. Тепло,  
и "Ереван" свое свершает дело, и так  
неспешно падает снежок с еловых лап,  
и все еще Высоцкий поет, что Лондон,  
Вена и Париж ему открыты, но ему туда не надо.  
И я считаю: прав певец, куда, зачем  
в такую ночь, когда у нас поля заснеженные  
в тихом Муравьеве. Я говорю ей:  
"Лена! Девятнадцать на даче комнат,  
где-нибудь для нас найдется тоже  
уголок укромный". — "Нет, не могу!  
Не здесь! У нас роман с Шевардиным,  
и он меня прогонит". — "Он не узнает,  
девятнадцать комнат, в них можно затеряться".  
"Не могу!". — "Эй, вы куда пропали?" —  
Вioletта аукает, и мы идем домой.  
Сияют окна. Александр не спит.  
Домохозяйка зверски правит гранки.  
Трезвонит телефон. "Алю, Париж"? —  
и чешет Александр по-европейски.  
Потом он вызывает Монреаль,  
потом зачем-то Мюнхен и Варшаву...  
Боже, Боже мой! Десятка полтора годков назад,  
когда студентом, другом той сестры,  
что сгинула в Канаде, я ходил  
вот в этот дом, когда его хозяин-лауреат  
вешал под простоквашу о судьбах той литературы,  
где писали Толстой, и Достоевский, и Леонтьев,  
когда хозяин этой дачи щедро делился с нами  
новостями съездов и пленумов СП...  
Да я бы душу отдал Люциферу в заклад  
и на пари, что нет, не может быть вот этой  
ночи. Пора в постели. Раков с Violetтой  
закрылись на веранде, я иду в пустую  
спальню — две таблетки снотворного — не спится.  
А телефон Шевардина звонит, звонит, звонит.  
И чьи-то беглые шаги по коридору,  
я выхожу: Кускова в полосатой пижаме  
Александра после ванны идет в постель,  
туда к Шевардину. Теперь попалась!..  
Опять звонит какой-то Авиньон,  
сестра, возможно, это к ней, сюда

на эту дачу двадцать лет назад  
приехал я. Теперь и спать охота,  
подействовало. Все, конец, провал.

.....  
На кухне завтрак. Вова, Виолетта уже  
уехали куда-то дальше в Выборг,  
средневековый шведский городок.  
Сам Шевардин с домохозяйкой будут  
спать до двенадцати. Кускова ест  
икру, остаток паюсной, засохшей  
в старой банке. Я ем сосиски.  
Ну, пошли, пошли. На электричке  
десять-двадцать в город мы отбываем.  
Но пока спешим по вохкому, расклюенному  
снегу поселка Муравьево. Облака  
расходятся, и свежим солнцем марта  
покрыто все. Поселок Муравьево,  
едва дымясь, едва перевернувшись  
на левый бок, свой начинает день.  
И пробегает лыжник в алой форме,  
уж слишком как-то профессионально  
бежит он – очевидный чемпион.  
Куда же он, куда? Дахин, дахин,  
Туда, туда, где апельсины зреют.

1978 г.

Москва



*Сергей БАРДИН*

## ЧУДО О ГРУШЕ

*Рассказ*

Сосед мой, Вася Кутузов, искренний человек, говорит:

– Ненавижу работать. Не могу, и все. Не хочется мне. И ведь знаю, что надо, и привычка есть, и деньги позарез – как всем, – а работать не могу.

В тридцать лет Вася весь какой-то рыхлый, серый, ношенный и жухлый, как старое пальто. Глазки его за годы дикой юности посерели и выщвели. Щетина на щеках его твердая и такая корявая, что кажется – она растет внутрь "морды лица", как он сам об этом предмете выражается. Весь вид у него зыбкий, будто он постоянно мерзнет, и это так и есть, он постоянно мерзнет. До майских праздников, до Дня победы Вася Кутузов носит кроличью шапку со спущенными вниз ушами. Вдобавок Вася левша, и тяжело переживает этот факт.

Вечерами он выгуливает собаку по кличке Барыш. Кобель Барыш достался Васе по наследству от жены Ирины Петровны, бежавшей во Владивосток со старшиной морских водолазов. Собака осталась у Васи вместе с комнатой, на которую холодно наплевала беспечная Ирина так же легко, как она привела в дом когда-то сперва грязного кобеля, а потом и старшину морских водолазов, которому негде было ночевать. Барыш – давний кандидат в шапки-ушанки, и спасают его лишь редкое безобразие, злобность, свалывшийся мех и хромота. Кобель Барыш как-то удивительно вяжется с общей Васиной наружностью, с его щетиной, его шапкой,

штанами и курткой. Вдвоем они имеют вид выписавшихся из медвытрезвителя, то есть бедолаг, которых сперва били в очереди за водкой, потом опоили, потом обобрали и бросили в скверике, потом "свинтили" милиционеры и долго трясли в коробочке, потом раздели догола, застудили, еще раз обобрали, обрядили в мокрую одежду из общей кучи и выкинули на улицу, дав на прощание пинок в зад и счет к оплате.

Вместе с Васей мы сегодня паримся в бане. И тут, в парной, становится видно, что он молодой еще, голый, гордый своим телом и горячий на мышцы, крепкий мужичонка. Париться он здоров — тут уж ничего не скажешь. Но чего-то уже нет в его теле, и внутри у него чего-то трясется. Хворость в нем какая-то душевная и слабость. То есть слабость настолько, что он даже и бегства жены-то толком не заметил бы, говорит, кабы Барыш не стал скулить, выть, рваться и проситься по своей малой собачьей надобности во двор.

Смысл его душевной слабости можно обрисовать примерно так.

Утром встанешь: день синевой налит, обшарпанная стенка дома напротив играет в солнечных лучах нежным белым светом. Влажная штука турка розовым паром парит. Листья тополей слепят и льются, словно прохладные волосы молодой девушки. И шелест ветвей, и солнце, и птички поют, и люди идут по своим делам, и лето, и Бог знает еще что — а Вася Кутузов про все это слышать не хочет. Жить ему, видишь ли, неохота, а о работать и вообще речи нет. Нигде, никак, ни дома, ни на заводе, ни в деревне у матери, ни в шарашке, ни в бригаде. Что угодно, говорит, делал бы, только бы не работать. На операцию бы, говорит, лег. Руку-ногу бы дал отрезать, лишь бы не работать. Однако делать нечего — приходится ему работать, чтобы жить, жрать и пить.

И вот недавно идет он как-то утром на работу. Сердце у него жмет, испарина лоб покрывает, зевота страшная. Вообще настроение такое: "Спать хочется, а жить нет". Прохожие оборачиваются, думают, что это человек с большого похмелья или ночной смены тащится. А Вася идет и бормочет: есть в моей жизни какая-то червоточина, а какая, понять не могу.

Не хватает же ему одного — чуда... Чтобы такое приключилось, небывалое, чего еще сроду никогда ни с кем не приключалось. А вот с ним, с Васей, чтобы приключилось. Вася не знает, что баснословные библейские времена уже позади, но что чудеса еще есть, хотя они расколоты, как зеркало, на множество мелких осколков.

И вот идет Вася Кутузов по улице и видит, что прямо у тротуара торгуют с лотка грушами. Человек пять всего народу. Ящики стоят, столик, весы. Все как положено. Солнце светит, трава растет. И очень тяжело отчего-то на сердце. И от этой сердечной тяжести Вася вдруг встает в хвост очереди. Чтобы сразу на работу не ходить. К тому же, как всякий человек, он хочет хоть по одному разу справить праздник летней еды: пожевать сладких спелых груш.

У столика, за весами стоит среди ящиков продавщица — злобренная такая тетка с бородавкой на мягком лице. Могучая тетка в белом грязном халате — будто двух обыкновенных женщин в один

халат засунули. Под халатом у нее ватник, на голове мужская теннисная кепка. И видно, что во всем этом ей тесно, узко — атлет, а не баба.

К ней беспрестанно какие-то свои с разных сторон подходят, и она им отвечает без очереди спелых желтых груш из спецащика. Дело известное — чего тут рассказывать. А очередь движется помаленечку.

Перед Васей стоит сутулый и сухой старик в плаще из какой-то потрясающей хламиды, словно бы он этот плащ из мешка выстриг. Суровый такой старик, стоит себе и молчит. Подходит его очередь.

— Два кило, — говорит он тяжело и глухо, словно в колокол бьет.

Продавщица из верхнего ящика завешивает ему в красной пластмассовой миске два килограмма совершенно зеленых груш. Старик тогда берет у нее миску из рук и, ни слова ни говоря, высыпает ей груши через стол обратно в верхний ящик. Одна груша упала на асфальт с деревянным стуком, покатилась. Старик тяжело наклонился, но грушу поднял.

— Вы мне дайте вон тех хороших груш из ящика, желтеньких, а? — хрипло говорит он.

Продавщица прокашлялась, как певица в опере, раскрыла рот и начинает на старика орать. Дело известное, нечего рассказывать. Она позорит его, кричит на него то басом, то с взвизгами, и видно, не понимает, чего творит.

А Вася Кутузов понимает. Потому что он видит, как этот старый мужчина или, вернее, старик ее слушает. Он ее как бы внове слушает, с удивлением и вниманием. И видит Вася, как опустил он голову и присмирел, что даже погрузнел он как-то. Лицо у него сделалось такое печальное-печальное, как на иконе, а шея — жилистая такая шейка — почернела и жилами набухла. И в руке он ту поднятую с асфальта грушу сжимает. Груша эта зеленая и твердая, как черенок лопаты, а старик ее в кулаке жмет, и видит Вася Кутузов, что давит он ее, словно мягкую губку морскую, и что с нее зеленый сок капает зелеными слезами. Того и гляди старый этот ее вообще в мокрую кашу размажет в руке.

Продавщица же только в сласть вошла и все орет:

— Ишь, орхидея какая, жидомасон, апостол чертов. Желтых груш ему, а этого не захотел? Кто там следующий!

Старик все молчит. Потом поднял голову, тяжело, очень человечески вздохнул всея впалой грудью своей — и бац! — вдруг размокшей этой грушей прямо в лоб ей под кепку и залепил. Через весы, под козырек, что называется — "между рогов".

От неожиданности она замолкла и оцепенела. И очередь молчит. И Вася молчит. Все смотрят и молчат. И старик молчит.

Тогда продавщица с грушей во лбу спрашивает его совершенно другим голосом, строгим и писклявым, как у учительницы:

— Гражданин, — говорит она. — Вы почему это мне грубите?

Так прямо и сказала.

Старик голову повесил и что-то там бормочет в свое оправдание. И не поднимая глаз, говорит:

— Ты мне все-таки завесь этих желтеньких груш, а?

И тогда продавщица — вот оно чудо! — завешивает ему два килограмма совершенно спелых желтых груш из своего спецащика

Старик подставляет свою сетку, и продавщица бережно, по-женски их ему туда перекладывает. Старик говорит:

— Спасибо тебе. — И расплачивается.

А она ему дает сдачу и говорит:

— Пожалуйста. Заходите еще.

Он кивает ей величественно и уходит. Странный такой старик.

Ушел.

Очередь Васи Кутузова. Он говорит:

— Два килограмма груш.

Продавщица вытирает рукавом лицо, отворачивается и как ни в чем не бывало кидает в пластмассовую миску несколько деревянных зеленых груш. Вася глядит на груши, на продавщицу, и его охватывает большая дума.

А не взять ли мне, думает он, в левую руку раздавленную эту грушу — благо старик ее как нарочно оставил у весов — и не засветить ли ею снова продавщице в лоб? Вася не знает, он колеблется. А продавщица со следами грушевых шкур на лбу терпеливо ждет. Она смотрит то на Васю, то на груши. И Вася вздыхает глубоко, но не решается.

Тогда продавщица ставит на весы миску, полную зеленых груш, и завешивает их Васе. Кидает их ему в пакет. Вася Кутузов расплачивается и идет на работу.

Идет он и не понимает, отчего же она тому старику отвесила желтых груш? От неожиданности? Или, может быть, он у нее всегда так покупает? Или она кого-то признала в нем? Или, может быть, нам всегда так надо было у них покупать — чтобы прямо в лоб?

Идет Вася, и поздние сожаления его гложут: надо, надо было ему тоже продавщице грушей засветить. Тогда она, может быть, ему завесила бы желтых тех, благоухающих груш. И чувствует вдруг Вася, что ему смертельно хочется съесть спелую грушу. До стона хочется, до боли, до звона в ушах — съесть, сожрать сладкую сочную желтую грушу, пахучую, нежную. Как в детстве хочется — высосать ее до кожуры, до палочки, до каштанчика. Аж до остервенения хочется.

— Чувствую, — говорит голый Вася, когда мы с ним выходим из моечной в предбанник и открываем пару пива, — что тянет меня жить, раз такое дело. Раз есть на свете еще желтые груши. И есть еще, кому дать продавщице в лоб. Хочется мне отмыться в бане, постричься, одеться во все стиранное и глаженное со складочками, в рубашку новую с пуговками, костюм, шляпу, и ботинки чистые из шкафа достать. И квартиру прибрать хочется. А может быть, даже жениться.

— А работать? — спрашиваю его прямо, делая первый большой и сладостный глоток.

— Работать? — переспрашивает он и на минуту глубоко, искренне задумывается, отставляет в сторону бутылку, прислушиваясь к себе изнутри. — Нет, работать все равно не хочется, нет.

Он осторожно опрокидывает бутылку над лицом и начинает быстро-быстро глотать холодное жидкое пиво.

Москва



Мария ШАРОНОВА

## ДЕБЮТ

\* \* \*

Ночь огни на нитку вяжет,  
Сказку вечную расскажет  
Нам о Жизни и Любви.

Догорают наши лица...  
Пусть сегодня нам приснится  
Чудо Спаса-на-Крови.

Мы пройдем по Ленинграду,  
Вдоль чернеющей ограды  
Нас настигнет чей-то свист.

Обернись скорее! Рядом  
Незабвенным Летним садом  
мчится лицеист.

По сверкающей аллее,  
От поэзии шалея,  
Мы пойдем за ним.

Пусть сегодня нам приснится  
Чудо белое страницы  
И осенний дым.

\* \* \*

Все мы странные, бедные, бледные...  
Все живем здесь по праву гостей.  
Не по нас затоскуют молебнами,  
Не от нас будут жаждать вестей.

Все мы нежные, грешные, робкие...  
Как крошечная спустится мгла  
Будем рыскать небесными тропками,  
Узнавая друг друга едва.

Не отыщем и там воскресения,  
Не сольемся в единственный хор.  
И глаза твои — не о спасении —  
О разлуке начнут разговор.

1990

\* \* \*

Я ненавижу воскресенья,  
Когда часов ленивый ход  
Дает нам время для спасенья  
Души от будничных невзгод.

Я ненавижу эту данность  
Свободы: с самого утра  
Лелеять душу, раз уж дан нам  
Сей день для праздника пера.

А раз он дан, и не случайна  
Нарядных улиц пестрота,  
То нет порыва, нет отчаянья!  
И только жгучий цвет стыда

Мне щеки жжет за эту скуку,  
Но не могу я на заказ  
Пером переписать разлуку  
Души и тела в этот час.

И вот брожу. И жду наитья.  
Совсем одна. А пешеход  
Несет лицо мне для открытья  
Его сует, его невзгод.



... Скорей бы стрелок ход подробный  
Замкнулся в полночь. Чтоб опять  
Проклясть недели срок огромный  
И чуда воскресенья ждать.

\* \* \*

"Мой день беспутен и нелеп..."  
М. Цветаева

День печален и нелеп  
Без тебя, моя отрада.  
Скучен чай, и горек хлеб,  
И темна дорожка сада,

По которой целый век  
Мне идти тебе навстречу...  
Там единственный ответ  
Отворяет новый вечер,

Там высокое крыльцо,  
Там певучее пространство,  
И горит твое лицо  
Непонятым постоянством.

И горят вокруг снега...  
И пощады просят звуки,  
И мы слышим наугад  
Только губы, только руки.

Мне в разлуке жить – сполна!  
Без тебя, моя отрада,  
День печален, ночь длинна,  
И темна дорожка сада.

\* \* \*

Снова яичница иль макароны,  
Куртки, автобусы и сквозняки.  
Каркают нагло в тумане вороны,  
Люди то умные, то дураки.

Вновь понедельник грозит разразиться  
Скучной работой за скучным столом.  
... Прячет лицо дорогая столица,  
Чтобы не перли в нее напролом.

Церковки белые, посвист вокзальный,  
Новых районов стары имена,  
Улочек древних – весьма актуальны...  
А за окном наступает зима.

Радиоактивна небесная жижа  
В гуманистический бережный век.  
Ну и зима... А в лиловом Париже  
Нежно картавят про русский наш снег.

В снеге ли дело, в яичнице хлипкой?..  
Думать устала – одно баловство!  
...Детские лица круглы от улыбок,  
Детские сказки полны волшебством.

Москва



*Владимир СОРОКИН*

# ЗАСЕДАНИЕ ЗАВКОМА

*Рассказ*

К заводскому клубу Витька Пискунов пришел в девятом часу, — два фонаря уже горели, возле облупившихся десятиметровых колонн толпились парни. Заметив его, они перестали разговаривать, повернули к Витьке свои хмельные лица:

— Привет, Пискун.

— Здорово...

— Ну, что — готов?

— Готов. Морально и физически, — Витька достал папиросу, приблизился к широколицему парню. — Дай-ка...

Парень вынул изо рта сигарету, протянул Витьке:

— Собрались уж. Тебя ждут.

— Черт с ними, — Витька прикурил.

— С ними-то с ними, а попотеть тебе придется, это точно.

— А что ты волнуешься? Мне ж потеть, не тебе, — запрокинув голову, Витька выпустил вверх дым, посмотрел на звезды.

— Да я не волнуюсь, я так, — парень затушил окурочек о колонну.

Другой парень — высокий и горбоносый, оскалась, хлопнул Витьку по плечу:

— Ничего, робя, Витьку с кашей не съешь! Он сам кого хочешь слопает! Правда, Витьк?

Пискунов молча курил, привалившись к колонне.

— Да, Пискун, дозашибался ты, — качнул головой другой парень, — Не завидую.

– Ладно, Жень, не расстраивай его...

– А чего это они в клубе надумали?

– Зал на ремонте.

– Ааааа... Понятно.

Пискунов докурил, щелчком послал окурок в клумбу и, отстранив широколицего, двинулся к двери.

– На танцы придешь?

– Не знаю...

– В общем, Витек, бутыль с тебя по случаю такого случая, – хмыкнул горбоносый в спину Пискунова.

– Бутыль? – оттянув дверь, Витька обернулся, – Хуиль! Бутыль сам поставишь, за футбол еще задолжал... А за мной не заржавеет, не боись...

Хлопнув дверью, он вошел в вестибюль.

Внутри было пусто. Окошечко кассы не горело. На вешалках висел халат уборщицы, три чьих-то пальто и серый плащ Клокова.

"Приперся, – подумал Пискунов, проходя по вестибюлю. – Этого хлебом не корми, дай позаседать".

Дверь в зал была открыта. Пискунов вошел. На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном.

– Можно войти? – негромко спросил Пискунов. Его голос гулко разнесся по пустому залу.

– Входи, входи, – откликнулась Симакова. Она сидела в центре стола и перебирала какие-то бумаги.

– Он и здесь без опоздания не может, – сидящий рядом с ней Хохлов посмотрел на часы. – Пятнадцать минут девятого.

– Привычка, – рассмеялся Клоков. – В кровь вошло уж. Как ни день – так Пискунов. Кто опоздал – Пискунов. Кто напился – Пискунов. Кто мастеру нагру...

– Сергей Васильевич, – перебила его Симакова, – о Пискунове после. Давайте с путевками закончим. А ты, Пискунов, сядь, посиди пока.

Витька, не торопясь, прошел меж кресел и сел с краю, поближе к двери.

– Если дать сто кузнечному и сто десять литейному, как Старухин предлагает, тогда механосборочному останется всего восемьдесят четыре путевки. А гаражу вообще двенадцать... то есть четырнадцать – зашелестел бумагами Хохлов.

– Ну и правильно, – спокойно проговорила Звягинцева, постукивая карандашом по столу, – механосборочный никогда план не выполняет, всегда завод подводит. Кузнечный с литейным поднажмут, а сборщики все на тормозах спустят: то станки у них ломаются, то текучесть кадров... Поэтому и завод-то не балуют – ни квартир, ни заказов, ни путевок.

– Ну, положим, квартир нет не только поэтому, – нахмурился Клоков. – У строителей не все ладится. Квартиры будут. В Ясенево три дома заложили, в Медведково два. А сборщиков тоже понять нужно. У нас ведь и ответственность больше, и условия потяжелее. И платят нашим рабочим не густо...

– Да ну вас! – Звягинцева распрямилась, отчего два ордена, прикрепленные к ее серому жакету, слабо звякнули. – Платят не густо!

Платят всем одинаково. Работать нужно. План выполнять. Тогда и платить хорошо будут, и заказы появятся, и путевки. Весь завод горит из-за сборщиков. Весь!

— Но ведь надо понять, что работать на конвейере тяжелее, а за сто сорок рублей никто особенно не горит жела...

— Понять! Вон сидит, поймите его! — Звягинцева показала карандашом в полутемный зал, где меж круглых кресел маячила голова Пискунова. — Ваш ведь фрукт, из механосборочного. Поймите его! Он зашибает, прогуливает, а мы его понять должны.

— Татьяна Юрьевна, хватит об этом, — проговорила Симакова. — Давайте путевки распределять. У меня завтра отчет в ВЦСПС, ночь еще сидеть... В общем, или дать всем поровну, или как Старухин предложил.

— Поровну нельзя, — вставил Урган. — Татьяна Юрьевна права. Лучше всех работают литейщики. Им и дать надо больше всех. А сборщики пусть на турбазу едут. Вон, под Саратовом я был прошлый год — любо-дорого посмотреть. И питание хорошее, и Волга рядом. Не хуже юга.

— Точно, — Звягинцева повернулась к нему, — пусть туда и едут. А то всем на юга захотелось. Пискунов вон тоже, небось, заявление писал. Писал, Пискунов?

— Я? — Витька поднял голову.

— Ты, ты. Я тебя спрашиваю.

— Эт что — в Ялту, что ль?

— Да.

— Чего я там не видал. Я лучше у тетки в Обнинске, тихо-мирно...

— Сознательный, — усмехнулась Звягинцева, — тихо-мирно. Все бы так — тихо-мирно! А то вон, — она толкнула пальцем пачку листов, — Четыреста заявлений!

— Значит, распределим, как Старухин предложил? — спросила Симакова.

— Конечно.

— Давайте так...

— Удобно и правильно.

— А главное — стимул. Хорошо поработал — путевка будет.

— Правильно.

— Голосовать будем?

— Да не надо. И так все ясно.

Симакова записала что-то в своем блокноте.

— Оксана Павловна, — наклонился вперед Хохлов, — у нас в цехе работает одна женщина, мать троих детей, активистка, общественница. Из старой рабочей семьи. Очень хотелось, чтоб ей дали путевку.

— И у меня тоже двое есть. Молодые, но общественники хорошие, — добавил Клоков.

— Всех общественников, ветеранов войны и инвалидов мы обеспечим, как всегда, — ответила Симакова, — но это все потом, товарищи. Главное — распределили по цехам. А там уж сами решайте. Давайте перейдем к вопросу о Пискунове. Встань, Пискунов! Иди сюда.

Витька неторопливо приподнялся, подошел к сцене.

— Поднимайся, поднимайся к нам.

По деревянным ступеням он поднялся на сцену и стал возле трибуны. С минуту сидящие за столом разглядывали его.

— А поновей брюк ты что — найти не смог? — спросил Клоков.

— Не смог, — Витька рассматривал метровый узел на галстук Ильяча.

— Хоть бы почистил их. Вон грязные какие. Не на танцульки ведь пришел, не в винный магазин.

— На танцы бы у него нашлись другие, — вставила Звягинцева, — и брюки и рубашка. И галстук нацепил бы, не забыл. И поллитру с друзьями раздавил бы.

Симакова положила перед собой два листка:

— На завком поступили две докладные записки. Первая — от мастера механосборочного цеха товарища Шмелева, вторая — от профячейки цеха. В обоих товарищи просят завком рассмотреть поведение Пискунова Виктора Ивановича, фрезеровщика механосборочного цеха. Я их зачитаю... Вот, мастер пишет:

"Довожу до сведения заводского комитета профсоюза, что работающий в моей бригаде Виктор Пискунов систематически нарушает производственную дисциплину, что пьяным является на свое рабочее место, и что не выполняет производственные нормы, и что грубит начальству, рабочим и мне.. Начиная с июня сего года Пискунов опять запил, он приходит на завод и сильно шатается, а также выражается грубыми нецензурными словами. Я много раз предупреждал его, просил и даже ругал, но он все как с гуся вода — пьет, ругается, грубит, хулиганит. Шестнадцатого июля, работая на фрезерном станке и фрезеруя торцы корпуса, он закрепил деталь наоборот, что вызвало крупную поломку станка. Когда же я накричал на него, он взял другую деталь и кинул в меня, но я увернулся и пошел к начальнику цеха. Пискунов и до этого не следил за своим станком, на реле он нацарапал матерное слово, а рядом нацарапал матерную картинку. А когда я просил его стереть, он говорил, что ему нужен стимул. А десятого июля в раздевалке он избил Федора Барышникова так, что того повели в медпункт. Из-за Пискунова наша бригада никогда не выполняла план, так как он больше двухсот корпусов никогда не фрезеровал, а норма — триста пятьдесят. Я много раз говорил начальству, но оно говорит, что и так у нас текучка, так что надо воспитывать, а не выгонять. И Пискунов, когда я его ругаю, ручку вынет и говорит: "давай бумагу, сейчас заявление напишу, и не нужен мне ваш завод". И плохо говорит о своей заводской семье. И ругается. Я проработал на нашем заводе двадцать три года и как член партии требую, чтобы к Пискунову применили эффективные меры, чтобы поговорили с ним эффективно, как следует. Его ведь два раза на завком посылали, а он хоть бы что. Весь наш коллектив присоединяется ко мне и требует эффективного разговора с Пискуновым. Мастер Андрей Шмелев."

В приоткрытую дверь зала вошла уборщица с ведром и щеткой. Поставив ведро на пол, она сняла со щетки тряпку и стала мыть ее в ведре.

Симакова взяла в руки другой листок.

— А это от профячейки... Члены цехового профсоюзного комитета просят заводской комитет рассмотреть на очередном заседании поведение фрезеровщика Виктора Пискунова. В течение последнего

месяца Пискунов регулярно нарушал производственную дисциплину, являясь на работу в нетрезвом виде и не выполняя производственных норм. Шестнадцатого июля Пискунов нанес в пьяном состоянии сильное повреждение своему станку, тем самым на целый день задержал работу всей бригады. Снятие с Пискунова прогрессивки никак не повлияло на него, — он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину, грубит цеховому начальству и товарищам.

Симакова отложила листок в сторону:

— Да, Пискунов. Год ты на заводе не проработал, а все тебя уж знают. И не как ударника, а как тунеядца и алкоголика.

— Я что — алкоголик? — Пискунов поднял голову.

— А кто же ты? — спросил Клоков. — Самый натуральный алкоголик.

— Алкоголиков в больнице лечат, а я работаю. Я не алкоголик.

— Конечно! Конечно, он не алкоголик! — притворно-серьезно заговорила Звягинцева. — Какой он алкоголик?! Он утром стакан, в обед стакан и вечером полбанки! Какой же он алкоголик? — Сидящие за столом засмеялись.

Уборщица отжала тряпку, намотала ее на щетку и стала протирать проход между креслами.

Симакова вздохнула:

— Ты понимаешь, Пискунов, что работать в пьяном виде не только опасно для тебя, для твоего станка, но и для окружающих? Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну так что ж? Понимаешь, а пить продолжаешь?

— Да не пью я... Было один раз, так раздули, — он качнулся, тряхнул головой, — раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у шурина, на дне рождения...

— Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза?! — крикнула Звягинцева, — как не стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях, каааждый! Вот, — она кивнула на Клокова, — профорг твой сидит, его бы постыдилась!

Витька посмотрел на Клокова и только сейчас заметил сидящего возле него Сережу Черногаева, расточника из соседней бригады. Серега смотрел на Витьку пугливо и настороженно.

— Один раз, — подхватил Клоков, — он, может, трезвым один раз за это время был! Я с ним каждое утро в раздевалке встречаюсь, в глаза погляжу — снова пьяный. А глаза, как у кролика, красные.

— Чего это красные? Какие это у меня красные?

— Такие и красные. А морда белая, как молоко. И шатает из сторону в сторону.

— Да когда меня шатало-то? Чего вы врете-то?

— Ты, друг дорогой, не дерзи мне! — Клоков шлепнул рукой по столу. — Я тебе не собутыльник твой! Не Васька Ленин! Не Петька Круглов! Это с ними ты так разговаривай! И встань-ка как следует! Чего привалился к трибуне! Это тебе не стойка пивная!

— Встань нормально, Пискунов, — строго проговорила Симакова.

Витька нехотя оттолкнулся от трибуны и выпрямился, прищурясь. Уборщица кончила протирать пол и, опершись на щетку, с интересом уставилась на сцену.

Звягинцева брезгливо посмотрела на Пискунова, показала головой:  
– Дааа... Противно смотреть на тебя, Пискунов, Жалкий ты человек.

– Эт почему ж я жалкий?

– Любой алкоголик жалок, – вставил Старухин, – А ты не исключение. Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Ты же опух весь. Лицо лиловое какое-то, черт знает что... Смотреть неприятно.

Дверь скрипнула, в зал вошел высокий милиционер с виолончельным футляром в руке. Сидящие посмотрели на него. Потоптавшись на месте, милиционер медленно прошел по проходу и сел с краю четвертого ряда. Черный футляр он прислонил к соседнему креслу, снял фуражку с лысоватой головы и повесил на футляр.

– Сейчас он присмирел еще, – пробормотал Клоков, покосившись на милиционера. – А что он в цехе творит, в раздевалке.

– Вы что, видели?

– Тебе сказали, не пререкайся! – качнулась вперед Симакова. – Ты лучше расскажи, как ты Барышникова избил. Или, может, это опять Клоков придумал?

Пискунов тоскливо вздохнул, заложил руки за спину. Милиционер, прищурившись, смотрел на него. Уборщица оставила ведро со щеткой в проходе и села недалеко от милиционера.

– Чего молчишь? Рассказывай.

– Да чего рассказывать... Сам он первый полез. Ругался, грозил... А я усталый был, не в духе.

– И пьяный к тому же, да?

– Ну, может, немного... Пива утром выпил.

– И к вечеру не выветрилось? – спросил Клоков. – Хорошее пиво!

Члены завкома засмеялись.

Уборщица покачала головой, поправила сползший на глаза платок. Милиционер, по-прежнему сощурившись, смотрел на сцену. Симакова взяла карандаш, перебирая его, спросила:

– Значит, свое плохое настроение ты выместил на товарище?

– Так он первый полез. Обзывался.

– Не ври, Пискунов, – перебил его Клоков. – Не он к тебе полез, а ты, ты напился в раздевалке с Петькой Кругловым и стал приставать ко всем. А Барышников тебя одернул. А ты его избил. Вот – свидетель сидит, – он качнул головой в сторону Черногаева. Все посмотрели на свидетеля. Черногаев покраснел. Витька взглянул на красное лицо Сергея и отвернулся.

– Молчишь? То-то. Правда глаза колет. Скажи спасибо Барышникову, что не заявил на тебя. А он имел право. За тот синячище пятнадцать суток дали бы тебе, не меньше.

– А действительно, почему он не пошел в милицию? – спросил Урган.

– Да вот парень хороший оказался. Замял, как будто и не было ничего.

– Повезло тебе, Пискунов.

– Таким, как он, всегда везет.

– Точно, точно. Везет! – Уборщица поднялась со своего места. – Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь, – она развела руки в сторону, – сосед у меня точно такой, точно! И как их, паразитов, земля носит!



Она выбралась из кресел, подбежала к сцене и стала загибать узловатые пальцы:

— Не работает нигде! Пьет каждый день! Девочек к себе таскает, хулиганит, дерется и хоть бы что! И вот ведь не выселит его никто! Я уж в милицию и туда и сюда — нет! Как пил, так и пьет!

Члены завкома сочувственно покачали головами. Уборщица вздохнула и села в первом ряду. Симакова посмотрела на Пискунова:

— Тебя ведь третий раз на завком таскают, Пискунов. Неужели совесть совсем потерял? Ты ведь коллектив подводишь, завод позоришь. О себе не думаешь — о других подумай. Бригада из-за тебя план не выполняет, значит, всем — ни прогрессивки, ни премии. Ты это понимаешь? Или тебе все равно? Чего молчишь?! Все равно, да?!

— А для него, Оксана Павловна, что в лоб, что по лбу, — вздохнула Звягинцева. — Он выпил — хорошо! Подрался — еще лучше! На работу не пришел — совсем прекрасно! А до бригады ему и дела нет.

— Ты знаешь, Пискунов, во сколько поломка твоего станка обошлась государству? Не знаешь? — спросил Клоков.

Витька покачал головой.

Клоков приподнялся, опираясь руками о стол:

— Была б моя воля, я б вычел бы все с тебя! Вот тогда б ты узнал! Узнал. А то сломал станок и хоть бы что — сидит, курит в проходе! Ты что, Витя, делаешь? Я покуриваю! А станок чинят. Хоть бы помог наладчикам! Нет, наплевать! И вообще ему наплевать на работу, на цех, на товарищей. Вот Черногаев, рабочий, в одном цехе с ним, вот ты хоть расскажи нам, как о Пискунове товарищи отзываются! Расскажи! А мы послушаем.

Черногаев неуверенно встал, качнулся. Все смотрели на него.

— Ну я... я в общем... — он провел рукой по лбу.

— Да ты смелее, Сереж, расскажи все как есть, — подбодрил его Клоков.

— Ну, я, товарищи, работаю в одном цехе с Пискуновым, вижу, значит, его каждый день. Мы с ним в разных бригадах работаем, но вижу я его каждый день. И в раздевалке, и в столовой. Вот. Ну и в общем здесь уже говорили. Пьет он. Выпивает регулярно. И утром приходит пьяный, и вечером пьяный. Вот, значит. И станок его я вижу. Грязный он, не убранный. После работы иду — а на его станке — стружка. И щетка на полу валяется. И почти каждый день так. И вообще он ведет себя нехорошо, грубит. Вот Барышникова избил...

— Как это случилось? — спросила Симакова.

— Ну, Пискунов с Петью Кругловым раньше всех в раздевалку пошли, значит. Еще шесть не было, а они подались. А когда остальные стали приходить и я пришел — они уже пьяные сидят, матерятся, курят. А с Федей они еще раньше столкнулись. Федя Пискунова ругал за то, что план всей бригаде сорвал. А тут Пискунов как Федю увидел, так сразу задираться стал, значит. Эй, — говорит, — ударник-стахановец, иди сюда, я тебе рожу профрезерую.

— Чего ты врешь, Черногай, я такого...

— Замолчи, Пискунов! Продолжай, Черногаев.

— Ну вот. А Федя ему говорит — веди, говорит, себя прилично. А Пискунов выражаться. А Федя, значит, говорит ему, что будет, вот, собрание, я, говорит, скажу о тебе и мы, говорит, в завком на тебя

напишем, Ну, тут Пискунов на него бросился. Разняли их. У Феди лицо разбито. Ребята в медпункт пошли с ним. А Пискунов еще долго в раздевалке сидел. Выражался. О заводе нехорошо говорил...

— Эт что я нехорошего-то говорил?

— Не перебивай, Пискунов! Тебя не спрашивают.

— А чего он врет-то?

— Я не вру. Он говорил, что все у нас плохо, платят мало. Купить, говорил, нечего, пойти некуда.

— Еще бы! Он ведь, кроме винного магазина, никуда не ходит! А кроме поллитры ничего не покупает.

— Эт почему ж я не хожу-то?

— Потому! Потому что алкоголик ты! Аморальный человек! — тряхнула головой Звягинцева.

Черногаев продолжал:

— А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется.

Все молчаливо усталились на Пискунова.

— Да как же... да как же у тебя язык повернулся сказать такое?! — уборщица встала со своего места, подошла к сцене. — Да как тебе не совестно-то?! Да как же ты, как ты посмел-то! А?! Ты... ты... — ее руки прижались к груди. — Да кто ж тебя вырастил?! Кто воспитал, кто обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко да забот не знал! Как же ты так?! А?!

— Плюешь, Пискунов, в тот же колодец, из которого сам пьешь! — вставил Хохлов.

— И другие пьют, — добавила Симакова. — На всех плюешь. На бригаду, на завод, на Родину. Смотри, Пискунов, — она постучала пальцем по столу, — проплюешься!

— Проплюешься!

— Ишь, плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьянице везде плохо.

— А таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти — ему и там не по душе придется.

— Да. Гнилой ты человек, Пискунов.

— Ты комсомолец?

— Нет, — Витька тоскливо смотрел на портрет.

— И вступать не думаешь?

— Да поздно. Двадцать пять...

— Таким в комсомоле делать нечего.

— Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса.

— Третий раз вызывают его на завком, и все как с гуся вода! Вырастили смену себе, нечего сказать! А все мягкотелость наша. Воспитываем все!

— Действительно, Оксана Павловна. — Звягинцева повернулась к Симаковой. — Что же это такое?! Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в одиннадцать — за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы — это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними, с ними вот?!

— И правда! Пора наконец перестать лояльничать с ними! — вставил Старухин. — В конце концов у нас производство, советское производство! И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родиной! Сняли с него прогрессивку — мало! Сняли тринадцатую зарплату — мало! Увольнять нельзя, значит, надо искать какие-то новые меры! И не гуманничать! А то догуманничаемся!

— Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пискунов, надо бороться. Бороться решительно! Что с ними цацкаться?!

— Ему ведь наши нотации — как мертвому припарки.

— Ну, а что мы можем, кроме снятия премий и прогрессивки? Выгнать-то нельзя...

— Тогда вообще зачем заседать?! Это ж издевательство над профсоюзом.

— Форменное издевательство...

— И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, и вся бригада.

— Ну, а действительно, что мы можем?!

Милиционер вздохнул, встал и одернул китель:

— Товарищи! — Все повернулись к нему. Он подождал мгновение и заговорил:

— Я, конечно, человек посторонний, так сказать. И к этому делу отношения никакого не имею. Но я как советский человек и как работник милиции хочу, так сказать, поделиться просто опытом. Я, товарищи, с такими, как этот парень, почти девятнадцать лет работаю. С двадцатилетнего возраста с ними сталкивался. Эти люди — тунеядцы, алкоголики, хулиганы и более крупные, так сказать, матерые преступники надеются только на одно — чтоб мы с ними мягко, так сказать, обходились. Как только мы с ними мягче и обходительней — так они сразу хуже. Сразу чувствуют! И выводы делают, и становятся опаснее для общества. Я здесь сидел, слушал, ну, и в общем мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо понимаю. И по моему, не надо вам бояться новых мер. Вы ведь, в конце концов, не за себя отвечаете, а за предприятие. И думаете о нем. И болеете за него. А завод ваш не зря орденом награжден. Не зря! Надо помнить об этом.

Он сел, сцепил руки.

— Правильно! — Проговорил Урган. — Вот товарищ хоть и не работает на нашем заводе, а целиком прав. Поощряя таких, как Пискунов, мы вредим своему заводу! Сами себе же вредим! Значит, что же, выходит, мы с вами сами виноваты?!

— Конечно, виноваты! — подхватила Звягинцева. — Еще как виноваты! Из-за нашей близорукости и завод страдает!

Уборщица снова приподнялась со своего места:

— Да кабы моя воля, я б с этими вот, такими, как он, прямо не знаю, чтоб сделала! Ведь житья от них нет никакого! Ведь во дворе вот с утра день-деньской до вечера бренчат, пьют, дерутся!

— Но опять же, что мы можем поделать? Мы же обыкновенный завком, полномочия у нас крайне ограниченные.

Милиционер вздохнул:

— Товарищи, вы меня не поняли. Я же сказал, вам не надо бояться новых, более эффективных мер. Вы же не о себе думать должны, правильно?

— Да, правильно, конечно, — отозвалась Симакова, — но факт остается фактом, у нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий...

— Товараарищи! — милиционер шлепнул руками по коленям, — мне прямо горько слушать вас! Нет полномочий! Да кто же виноват в этом?! Вы сами и виноваты! Все от вас, от вашей инициативы зависит! Если б были у вас конкретные предложения, были б и полномочия. Законы, что, по-вашему, с неба валяются? Нет! Народ их создает! Все от вас зависит, от народа. А то сами перед собой барьер поставили и ждете, чтоб вам полномочия дали. Это просто не серьезно. Вы так ничего не дождетесь. А вот эти, — он ткнул пальцем в Пискунова, — действительно вам проходу не дадут! И тогда и полномочия не помогут. А сейчас, когда еще не поздно — предлагайте! Пробуйте! Чего вы боитесь? Вы что думаете, с такими, как этот парень, уговорами да беседами бороться? Напрасно. Их не уговаривать нужно. С ними совсем по-другому нужно. А как — это уж ваше дело. И инициатива должна от вас идти. Есть инициатива, есть предложения — значит, будут и полномочия. А если нет инициативы, нет деловых, так сказать, предложений, — значит, и полномочий не будет.

Он сел, достал платок и вытер вспотевший лоб.

Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи:

— Вообще-то у меня, то есть у нас... ну, в общем, есть одно предложение. Насчет Пискунова. Правда... я не знаю, как оно... ну... как... В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно...

— А вы не бойтесь, — ободрил его милиционер, пряча платок, — если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут. И одобряют.

Клоков посмотрел на Звягинцеву. Она ответила понимающим взглядом.

— Ну, в общем, мы предлагаем... — Клоков рассматривал свои руки, — в общем, мы...

Все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы, поднял голову и выдохнул:

— Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пискунова.

В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся:

— Нууу... товарищи... что вы глупости говорите. При чем тут расстрелять...

Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу.

Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил:

— Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической, хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьев, опять же. Музыка, знаешь как человека облагораживает? А главное, делает его чище и сознательней. Ты, вот, кроме выпивки да танцев, ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое...

— Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал: — А вы, товарищи, вместо того, чтоб время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше б организовали при заводе клуб любителей

классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была и прогулов да пьянства убавилось... Я б распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините...

Он вышел за дверь.

Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела.

— Про... про... прорубоно... прорубоно... — ревел он, трясая головой и широко открывая рот.

Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови.

— Прорубоно... прорубоно... — захрипела она низким грудным голосом.

Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол.

— Прорубоно... про... прорубоно... — произнес он, ворочаясь на столе.

Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова:

— Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по разному по сварочному а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование...

Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом:

— Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно!

Пискунов и Черногаев прыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене.

— Прорубоно! Прорубоно! — хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее, красное лицо его смотрело в потолок зала, тело дрожало.

Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча:

— Если говорить о технологии прорубоно, граждане десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные

окислители, когда процесс шлифования необходим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопривода...

Черногаев, Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол.

Старухин приподнял свое разбитое посиневшее лицо.

— Прорубоно, — четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу.

Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгрести руками к лицу разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пискунов, Звягинцева, Урган, Старухин и Симакова окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала:

— Та и прорубо... так-то и прорубо...

— Прорубоно! Прорубоно! — кричала Симакова.

— Прорубоно... — хрипела Звягинцева.

— Но прорубоно по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов... — бормотал Урган.

— Прорубоно! — ревел милиционер.

Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы.

— Ота... ота-та... — бормотала она, лежа на столе.

— Пробо! Пробо! Пробо! — закричала Симакова.

Уборщицу перевернули спиной кверху и прижали к столу.

— Пробо... ота-то... — захрипела уборщица.

— Пробойно! Пробойно! — заревел милиционер.

Пискунов и Черногаев, приседая и делая кистями рук быстрые вращательные движения, прыгнули со сцены, подняли лежащий у ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сцены.

— Пробойное! Пробойное! — ревел милиционер.

Пискунов и Черногаев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб; другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневато-зеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полусгнившей плоти.

Черногаев взял кувалду, Пискунов забрал трубы. Труб было пять.

— Прободело! Прободело! — заревел милиционер и затрясся сильнее.

— Патрубки, патрубки пробойные общечеловеческие ГОСТ 652/58 по неучтенному, — забормотал Урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. — Длина четыреста двадцать миллиметров, диаметр сорок два миллиметра, толщина стенок три миллиметра, фаска 3x5.

Пискунов поднес трубы к столу и свалил их на пол.

— Прободело... так-то и проб... — бормотала уборщица.

Пискунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборщицы.

— Убойно! Убойно! — заревел милиционер.

— Убойно! Убойно! — подхватила Симакова.

— Убойно... убойно... — повторял Старухин.

— Убойно... — хрипела Звягинцева.

Пискунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногаев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил по торцу трубы кувалдой. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял третью трубу и приставил к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол, Пискунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногаев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол.

— Вытягоно... вытягоно... — забормотал Хохлов в кучку сгребенных им рвотных масс.

— Вытягоно! Вытягоно! — закричала Симакова и схватилась обеими руками за торчащую из спины уборщицы трубу. Старухин стал помогать Симаковой и вдвоем они вытянули трубу.

— Вытягоно! Вытягоно! — ревел милиционер.

Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из-под тела уборщицы обильно потекла кровь.

— Сливо! Сливо! — закричала Симакова.

Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами.

Хохлов пополз на коленях к раскрытому футляру.

— Нашпиго! Набиво! — заревел милиционер.

— Напихо червие! Напихо червие! — закричала Симакова и все, кроме милиционера и лежащего в партере Клокова, двинулись к футляру.

— Напихо червие, — повторял Старухин, — Напихо...

— Напихо в соответствии с технологическими картами произведенное на государственной основе и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу, — бормотал Урган. Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из футляра и понес к столу. Подойдя к трупку уборщицы, они стали закладывать червей в отверстия в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо.

Клоков поднялся с пола и принялся отряхивать свой костюм. Пискунов и Черногаев собрали разбросанные по полу трубы и кувалду, сложили в свободное отделение футляра, закрыли его и стали застегивать.

— Ну чаво ш вы тама возитесь? — недовольно спросил Клоков. — То-то попотворилесь абы как...

Черногаев и Пискунов застегнули футляр, подняли и спустились в зал. Все, кроме Хохлова, спустились вслед за ними. Хохлов скрылся за кулисами.

— Ну, чаво, чаво топчитесь? — окликнул Клоков Черногаева и Пискунова, — швыряйте, швыряйте!

– Попрошу вас не кричать, – произнес Черногаев, глядя в глаза Клокову. – Извольте вести себя подобающе.

Клоков раздраженно махнул рукой и отвернулся. Черногаев и Пискунов раскачали футляр и бросили его в середину зала, где он с шумом исчез между креслами.

Из-за кулис согнувшись вышел Хохлов. На спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб колебался. Хохлов пересек сцену, осторожно спустился по ступенькам в зал и направился к выходу.

– Стоять! – произнес милиционер.

Хохлов остановился. Милиционер подошел к нему и сказал что-то шепотом.

Звягинцева раскрыла свою коричневую сумочку и достала из нее пистолет. Милиционер что-то шепнул Хохлову. Тот кивнул головой, отчего куб мелко затрясся.

Звягинцева вложила дуло пистолета себе в рот и нажала спуск. Глухой выстрел вырвал затылочную часть ее головы, забрызгав кровью и мозговым веществом Старухина и Ургана. Звягинцева упала навзничь.

Милиционер опять что-то шепнул Хохлову. Хохлов вздохнул и произнес:

– Хочу сделать заявление господам потерпевшим. Дело в том... дело в том, что я... – Он замялся. Куб на его спине задрожал.

– Пошел, пошел! – прикрикнул на него милиционер.

Хохлов подошел к двери, толкнул ее головой и вышел. Милиционер вышел следом. Клоков подбежал к двери и скрылся за ней.

– Беги, беги, козел, – презрительно произнес Черногаев.

– Ну что, пошли? – Симакова достала сигареты и закурила.

– Пошли, – кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу.

Москва





**Владимир ЦЫБИН**

# ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

## ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

"Человек призван продолжать миротворение"  
Н. Бердяев

Космолеты выжгли высь,  
космос их втянул, как яма,  
из железа и вольфрама  
сердце.

Век, остановись!

Кто я? Мертвый иль живой? —  
День творения восьмой.

Плотью мир одет стальной,  
жесткий ветер вдвинут в створы,  
дышат воздухом моторы —  
притворился робот мой.

Я не знаю, что со мной —  
душу отдал ли кому-то?  
Грезит вечностью компьютер —  
день творения восьмой.

В небе шелест мертвых вод,  
в небе дыры: нет озона.  
Средь стекла и среди бетона  
кто-то в панцире идет.

Где я? Кто я? Что со мной?  
Я – железо. Я в железе.  
Числа мыслят,  
цифры грезят –  
день творения восьмой....

### ВЕЧНАЯ СКАЗКА

На Руси что ни тын – то кабак,  
на Руси что ни чин – то дурак.  
На Руси, если глух, то – звонарь,  
на Руси, если глуп, значит – царь.

Потому нелегко чудакам,  
жить мешают они дуракам.

На печи отдыхать – дураку,  
в лагерях загорать чудаку.  
Чудаки обживают барак,  
продвигает проекты дурак.

Сказка есть: царь позвал чудака –  
сосчитай в небесах облака.  
– Сосчитал?  
– В небесах облаков –  
сколько белых в палатах грехов.

Отвезли чудака в Соловки,  
где сидельцы – одни чудаки.

С той поры дуракам все не впрок:  
сеют пыль – пожинают песок,  
топят топь, чтобы высушить сушь,  
свято чтут директивную чушь.  
И плывут брюхом вверх караси –  
дал приплюду дурак на Руси.

И когда наверху чурбаки –  
виноваты во всем чудаки.

Что-то, видно, на свете не так –  
чудаком притворился дурак.  
И страдает народ на Руси –  
дураков хоть косою коси,  
и уходит, как встарь, в казаки,  
от дурацкой судьбы – в дураки.

\* \* \*

Куда уходит блуждать душа?  
Зовешь в пустоту: "Вернись!"  
Но только долго в венах дождя  
пульсирует глухо высь.

Кто — аллилуйя — поет во мне?  
Тихо на небесах,  
где сердце мое, забыв о земле,  
качается на весах...

### ВНУТРИ МИРАЖА

Я в тень миража погружен наяву,  
неужто в магическом эхе живу?  
И явь оскудела, и вытекли сны,  
и время — в пеленках, и шрамы видны.

— Вы кто? — окликаю во тьме миражи.  
— Мы были живые, теперь — без души.  
Рожденье и смерть — продолжение дат.  
Лишь скорбные тени под сердцем лежат.

На этой земле, над прошедшим дрожа,  
живем и скорбим мы  
внутри миража.  
И память — туннель лишь в себя самого.  
Иду по нему. И вокруг — никого.

\* \* \*

Сначала день проснулся во мне,  
потом проснулся в лесах,  
и белая явь, что жила во сне,  
простерлась в моих глазах.

Но я один побрел на закат,  
в провал грядущего дня,  
черным духом земли заклят,  
черную боль храня.

Я в вечер вошел, где гаснут миры  
и звездами мрак разорван,  
и жутко смотрит  
из черной дыры  
ангел, как черный ворон...

\* \* \*

Это что? — звездопад  
на землю —  
ведьмы к Марсу летят  
на метле  
и выносят лешаки  
поутру  
лихоманной тоски  
по ведру.  
И тревогой обвит  
мировой  
в телевизор глядит  
домовой.

Это что? Звездопад  
вдоль страны  
На трибунах — подряд  
колдуны.

Чтоб опять отгрести  
в мириной,  
носит воду в горсти  
водяной.

Из железных горстей,  
как НЛЮ,  
он сыпает чертей  
на село.

И души моей стыд  
ножевой  
словно стрелкой обвит  
часовой.  
Будто здесь, в крематории  
лет  
ни земли, ни истории  
нет.  
И сыпает, как в снег  
семена,  
кто-то в белый просвет  
времена...

## ОБЛОМКИ

Осень, нищает земля, горят в желтизне потемки.  
Время – кораблекрушенье. Время – одни обломки.

Воздух грудь пережег, сжало мне кровь аортой –  
это я навсегда втиснут в обломок стертый.

Душа моя – сирота, память моя – калека,  
и в головах моих вместо креста – комета.

Кто мою крошит жизнь по снеговому свею?  
В выпуклый ветер я годы свои посею...

Сердце – в лохмотьях мглы, путь мой подходит к краю,  
и я куда-то во тьму из космоса выпадаю.

Москва



**Валерий ПОПОВ**

## ЛЮБОВЬ ТИГРА

*Рассказ*

Я выскочил из лифта с **ключом** наперевес и в ужасе застыл: двери не было! Вернее — она была мощным ударом вбита внутрь и безвольно висела, припав к двери ванной. Я бросился ее поднимать, как человека, потерявшего сознание. Она прогнулась в моих руках, как женщина: чей-то молодецкий удар сделал ее гибкой.

— Так... видать, грабаныли! Хорошо хоть, не гробанули!

Пол в прихожей был усыпан известкой, влетевшей вместе с дверью. Оставляя белые следы, я быстро вошел в кабинет, со скрипом вытянул ящик стола... Бумажник лежал наверху, распластав крылья, как раненная птица... так ли я его оставлял? Дрожащей рукой я распахнул его... Деньги на месте. Ф-фу!

Я медленно опустился на стул, утер запястьем лоб, потом слегка уже насмешливо оглянулся на выбитую дверь: что ж это за гости меня посетили, не сообразившие, где деньги лежат?

Я уже не спеша пошел на кухню. Так и есть: фанерная дверка возле умывальника была зверски выдрана, в полутьме маячили ржавые трубы и вентили, вокруг валялись клочья пенки. Ну ясно: опять прорвало этот проклятый вентиль, хлынула вода, и водопроводчики, ненавидящие воду больше всего на свете, таким вот образом выразили свою ярость: надо было перекрыть воду, а они заодно еще и разгромили квартиру. Я открыл кран — вода булькнула перекрученной стружкой и иссякла. Все ясно! И ничего не

докажешь и не объяснишь: можно только, если есть желание, обменяться несколькими ударами по лицу, но такого желания у меня не было.

Вздыхая, я собрал с пола мусор и отнес его в мусоропровод — благо доступ к нему теперь был свободен, дверь не мешала. Потом я сел к телефону — благо он остался цел и невредим, и позвонил своему деловому другу.

— Ясно... тут тебе нужен Фил! — проговорил мой друг.

— Фил?... Что-то такое помню...

— Ну... тогда еще.. вместе с Крохой ходил!

— Но они, вроде... тогда же еще... вместе и загремели?

— Ну да — и он все Крохины дела на себя взял — у Крохи уже сын тогда был!

— Мгм...

— Да сейчас он уже крепко стоит — зам по капстроительству одного крупного объединения!.. Да он отлично помнит тебя: недавно керосинили с ним — он все расспрашивал! Все тебе сделает.

Заманчиво, конечно, сделать "все" — но какой ценой?

— А больше... никого у тебя нет? — поинтересовался я.

— У меня есть кто угодно, — усмехнулся друг. — И скрипачи, и оперативники, и даже могильщики... но сейчас тебе нужен именно Фил!

— Ладно.. диктуй координаты, — сломался я.

... В приемной стоял стол с машинкой, за ним сидела роскошная блондинка с горделивой прической... такая могла сидеть в приемной любой конторы... впрочем, без удивления я встречал теперь таких и среди учителей, и в учреждениях, управляющих искусством... название места в наши дни не имеет решающего значения: дело в возможностях — не так существенно, в какой сфере.

— Простите, нельзя ли вас попросить... — начал я.

— Нельзя, — мгновенно отрезала она.

— Но.. будьте все же так любезны... — настаивал я.

— Я буду вам любезна в другом месте! — произнесла она грубую, но довольно таинственную фразу, и, резко встав, с треском вывинтила из машинки лист и, покачивая бедрами, пошла к главной двери.

Я втиснулся вслед за ней. В большой пустоватой комнате сидел человек с бледным покатым лбом, заканчивающимся на затылке седым пушком. Вдруг на лице его, сильно выдвинутом вперед, появилась улыбка — полумесяц из железных зубов.

— Ну что, зверюга — и ты, наконец, обо мне вспомнил? — ласково-сипло проговорил он.

Я решительно не помнил его — сколько всего за последние годы произошло! — но он, видно, все помнил ясно... говорят, что у людей, находящихся там, память консервируется — им все ярче и милее представляются все подробности жизни их дотюремного существования. Такой же дорогой подробностью оказался, видно, и я.

— Ну, здорово... — не совсем уверенно поприветствовал его я.

— Помнишь, как у Боба ураганили с тобой? — улыбка его стала еще шире. — Да-а.. нехорош ты стал... но джазмен джазмена через полвека узнает!

– Ну! – воскликнул я.

Его я, честно, не помнил, но "ураганы" у Боба – как можно их забыть? Огличное было времечко – уже лет тридцать тому назад, когда мы все вместе играли джаз и называли друг друга на заграничный манер: Ник, Фред, Боб. Все исчезло, развеялось, в хозяева жизни вышли совсем другие люди... но что делать? Хотя бы ностальгия теперь связывает нас!

– Ну ты знаешь, конечно, – доверительно-тихо проговорил он, – Вэл снова сел, Джага уехал...

Я почувствовал ностальгическую связь и с севшим Вэлом, и уехавшим Джагой, хотя, конкретно, не помнил их.

– А за тобой я давно слежу, – имея в виду, очевидно, мои литературные опыты, произнес Фил, растроганно глядя мне в глаза.

– Да ну... ерунда! – я смущенно отмахнулся.

Спрашивать, "как он?" – я пока что стеснялся, во-первых, при его трудной жизни вопрос может быть неприятным, – во-вторых – он может тут усечь намек на дела, с которыми я к нему пришел.

Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга – наверное, от долгого напряжения глаза наши стали слезиться.

– Может, Филипп Клементыч, вы все же взглянете на бумаги? – ревниво произнесла секретарша.

– Да не тренди ты – видишь, друг пришел! – отмахнулся он.

Он явно досадовал на присутствие здесь человека из чуждого нам поколения и даже – чуждого пола. Но она решила, видно, что если – друг, так и не стоит с ним церемониться!

– Слушай, Фил – ты совсем, что ли, озверел? – она глянула на часики. – Нам полчаса уже у Зойки надо быть!

– ...Тафайте, тафайте! – Фил холодно, даже несколько враждебно помахал ей ручкой.

– Разорвать бы тебя на части и выбросить! – резко проговорила она и, повернувшись, направилась к выходу.

Такой накал чувств – тем более из-за меня – несколько смущал.

– Ко мне можно пойти, – неожиданно для себя пробормотал я.

Она, повернувшись, застыла у двери, но не глядела ни на меня, ни на него, а в сторону окна.

Фил, словно не слыша моей последней реплики, продолжал с застывшей улыбкой смотреть на меня. Немая эта сцена тянулась довольно долго, потом он вдруг медленно пошел к вешалке в углу, надел плоскую клетчатую кепочку, которая как бы еще крепче вдавила его огромную птичью голову в грудь, потом он надел длинный черный плащ и направился к выходу. Мы в некоторой растерянности следили за ним... видимо, следовало считать, что мое приглашение принято: объяснять что-то дополнительно он считал явно излишним.

На улице я сделал движение к винному магазину.

– Взять что-нибудь?

– Ну возьми конины, что ли? – небрежно проговорил он.

... "конины"? Это значит – коньяка?... Да – круто начинается это дело, но хорошо, что хоть как-то начинается!



От моей выбитой двери он почему-то пришел в полное восхищение.

— Вот так вот, Ирина Евгеньевна, настоящие люди живут! — поучающе обратился он к подруге. — Не то что вы, нынешние жлобы, понаставили дверей!

Она презрительно дернула плечом... черт! — вряд ли после этого она особенно будет меня любить, а от женщин на практике зависит довольно много.

Фил вошел в мою пустую, слегка ободранную квартиру (давно я собирался сделать ремонт!), и то ли изумленно, то ли восхищенно покачал головой.

— Вот так вот! — снова обратился он к Ирише. — Никаких тебе стенок-гарнитуров, ковров и прочей лабуды! У людей все дела здесь! — он шлепнул себя по бледному покату лбу.

— Мне как раз не очень нравится моя квартира, — слегка смущенный таким успехом, проговорил я. — Она такая не специальная у меня. А дверь вообще — только сегодня, наверное, выбита, или вчера...

— Ясно? — он снова строго обратился к ней. — Человек даже не знает, сколько дней без двери живет! — для него я был дорогим воспоминанием о давних, святых временах бескорыстной дружбы. В глазах Ирины я явно становился все большим идиотом, но в оценке Фила все поднимался, — во всяком случае, на время отдыха.

Он взялся за ручку ванной, но я с испугом удержал его:

— Постой... там, понимаешь... раковина разбита!

Дело в том, что мне на день рождения один приятель подарил пузырек английского одеколона, и это проклятое орудие империализма, выскользнув у меня из рук, стукнулось о раковину. С ужасом я зажмурился... услышал треск... все, накрылся подарочек! Когда я, наконец, решился разожмуриться, изумлению моему не было предела — пузырек лежал целый и невредимый, раковина же была расколота на крупные куски!

Я рассказал это Филу — он посмотрел на меня со снисходительной усмешкой:

— Ну ладно — ты лучше историю эту в какой-нибудь рассказ свой вставь, а мне мозги не пудри — я все же инженер!

Я давно уже замечал, что люди, сами живущие по фантастическим законам, от искусства требуют строгости и поучительности — так же и мой друг.

— Ну хорошо! — я вытащил на середину комнаты мой "журнальный столик" — старый испорченный приемник, расставил рюмочки.

— Ну, у тебя кайф, — усмехнулся Фил. — Как в монгольской юрте.

— Ну прям уж! — непонятно обидевшись, сказала Ирина, словно она всю жизнь провела в монгольской юрте и знает ее.

— К нимходишь, — не реагируя на ее реплику, продолжил Фил, — на стенах юрты полки, и на каждой стоит наш старый ламповый приемник "Рекорд"! Батарейки кончатся — монгол едет в улус, везет новый приемник!

Он явно предпочитал, чтобы истории звучали его, а не чьи-то другие.

— Ну прям уж! — проговорила Ирина.

— На кухню, — приказал ей Фил.

Ирина, взмахнув хвостом, ушла, куда ее послали.

— А когда ж ты... в Монголии был? — пытаюсь нащупать основные вехи его бурной жизни, вскользь спросил я.

— Ну как... — спокойно ответил Фил. — Оттрубил, потом в Сибири работал — я же строитель! — а потом в Монголии, про-работом уже.

— Да... неслабо! — восхищенно произнес я. — Так сколько же тебе? — я пригляделся к его выдвинутому вперед, словно обсыпанному мукой лицу.

— А сколько дадите? — он гордо-шутливо задрал над плечом свой наполеоновский профиль, застыл с дурацкой важностью, как мраморный бюст.

— Ну... давай! — мы торжественно выпили.

— Мне про тебя первая еще Полинка сказала — помнишь Полинку? — мол, есть такой замечательный человек! — развспомнился он.

Полинка! Ну как же можно не помнить Полинку — мою первую, самую отчаянную любовь!

— А ты... откуда с ней? — ревниво воскликнул я.

— Сахадка! — он пошевелил в воздухе пальцами. — Так мы же с ней до второго курса вместе учились!

— С Полинкой? — воскликнул я.

Тут я вдруг увидел, что он склонился к моему столику-приемнику, и, побряхтывая, снял заднюю, картонную стенку.

— Да не надо! — со страстью, совершенно не соответствующей предмету, воскликнул я, — не надо! — я отодвинул приемник. — Давно уже не работает — бог с ним!

— Ладно... так и ходи! — сурово произнес Фил свою любимую, видно, присказку, властно отстранил меня, засунул свою маленькую белую ручку внутрь, по очереди покачал лампы в гнездах, потом воткнул вилку в сеть, нажал клавишу... сочный, ритмичный джаз потряс мою душу, и стекла, и стены!

— Потрясающе! Как это ты?

— ...Сахадка! — усмеялся он.

Единственное, что смущало меня, что он по-прежнему игнорировал свою даму — видно, вымещал ей за какой-то прокол — но сколько же можно?! Вот она гордо появилась из кухни с подносом, холодно расставила чашки, разлила чай.

— Смотрите — пар танцует под музыку! — воскликнул я, но они продолжали держаться отчужденно. — Ребята! — обнимая их за шеи, воскликнул я ( в одной руке плескалась рюмка с коньяком). Ну не ссорьтесь — я вас прошу! Так хорошо все, ей-богу! — Я стал сдвигать их головы, они с натугой сдвинулись...

Проснулся я почему-то в кабинете, на диване, абсолютно одетый. Окно было настезь распахнуто, и высоко-высоко в небе параллельно шли два невидимых самолетика, оставляя белую пушистую "лыжню".

Потом вдруг — явно у меня в квартире! — бухнула дверь. Прощел холодный сквознячок, осушая мгновенно выступивший едкий пот на лбу. Вдруг стали приближаться быстрые дребезжащие шаги. Сердце испуганно оступилось. Я попытался подняться, но почувствовал такую слабость и тошноту, что снова сполз.

Кто ж это ходит по моей квартире?.. Так у меня и двери же нет! — с ужасом вспомнил я. — Сколько же там человек? — я напряженно прислушался... один? Шаги продребезжали на кухню, слышалось сипенье крана. Странный грабитель — решил побаловаться чайком! — я усмехнулся, и сразу же голову стянула боль. Потом вдруг шаги стремительно приблизились. Сердце остановилось.

Дверь кабинета со скрипом поехала... Я героически поднялся навстречу опасности. В щель просунулся серебристо-грязный надувной сапог, потом колено в изжелтевших джинсах, потом поднос с чашками и, наконец, сияя железом зубов и лучась глазками, знакомая голова. Со стоном я рухнул обратно.

— Ну ты, зверюга беспартийная! — ласково просипел он. — Жив еще? Сейчас врежем чайку!

— Чайку? — пробулькала я. — А кофе нельзя? Там... кофе с молоком в банке было.

— А кофе с молотком ты не хочешь? — оскалился он. — Ты вчера так тут ураганил! Удивительно, что стены стоят!

—..Я?

— Ну а кто — я, что ли?.. Всем девчонкам по четвертаку!

Как — "девчонкам"? Я снова упал.

— Не помнишь? — он усмехнулся. — Ну, так и ходи!.. Ничего — я в свое время тоже ураганил, как зверь! Всю Сибирь заблевал, пока пить выучился. Но нам, строителям, без этого дела ни шагу!

На кухне засвистел чайник, и он, развернувшись, ушел туда. С колотящимся сердцем я кинулся к столу, выдвинул ящик — бумажник лежал сверху — вывернутый, пустой... Снова нашла слабость. Услышав приближающиеся шаги, я торопливо задвинул ящик.

— Ну ты, зверюга, — появляясь с чайником, произнес Фил. — Подниматься собираешься, нет?

Придерживаясь за стенку, я сел.

— Скажи, — сделав мизерный хлебок чая, решился я. — А ты случайно деньги мои из ящика не брал?

Некоторое время он неподвижно смотрел на меня.

— Взят! — сурово сказал он. — Ты так ураганил вчера, что все бы приговорил!

— Да понимаешь вот... на ремонт копил, — я обвел рукой обшарпанные стены.

— Ладно — сделаю я тебе ремонт! — хмуро произнес он. — Что я могу уж — то могу. Что не могу — говорю сразу! Сделаем в один удар. Я так хочу тебе сделать, как недавно в Москве у одного видал.

— А во что... это встанет? — хоть таким хитрым образом я попытался выведать, сколько моих денег у моего сурового друга.

— Что ты дергаешься, как вор на ярмарке?! — рявкнул он. — Не

бойся – на тебе не поднимусь! Без тебя есть, на чем подняться, а уж на друзьях – последнее дело! – презрительно проговорил он.

Пот тек с меня ручьем. Получалось, я допускал мысль о такой гнусной возможности – подниматься на друзьях!

С тревогой я чувствовал: он почему-то усиленно внушает идею о старинной нашей дружбе, о неразлучной компании, все входящие в которую до сих пор связаны святыми узами... Зачем-то это нужно ему... или просто для самоподъема?

– ... Да – и раковину бы, раковину! – вскричал я.

– ... Ты как японец – все кроишь! – презрительно произнес Фил.

Действительно, стыдно: человек с дружбой, а я с сантехникой! Позор!

– А скажи... очень плохо я себя вчера вел? – от весьма мучительной темы я перешел к другой, менее мучительной.

– Что значит – плохо? – сурово сказал Фил. – Как хотел, так себя и вел! Ты ж дома у себя, а не у тещи в гостях!

– Правильно! – воскликнул я, резко поднимаясь.

Тут стукнула дверь – из ванной в моем халате выплыла королева, роскошным движением закинула влажные волосы за плечо, уселась с нами.

– У Фила что нехорошо? – уже доверительно, как к своему, обратилась она ко мне. – Друзей никого нет – всех презирает! Теперь хоть, слава богу...

– ... Кто?! – испуганным взглядом спросил я.

– Как – кто? Ты же, дурачок! – ласковой улыбкой ответила Ирина.

– Вам бы, Ирина Евгеньевна, на рабочем месте давно пора быть! – прохрипел Фил.

– Алкаш ты чумовой! – она, как на пружине, оскорбленно вскочила, мгновенно оделась, подошла к двери, вернее, к месту отсутствия ее. – Ну, ты об этом пожалеешь! – мстительно проговорила она.

– Так и ходи! – рубанув ладошкой, произнес Фил.

Ирина выскочила. Для чего я тратился, покупал коньяк, отравлял себя – если все кончилось еще хуже, чем начиналось?!

Фил даже не глянул в сторону выхода, сидел абсолютно неподвижно, потом медленной, шаркающей походкой подошел к телефону, набрал номер.

– Здравствуйте, – отрывисто произнес он, потом долго слушал какой-то крикливый голос, не умещающийся в трубке. – ... Какие-то хадости вы ховорите... – брезгливо произнес он, двумя пальцами положил трубку. Уже фактически забыв обо мне, он хмуро наматывал шарф.

– Ты в контору сейчас? – поинтересовался я.

Он долго мрачно смотрел на меня.

– Пойдем, если не противно, – усмехнулся он, пожав плечом.

Как это мне может быть противно?!

Мы пешком двинулись к его управлению... словно полководцам, приближающимся к линии фронта, нам все чаще попадались следы сражения: разбитые дома, костры, перевернутые фуры. Какие-то люди подбегали к нам и что-то кричали. Фил шел медленно, опустив свой наполеоновский профиль, не реагируя.

По мосткам над канавой мы вошли в сырой колодец-двор разрушенного дома — без стекол, дверей и перекрытий. Откуда-то издали шли звонкие удары. Во втором дворе, возле маленького двухэтажного флигелька, где пахло гнилью оставленного без крыши помещения, из разрытой канализационной канавы, я увидел зрелище, поразившее меня в самое сердце. Небритый человек в берете и земляной рубахе огромной кувалдой разбивал белые фаянсовые раковины. Он ставил раковину вверх дном и звонким ударом разносил ее на крупные куски. Рядом уже была высокая гряда черепков. Молотобоец швырнул туда вновь полученные осколки, подтянул к себе новую раковину в упаковке, ломиком отодрал доски, поставил раковину в позицию и нанес зверский удар. Это совершенно необъяснимое, на мой взгляд, занятие Фила, наоборот, совершенно не удивило. Он сухо кивнул молотобойцу, и пружиня мостками над канавой, вошел во флигель.

— Детсадик тут делаем! — счел нужным объяснить он.

Молотобоец шел за нами, скребя молотом по земле.

На каком-то сооружении, похожем на покосившуюся столовскую раздачу, стоял черный мутный телефон.

— Завтра пойдешь к нему! — прижав трубку ухом к плечу, Фил кивнул на меня и стал шелкать диском, набирая цифры. Молотобоец не среагировал. И Фил, что характерно, моего адреса не назвал. Может, он считает, что я так популярен, что адрес не нужен?

— Аппликациями все обклеить хотим, — обводя рукой голые стены, произнес молотобоец.

— Лучше — облигациями, — продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил.

Молотобоец побрел обратно, и скоро опять послышались зверские удары, Фил снова накручивал диск. Я вдруг почувствовал, что причина всех наших блужданий в том, что Филу просто неохота появляться у себя на рабочем месте, где уже ждут, свернувшись, как змеи, груды надоевших проблем, а также несколько новых, заботливо приготовленных Иришкой.

Брякнув трубкой, Фил двинулся прочь. Я, как верный секундант, следовал за ним. Фил все больше мрачнел — видно, какие-то мысли все крепче одолевали его.

— Тысячу рам привезли, и все кривые! — с каким-то торжеством прокаркал бросившийся к Филу тип в плетеном строительном шлеме.

— Так и ходите! — прохрипел Фил.

Вестник, явно ликуя, удалился. Удивительное это свойство, которое, наверно, можно встретить только у нас: упоение масштабами разрухи. Поразительное злорадство, обращенное на себя, — пусть нам хуже, а все равно приятно! "... Что твои пятьсот миллионов! Тьфу! Вот у нас строили комбинат — девятьсот миллионов коту под хвост!" — рассказчик застывает в мрачном упоении, а собеседник буквально дрожит от нетерпения, чтобы выпалить данные об убытках гораздо более мощных! Да — трудно при таких настроениях быть с о з и д а т е л е м!

Мы вошли в контору.

— Филиппа Клементыча нет!.. Понятия не имею! — звонко торжествуя чеканила Ирина, и торжество ее было понятно: да,

мол, нет уважаемого начальника на рабочем месте, и где он находится, неизвестно — вряд ли по делу!

Когда мы приблизились, Ирина вскрывала почту и, нетерпеливо вспоров большой конверт с каким-то официальным грифом, быстро прочла бумагу, мстительно-удовлетворенно произнесла "Мгм" и тут увидела нас. Фил молча и неподвижно смотрел на нее, она же поднимала голову все более независимо и надменно. Господи, на что уходят силы!

Повернувшись, мы пошли по коридору — как сквозь строй: вдоль стен почему-то стояли женщины, причем исключительно с детьми, и ели нас глазами, как врагов.

— Дружок его, — услышал я сзади зловещий шепот. — С ним все средства и просаживают!

Я невольно дернулся. Мое какое-то слишком стремительное восхождение до ближайших друзей Фила несколько смущало меня. С а м шел молча, не реагируя. Ира, с полученным письмом в руке, скромно шла сзади. У самых дверей кабинета, положив руки на папку из кожзаменителя, сидел милиционер — судя по очкам с выпуклыми стеклами, из ОБХСС. С ним Фил поздоровался, но крайне сухо, и зайти не пригласил.

— Еще в апреле должен был детсадик сдать, а у него там конь еще не валялся, знай только керосинит со своими друзьями! — видимо, не в первый уже раз, но сейчас специально для нас прокричала здоровенная бабища с усами.

Отрубив гвалт тяжелой обитой дверью, мы вошли в кабинет.

Фил медленно прошаркал к своему столу, мрачно сел. Ирина торжествующей, почти танцующей походкой подошла к столу и прилепнула свежеполученную депешу прямо перед носом шефа — видно, в ней содержалась какая-то крепкая плюха моему другу! Да, видно, он немного пережал, и победительная его наглость, всегда приносившая ему успех, наконец вызвала бунт особенно страшный — женский: когда дело касается детишек, детсадика, тут тигрицы обретают невиданную отвагу!

Дверь со скрипом отворилась, и за ней показалась группа, опять же состоящая в основном из женщин, но с агрессивным старичком во главе.

— Комиссию вы вызывали? — обратился старичок к Ирине.

Ирина с некоторой опаской глянула на Фила, но потом надменно проговорила:

— Я!

Фил с ослепительной железной улыбкой поднялся из-за стола и направился к ним, как бы желая прямо на пороге обнять долгожданных гостей. Дойдя до двери, он взялся за ручку и яростно захлопнул дверь прямо перед носом комиссии. Комиссия, что интересно, больше не возникла — видно, с ходу направилась в вышестоящие инстанции.

— Спасибо, Ирина Евгеньевна! — усмехнулся Фил. — За мной не пропадет!

Ириша, оставшись без поддержки, чуть дрогнула, но заговорила еще более надменно:

— Скажите, Филипп Клементыч — а когда будут материалы для детского садика?

- ... Сегодня, – безжизненно обронил Фил.
- Вы уже полгода говорите – сегодня!
- Я сказал, сегодня, – еще более безжизненно произнес он.

Он медленно застегнулся – плащ он так и не снял – и уверенно двинулся к двери. Я неуверенно двинулся за ним... Видно, наступит когда-то этап, когда он займется и моими делами?

Баб в коридоре уже не было: видимо, вслед за комиссией умчались в верха. Остался только недвижимый милиционер.

– До свидания, – сказал ему Фил.

Не оборачиваясь, Фил (и я за ним) вышли прочь. У подъезда стоял синенький пикапчик. Из задней дверцы высунулся знакомый молотобоец.

– Я нужен, Филипп Клементьич?

– Кому ты нужен? – мрачно пошутил Фил. Молотобоец оскалился. Фил, сгорбившись, полез внутрь. Я тоже забрался... Наверное, на этом пути мне не светит ничего, но на других-то – тем более!!

– Куда, Филипп Клементьич? – оборачиваясь с переднего сиденья, спросил шофер.

– На склад, – веско обронил Фил.

– М-м-! – радостно-удивленно произнес шофер и захрустел рычагами. Видно, эта поездка была радостной неожиданностью, я смутно чувствовал, что происходящее как-то связано со мной, но как именно – не мог сообразить.

– Филипп Клементьич! – вежливо обратился к шефу молотобоец. – Японец звонил, завтра бой заберет, но ему нужно целых восемьдесят тонн!

– Так делай! – яростно рявкнул Фил.

Я, вроде бы, разгадал эту хитрую шараду: какой-то японец, как это теперь модно, скупает у нас всяческий бой и строймусор – и Фил со своими помощничками усердно поставляет его. Я только испугался, Фил с его неукротимым упорством превратит в строймусор все окружающее!

Примерно так оно и вышло. По обеим сторонам дороги шла абсолютно разоренная жизнь: разрушенные дома, какие-то задранные кверху ржавые конструкции – ну просто мечта японца, любителя утиля!

Вот мелькнул красивый, отдельно стоящий дом – может быть, в прошлом даже вилла – сейчас у нее не было стекол и крыши, а на крыльце красовался транспарант: "Опасная зона". Что значит "опасная"? Кто сделал бывшую зону комфорта и отдыха опасной? Для чего? Для того, может, чтобы скрыть от глаз все, что там происходит?

– Да... надеюсь... с японцем этим... официально все сделано? – выйдя из задумчивости, проговорил я.

– А наш шеф не любит официально! – проговорил молотобоец и гулко захохотал.

– Сниму с пробега! – сурово оборвал его Фил.

Мы зарулили в какой-то глухой двор. Спустились по лесенке под ржавым навесом к двери, обитой светлой жестью. Фил морзянкой застучал по звонку. Дверь тяжело отъехала, и мы вошли в

подземелье. Тут было все: импортные цветные газовые плиты, еттьме маняще белела сантехника, на грубо сколоченных стеллажах сверкали целлофановой оберткой невиданные обои. Был ли у этого подземелья другой вход, официальный? Очень сомневаюсь. Нас встретила тучная женщина в халате.

— Ну что, все худеешь? — дружески прохрипел Фил. Они похотали, потом скрылись в конторке, пошуршали какими-то бумагами, потом вышли, и Фил сказал:

— Грузите!

Сам он, что характерно, не грузил, дружески зубоскалил с хозяйкой — но и это, наверное, тоже важная деятельность, может быть, даже самая важная?

Мы погрузили восемь раковин, четыре унитаза, шесть рулонов линолеума, двадцать рулонов обоев, десять пачек дефицитного клея. Тут было много такого, что бы нужно было мне — но никакого обнадеживающего намека я не получил. Более того (и это очень встревожило меня), во время прощания хозяйка подошла ко мне и сказала с признательностью:

— Ну, спасибо вам, хоть детишкам садик теперь будет!

Странно!.. При чем здесь я? Что она хочет этим сказать? Ведь, надеюсь, все это сделано по безличному, или как это там? А вдруг, черт возьми, по безличному для них — но наличному для меня — за мои денежки? Я яростно глядел на Фила, но он сидел абсолютно непроницаемый.

Неужто я, кроме других глупостей в жизни, сделался еще и спонсором — чем-то это слово было мне неприятно.

Раковины ездили по кузову, били по ногам — я принципиально убирал ноги: не такой уж я друг детей, чтоб ради них еще и ноги ломать!

С какой-то незнакомой стороны мы неожиданно въехали в знакомый двор и остановились у флигелька, в котором, надо понимать, скоро зазвонят звонкие детские голоса. Я вылез из кузова и увидел, что засада переместилась сюда: тут были и исстрадавшиеся женщины с детьми, и члены комиссии во главе со старичком, и с виду неподвижный обэхээсник, который, однако, как в известной сказке про ежика, оказался тут раньше нас.

Фил молча, не реагируя, вылез из пикапчика, потом мы стали вытаскивать наши богатства и, пружиня мостками над канавой, как волжские грузчики, понесли груз в помещение.

Гвалт, поднявшийся в толпе, по мере все новых и новых наших ходок менялся со злобно-презрительного на восторженный. Первым ко мне (когда я стоял, тяжело отдыхаясь) подошел обэхээсник:

— Спасибо вам! Вы настоящий друг! — он стиснул мою руку, сел в свой зеленый, как кузнечик, "Москвич" и с облегчением умчался.

Я был в растерянности... чей я друг?.. Детей?

И тут хлынули женщины.

— Ну, спасибо вам... хоть один хороший человек!

Может, я и хороший человек — но как они-то об этом догадались?

— Федя! Дай дяденьке конфетку!



Федя, поколебавшись, залез в ротик и протянул мне обсосанный леденец. Я, растрогавшись, взял, положил в карман. Радостно гомоня, женщины со старичком во главе покинули двор. Было ясно, что в их жизни произошло нечто радостное и неожиданное, во что они уже не верили и устали ждать.

Фил деловито ходил над привезенным и записывал в блокнот.

— За что это... все меня благодарят? — спросил я его.

— Да это все лабуда! Мы тебе финское зарядим! — уходя от прямого ответа, Фил презрительно махнул на привезенные изделия рукой.

— А разве это.. не по-безналичному куплено? — вся яснее понимая горемычную свою судьбину, поинтересовался я.

— По безналичному ты себе... и гроба не купишь! — уже победно усмехнулся Фил. — Тут нужен счет по капстроительству, а зверюги эти открыли по капремонту — придется кроить! — он слегка виновато взял меня за рукав.

— А все это... разве нельзя было... за валюту купить... которую вам японец дает?

— Валюта наверх вся уходит! — прохрипел Фил. — Зверюги эти уважают валютку!

— А зачем... им давать?

Фил, чувствуя уже полную моральную победу, улыбнулся совсем широко.

— Ты говоришь — зачем? А ты думаешь, они хоть одну бумажку тебе подпишут просто так?

— Ну неужели ничего на свете уже нельзя по-честному делать?

— По-честному? — Фил оскалился, чувствовалось, я его своими наивными вопросами довел, наконец. — По-честному хочешь? Тогда бери! На твои деньги все куплено! — он, тяжело дыша, стал вдруг швырять прямо в грязную лужу передо мной рулоны сверкающих обоев, раковины, унитаза, один раскололся. — Бери!.. Детишки обождут!

— ... Да ладно уж... — вздохнул я.

— Валерки-ин! — он радостно сделал "козу". — ... Да не дергайся ты, как вор на ярмарке! — он перешел на суровый дружеский тон. — Все финское поставим тебе, сделаем в один удар!

... Да, здорово они раскалывают меня, как говорится, "в один удар"! Моментально, главное, вычисляют, на лету! Порой даже на огромном расстоянии! Помню, прошлой весной мне позвонил режиссер аж из Ташкента! — и с комплиментами и уверениями пригласил приехать для совершения, как он сказал, "одной деликатной миссии". Наслышанный о восточном гостеприимстве и к тому же находясь на нуле, я тут же приехал. Миссия, действительно, оказалась весьма деликатная — я должен был написать сценарий уже снятого фильма! То есть они три года снимали трехсерийный фильм — не имея сценария, рассчитывая, что "сообразят на ходу", и так досоображались, что в конце концов сами перестали понимать, что сняли! Кроме того, все эти годы они, видимо, очень неплохо жили — фильм, без всякой на то суровой необходимости, снимался на Черном море, в кадре было бешеное количество красивых баб, никоим образом не связанных с сюжетом, которого, кстати, и не было... Теперь на этом режиссере

висело несколько миллионов, а предъявить что-нибудь связное худсовету он не мог. Неприятности светили ему крупные — и спасти его мог только я! И тут он абсолютно был прав — ни в одном из городов нашей необъятной страны такого идиота не нашлось — пришлось выписывать из далекого Питера! Я в ужасе просмотрел показанный мне материал... кто-то — абсолютно неизвестно кто — входил в какие-то роскошные комнаты, выходил, танцевали какие-то пары... причем — ничего нельзя было ни доснимать, ни выкидывать — делать надо было из этого, разве что меня порядок эпизодов и придумывая слова под снятую мимику. Не скрою, такая сверхсуровая проверка моего воображения возбудила меня. Два месяца я сидел в плохоньком номере, оскорбляемый горничными, абсолютно, кстати, не сталкиваясь ни с каким восточным гостеприимством — и в конце концов сложил из этой мозаики довольно склалдную картину — я был доволен и горд. В день моего отлета растроганный режиссер сообщил мне, что, к сожалению, сберкасса в этот день закрыта, поэтому он, увы, не может дать мне обещанных денег. "Так, может быть, мне остаться?" — уже обреченно, уже все поняв, пробормотал я. "Зачем? — возмущенно закричал он. — Ты прилетишь — деньги будут уже лежать! Телеграфом пошлю!" Думаю, не надо объяснять, что деньги еще идут. Но — надо отдать должное ташкентцу — он хоть моих денег не отбирал, как Фил! А в принципе, все удивительно повторяется — какой характер, такая и жизнь! И если мир делится на две части — на обманщиков и обманутых, то мне все равно как-то приятней быть среди вторых!

— ... таварищ таракой, — вывел меня из прострации говорок Фила. — Фсе рапотаете, рапотаете, нато и отдыхать! — он манил меня из пикапа.

— Да нет, я пойду... Я уже как-то устал отдыхать.

— Да встряхнемся давай. К Ирише заедем. Хочу с ней крепко потолковать — пора на уши ее поставить!

— Не надо! — я метнулся в пикапчик.

— В контору! — захлопывая за мной дверь, scomандовал Фил.

Снова нас мотало на поворотах. Я как-то боялся, что отдых с Филом окажется еще тяжелей, чем работа. Фил гнусавил под нос лихой джазик, время от времени дружелюбно подмигивая мне — он был абсолютно уверен, что купил мою привязанность навсегда (причем, что характерно, за мои же деньги!).

Мы подъехали к конторе, стали вылезать. Все как раз дружными толпами выходили на обед.

— Мадам что-то не видать! — сказал Филу молотобоец.

— Видимо, говеет! — усмехнулся Фил.

Уйти?... Но мне кажется — когда я с ним, что-то все же сдерживает его!

И тут появилась наша Ирина — она шла с гордо поднятой головой, игнорируя нас. Рядом с ней крутился какой-то чернявый парень на высоких каблуках. Фил стоял неподвижно, глядя в землю, и у меня мелькнула безумная надежда, что он не видит ее. Но по той абсолютной неподвижности, с которой он стоял, было ясно, что он видел. Взяв себя в руки, она хотела было проплыть мимо, но в последний момент сломалась и резко подошла.

– Филипп Клементыч, я вам зачем-либо срочно нужна? – подчеркнуто официально проговорила она.

Он продолжал стоять абсолютно молча и неподвижно. Ситуация явно становилась напряженной. Это молчание и неподвижность пугали даже больше, чем шум и скандал. Проходящие мимо стали умолкать, останавливаться, с изумлением смотреть.

– Русланчик! Подожди меня, я сейчас! – ласково сказала она своему спутнику, несколько демонстративно прикоснувшись к его плечу.

Русланчик сделал несколько шагов и, не оборачиваясь, стоял.

– Ну? – прошипела она.

– На рабочее место, пожалуйста, – безжизненно проговорил Фил, указав рукой.

Ирина довольно явственно выругалась и, повернувшись, пошла в контору. Фил, абсолютно без всякого выражения на лице, шаркая надувными пимами, медленно прошел в свой кабинет, уселся за стол. Ирина, явно куражась, с блокнотом и ручкой подошла к нему. Фил молчал, не обращая на нее никакого внимания.

– Может быть, я все-таки могу пойти пообедать? – наконец, не выдержав, проговорила она.

– Будешь выступать – сниму с пробега! – еле слышно проговорил Фил.

– А что я такого сделала? – уже явно сдаваясь, проговорила она.

– Слушай, ты... Если бы не этот... слишком нежный паренек, – он кивнул на меня, – я бы сказал тебе – что!

"Ну что ж – хоть в качестве "нежного паренька" пригодился!" – подумал я.

Открылась дверь, и появился взъерошенный Русланчик.

– Иди, Русланчик, у нас с Филиппом Клементычем важные дела! – капризно проговорила Ирина.

– О! – привстав, радостно завопил Фил. – Вот кто сбегает нам за водкой! Пришлите червончик, – вскользь сказал он мне.

С какой это стати я еще должен оплачивать его дурь?.. Но я не мог больше видеть стоящего, как столб, Руслана – и протянул последний червонец.

– Ну вы даете, Филипп Клементыч! – вдруг расплылся в улыбке Руслан и, топоча, выбежал.

– Коз-зел! – вслед ему презрительно произнес Фил.

– А ты – человеческий поросенок! – кокетливо ударяя его карандашом по носу, проговорила Ирина.

Вскоре вбежал запыхавшийся Руслан, радостно отдал бутылку шефу. Шеф зубами сорвал жестяную крышку, сплюнул, разлил по стаканам.

– Я не буду, – сказал я, но он не среагировал.

– Филипп Клементыч, – деликатно прихлебнув водки, произнес Руслан. – У меня к вам производственный вопрос!

– Ты бы лучше о них на производстве думал! – усмеялся Фил.

– Но можно?

– Ну?

– Мы сейчас дом отдыха по новой технологии мажем...

— Знаю, представь...

— Ну — многие отдыхающие от краски отекают, их рвет... одному даже скорую вызывали...

— Это их личное дело. Дальше!

— ... Так мазать?

— Тебя конкретно не тошнит?

— Да нет... я уж как-то привык...

— Так иди и работай!

С ним все ясно. Там, где нормальный человек засовестился бы, заколебался, задергался — этот рубит с плеча: "Так иди и работай!". И все проблемы, которые других бы свели с ума — им решаются с ходу, "в один удар". С ним ясно. За это его и держат на высоком посту, и будут держать, сколько бы нареканий на него ни поступало, — именно за то, что он сделает все — даже то, чего делать нельзя!

Появился молотобоец.

— Филипп Клементыч... — он столкнулся со мной взглядом и слегка запнулся. — Так делать... для японца? — он смотрел то на Фила, то на меня.

— Иди и работай! — хрипло произнес Фил.

Молотобоец вышел.

Вскоре послышались звонкие удары — рушилось мое состояние. Фил был мрачен и невозмутим.

Ну все — я вроде был больше не нужен. Круг на моих глазах четко замкнулся. С чего начиналось все — с разбивания раковин — к этому и пришло. По пути я сумел успокоить Фила, матерей с детишками, обэхээсника, теперь обрадую ненасытного японца, а что я сам немного расстроился — это несущественно!

— Швыряло давай! — Фил кивнул на Иркин стакан.

— Поросенок! — она игриво плеснула в него остатками водки.

Больше я находиться здесь не мог. И даже как "нежный паренек" я уже абсолютно не нужен: нежность и так хлестала тут через край!

— Чао! — я двинулся к выходу.

Фил даже не повернулся в мою сторону. Может, ему был безразличен мой уход? Но тогда, наверное, он бы рассеянно кивнул мне вслед и даже бросил какую-то малозначущую фразу — но в этой полной его неподвижности, абсолютном безмолвии читалась огромная трагедия, неслыханное оскорбление!.. Он ввел меня в святая святых, распахнул душу (пусть не совсем стерильную), раскрыл методы работы (пусть не совсем идеальные) — а я свысока плюнул на все это и ушел. Как говорится: такое смывается только кровью! Ириша четко уловила состояние шефа.

— Конечно — когда не о его делах речь — ему неинтересно! — бросила она мне вслед.

Как это — речь не о моих делах? Ведь именно мои раковины сейчас в угоду японцу звонко разлетаются вдребезги! Парадокс в том, что Фил отдает их японцу, а если бы я отнял их — я отнял бы их у детей! Но — хватит! Еще помогать матерям с детишками я хоть со скрипом, но согласен, но поднимать своими скромными средствами и без того высокий уровень японской промышленности — пардон!

Я взялся за дверь.

— Да куда он денется! — хлестнула меня на выходе вскользь брошенная реплика Фила.

...Как это — куда денусь?! Да хоть куда!

Я вышел на улицу, в слепящий день. Водитель пикапа бибикнул мне. Я подошел.

— Садись, подвезу!

— Денег нет! — я сокрушенно развел руками. Опричники Фила мне тоже были как-то ни к чему.

— Да садись! — горячо сказал водитель. Я понял, что это зачем-то нужно ему, и сел. Поехали.

— А если шеф позовет?

— А! Он сейчас с места не стронется, будет пить до посинения — но зато на посту! Вечером — другое дело — вози его!

— А куда — вечером-то?

— По ресторанам — куда же еще? Сперва пообедем, всех зверей соберем, а после в кабак. Но все — мне это надоело уже: столик в салоне я отвинтил, — он кивнул назад, на пустое пространство между креслами. — Тут у меня они пить больше не будут! Сказал, что крепления не держат! Они нешто разберутся? И убрал. А то сиди жди их, пока они с кабака выберутся, а потом заберутся сюда, и на столик все вынимают из сумок! Раньше двух ночи домой не прихожу — жена уже разговаривать перестала. И главное: хоть что-то бы имел, хоть раз бы угостили бы чем, предложили — попробуй. Я может, тоже хочу рыбкой красненькой или икрой дочку угостить... Никогда! Сожрут, выпьют все, расшвыряют — "Вези"! После каждого еще до дому волокит! Все — распивочная закрыта! — он снова кивнул назад.

— И с кем... он тут? — поинтересовался я.

— С кем? Понятно, с кем — у кого все в руках! А им такой, как Фил, позарез нужен: при случае и посадить можно, а потом вытащить! Исполкомовские, да еще покруче кто. Вот уж действительно — нагляделся я на них в упор: свиньи свиньями! Нажрут до усеру, да еще баб норовят затащить! — он сплонул. — А те раковины, что вы оплатили, Гриня наш расфуячил уже, японцам отдадут — те из них какой-то редкоземельный элемент берут. А нашим — плевать! Но у меня тут больше они пить не будут — конец!

Мы свернули.

— А жена дочку в садик через весь город таскает, к ее заводу, трехлетку в полшестого приходится поднимать! А детсада нашего — как десять лет не было, так нет и сейчас... Дай им волю — они все разнесут!

... так уже дали им волю, подумал я.

— ...и в общежитии нашем до сих пор раковин нет на третьем-четвертом этажах!

— И у меня нет раковины! — вспомнил я.

— И у тебя нет? — он обернулся.

... Ремонт, который сделали мне ребята, встал мне ровно вдвое дешевле той суммы, которую у меня взял и не собирался, видимо, возвращать мой в буквальном смысле драгоценный друг.

Хоть мы теперь и не виделись с ним, я, как ни странно, все четче видел его. Водитель Николай, появляясь у меня по делам ре-

монта, каждый раз рычал, что опять до глубокой ночи развозил пьяных клиентов. Все они — и особенно рьяно Фил, требовали обязательной доставки их домой, в каком бы состоянии они ни находились. Дом, оказывается, для них — это святое!.. Выходит — тогда, заночевав у меня, Фил сделал редкое исключение?.. Как трогательно! По словам Коли, дома у Фила был полный порядок: квартира отлично отделана, три сына — спортсмена, красотка жена. Значит, дом его держит на плаву, там он отдыхает душой!.. но я как-то не верю, что жизнь можно поделить перегородкой на два совершенно разных куса.

...Сейчас он исчез, как бы смертельно обидевшись, что я бросил его, пренебрег его духовной жизнью (если можно назвать духовной жизнью то, что происходило тогда в конторе)... Одновременно, как бы всплыв из-за обиды, можно было и не отдавать и деньги... очень удобно! Но главное тут, несомненно, его оскорбленная душа! Мол — как только мои корыстные интересы не подтвердились, я тут же немедленно ушел, наплевав на узы товарищества. Примерно так он объясняет это себе... Версия, конечно, весьма хлипкая, и чтобы Филу поверить самому, что все рухнуло из-за поруганной дружбы, а не из-за украденных денег, ему все время приходится держать себя в состоянии агрессивной истерики: все сволочи, зверюги, к ним с открытой душой, а они!.. Жить в таком состоянии нелегко — я сочувствовал ему.

Только в невероятном напряге, раскалив до полного ослепления все чувства, можно проделывать такие безобразные операции, как он проделал со мной, и при этом считать себя правым и даже оскорбленным! Легко ли! И все для того, чтобы потом в грязном пикапчике глушить с крепкими ребятами водку, снова накаляя себя до состояния правоты?

Ежедневное преодоление непреодолимого, перепрыгивание всех устоев, может, и позволяет ему чувствовать себя человеком исключительным... но к чему это ведет? Может — и мелькнуло в день нашей встречи с ним что-то светлое — и тут же было разбито вдребезги, как раковина. Окупится ли?

А теперь ему особенно нелегко. Раньше он имел хотя бы утешение — марать меня — мол, знаем мы этих идеалистов... но теперь и этого (как столика в пикапчике) он лишен.

Казалось бы, при его образе жизни всякого рода переживания давно должны были исчезнуть — но он явно не был уверен, что взял надо мною верх, и фанатично продолжал разыскивать доказательства своего морального (или аморального) превосходства.

Одним из таких доказательств должен был быть довольно поздний его звонок, примерно через полгода после того, как мы расстались.

— Слушай, ты! — прохрипел он, даже без тени былой теплоты, словно я все эти месяцы непрерывно оскорблял его (а я и действительно, наверное, его оскорблял, даже не пытаюсь требовать с него деньги, ясно давая понять, что с т а к о г о и требовать бесполезно). Мог ли он это простить?

— Слушай, ты...

Далее следовало сообщение: все, что он обещал мне — он достал, причем финское, все ждет на базе, а сейчас мне надлежит

привезти в ресторан "полторы тонны" – а завтра безвылазно ждать дома. Я не сомневался, что судьба этих денег будет такая же, как у предыдущих... но что его снова толкало ко мне... неужели только ощущение безнаказанности? Да нет... наверняка его скребли сомнения, – что я не уверен в абсолютной его честности, в абсолютной его верности дружбе – и это бесило его. Желание доказать свое совершенство в сочетании с привычной необходимостью воровать и составляло главную трагедию его жизни.

Но все-таки хорошая закваска в нем была, раз он еще что-то пытался доказать. Именно мне-то и стремился доказать свою честность – всех остальных в его окружении не занимал этот вопрос, и тут вдруг – я. Может, я и был его последним шансом на спасение, Полярной звездой на фоне тьмы? И наверняка в общении со мной он тайно надеялся обогатиться духовно, а я обогатил его лишь материально и на этом успокоился!

Конечно же, с виду он суров – на любое подозрение ответит оскорблением, на нападение – зверским ударом, на обвинение – обвинениями гораздо более тяжкими... неужто уже нет хода в его душу? Похоже – единственный крючок, которым еще можно его поднять, – это крючок "верной дружбы", "дружбы, не знающей пределов"... Правда, этим крючком он тянет в основном вниз, на себя – но может, еще можно его поднять этим самым крючком наверх?

Что-то, наверное, все-таки сосало его, если уже больше чем через год он вдруг остановил у тротуара рядом со мной свой "Жигуль".

– Ну ты, зверюга – куда пропал? – распахнув дверцу, оскаллился он.

Все зубы уже золотые... молодец!

На заднем сиденьи маялся мужик, одетый добротнo, но без претензий.

– Клим! – пробасил он, сжимая руку.

– Из Сибири пожаловал! – усмехнулся Фил.

Значит, была у него потребность: показать, какие у него друзья? Выходит – не успокоился он: иначе зачем нужно было ему останавливаться, а не ехать мимо?

– Зарядил тут ему отель, приезжаем – фунт на рыло! – прохрипел Фил.

– Да чего уж там... уеду, если так! – пробасил Клим.

– Может – ко мне? – неожиданно проговорил я.

– Валер-кин! – Фил потряс меня за плечо.

Неужели все повторится?

Ленинград





Мне не отпущено ни дня  
в стране,  
        куда мне нет возврата.  
Она живет, как и когда-то  
во мне...  
И все же — без меня.

### О ВЕЧНОСТИ

Ты мучаешься?  
Неспроста,  
Никак понять не можешь,  
что все на свете — суета  
и эта мука — тоже.

Мы обратимся в прах и пыль,  
раз уж из праха вышли.  
Все после нас сладут в утиль,  
включая наши мысли.

И наши беды от ума,  
и наши передраги  
сгорят,  
как старые тома,  
на фабрике бумаги.

И как бы ни был ты весом,  
остаться в мире этом  
возможно разве колесом  
да микроэлементом.

Не вечна даже красота.  
Одна душа нетленна.  
Все остальное — суета  
в параметрах Вселенной.

### РЕШЕНИЕ

Тебе решать.  
Часы спешат.  
И медленно уходит гордость.  
Попробуй сделать первый шаг,  
не наступив себе на горло.

И ты ступаешь, чуть дыша,  
как будто бы идешь по волнам,  
К нему идешь...  
И каждый шаг  
Христовой верою наполнен.



Не вернешься к весне,  
подышав на стекло.  
Все дороги ко мне  
замело-занесло.

Поселилась зима  
у меня во дворе.  
Ни кола ни двора  
у тепла в декабре.

### ЗАГАДКА

Черных лучей тоска.  
Бельма звезд перемолотых.  
Можно ли отыскать  
тепло в глубине холода?

### ЗИМНИЙ БЛЮЗ

Песня,  
самая любимая моя песня —  
блюз города —  
речитатив бессловесный.

От холода  
я продрогший и синий.  
От голода —  
изнемог, обессилил.

Я в поисках  
однозначных решений,  
как в поезде  
без гроша в воскресенье.

На полюсе,  
от планеты отвинченном  
осколочком я лежу размагниченным...

### РУССКОЙ ЛИНОР (по мотивам Эдгара По)

Ночь.  
В сугробы грузно ели  
опустились на колени  
по велению метели.

И мерцают еле-еле  
полустанка огоньки.

Никого не жду.  
И все же  
на душе моей тревожно,  
словно кто-то вдруг коснулся  
невзначай моей руки,  
вынырнув из темноты...

Я подумал — это ты...

Поднимаюсь по ступеням,  
обгоняя сонмы теней,  
унимая дрожь в коленях,  
сердца шалого прыжки.  
Понимаю — несомненно  
все вокруг обыкновенно  
и никто не мог коснуться  
в темноте моей руки...

И на лестнице следы  
я оставил, а не ты...

Открываю дверь — и что же:  
все по-прежнему в прихожей.  
Только вот мороз по коже,  
отчего и не пойму...  
В комнате все так, как было,  
будто и не уходил я.  
Только тихо плачут стекла  
сам не знаю, почему...

А на столике — цветы,  
в туюске из бересты...

Кто принес их?  
Неужели  
ты бродила возле елей  
и коснулась еле-еле  
в темноте моей руки?  
Вряд ли это посторонний  
и не дух потусторонний,  
что таится в буераках  
или прячется в кусты...

Выходи,  
раз это ты!

Тихо шевельнулась штора,  
пробежал по стенке шорох,  
холодом из коридора  
вдруг пахнуло на меня.  
Полуночное ненастье  
распахнуло двери настежь,  
ворвалось в мою квартиру,  
дух и душу леденя.

Ветер это был.  
Прости.  
Я-то думал — это ты.

Париж



*Игорь ЯРКЕВИЧ*

## ДВА ПИСАТЕЛЯ

*Рассказ*

Вот американский писатель. Он любит жизнь и вообще славный, а русский писатель злой и жизни терпеть не может, потому что она с самого начала отнеслась к нему скверно.

Вот американский писатель. Он только что выебал служанку. Это еще ничего, ему надо спасибо сказать за то, что он не выебал жену, вторую служанку, слугу и собачку. Он может, потому что американские писатели только и делают, что ебут кого, а ничего другого они знать не хотят. Русский писатель не такой, русского писателя ебут постоянно другие, так как он беспомощный и никакой защиты от судеб у него нет. Поэтому как только взглянут на русского писателя, то сразу понимают, что он совсем неповоротливый, как ежик, и тут же начинают безнаказанно его ебать; и обижать. И унижать. С американским писателем так не поступают, ведь он сам кого угодно выебет, а с русским писателем, конечно, все можно.

Вот — американский писатель. Он добр и мягок, беспечен, прекрасно выглядит, хорошо воспитан, у него есть деньги. Русский же писатель всегда похож на ежика, которого только что выебли, причем все сразу, притом неизвестно за что. Он бессердечен, жесток, озабочен, опять не выспался, воспитан-то он воспитан, но лучше бы его вовсе не воспитывали. Денег у русского писателя нет, зачем они ему, он выше их, но если они у него даже

есть, то лучше бы их у него и не было, потому что русский писатель с деньгами ведет себя еще гнуснее, чем русский писатель без денег.

Если американский писатель собирается кого-нибудь угостить, то он говорит: "Деньги есть" — то есть у американского писателя есть деньги, чтобы угощать. Когда русский писатель собирается кого-нибудь угостить, то он спрашивает: "Деньги есть?" — то есть у русского писателя нет денег, чтобы угощать, и теперь вся надежда на того, кого русский писатель собирался угостить.

Американский писатель помолится в одном месте, а в другом месте высрется. Русский писатель где помолится, там, как правило, и высрется, а где высрется, там, скорее всего, и помолится.

Русскому писателю постоянно стыдно за те гадости, которые он сделал вчера, — зарезался, зарезал, напился, украл, сам не помнит... Американский писатель спокоен — вчера он только кого-то выебал, да и то по взаимному согласию.

Как-то раз американский писатель встретил несчастного ребенка. Так вот, американский писатель сразу дал несчастному ребенку гречневой каши и кока-колы, затем помыл, обогрел и одел, снова накормил и устроил за свой счет в престижный колледж.

Как-то раз русский писатель встретил несчастного ребенка. Ребенок громко плакал. Русский писатель долго объяснял ему, почему все благополучие мира не стоит одной слезы ребенка, затем отнял единственную игрушку и выгнал ночью на мороз в чужой незнакомый город.

Однажды один симпатичный юноша познакомился с русским писателем, так русский писатель сразу напугал юношу, затем избил и отобрал все деньги, якобы для того, чтобы водку купить, и пропал навсегда. А потом юноша познакомился с американским писателем, и тот пригласил юношу к себе в отличный номер, где они всего лишь приятно провели время.

Одна милая девушка случайно познакомилась с американским писателем, и он подарил ей цветы, варежки и часы. А потом она познакомилась с русским писателем, который ей ничего не дарил, но зато тащил в постель и каялся в том, что совершенно напрасно избил одного симпатичного юношу.

В один прекрасный день пожилая еврейская семейная пара пригласила американского писателя на прием, и все гости были очарованы и покорены изысканными манерами и глубокими знаниями американского писателя. На прощание американский писатель подарил всем по книжке американской литературы.

Та же самая пара пригласила на прием и русского писателя. И что же? Русский писатель вел себя отвратительно, за столом чавкал, потом сморкался в скатерть, плевал на пол, ковырял в зубах, весь портвейн из рюмок слил себе в стакан и сам его выпил, а на прощание потребовал от гостей купить по книжке русской литературы.

Американский писатель — циник и позер, "дерьмо" не сходит с его губ, но в глубине души он убежден, что красота спасет мир.

Русский писатель на каждом углу твердит, что красота спасет мир или уже спасла... Но когда русский писатель приходит домой и

включает электрическую плиту или зажигает газовую конфорку, то для него мир — большая сплошная хуйня.

Американский писатель постоянно в тонком аромате хороших вещей: одеколона, коньяка, греха... От русского писателя пахнет котельной, мусоропроводом и несостоявшейся поллюцией.

Русский писатель — трус, пиздобол и доносчик. Американский писатель отважен, смел, его ничем не испугать, он культурист и правдолюб.

Русский писатель коллекционирует справки по месту работы, американский писатель — таитянок и ювелирные украшения в форме черепашьих панцирей.

Американский писатель каждый день моет раковину и тщательно следит за порядком в доме. Русский писатель забыл, когда он последний раз убирал постель.

Американский писатель очень любит свою семью. Русский писатель уже убил двух своих жен, и по слухам, собирается сделать то же самое с третьей. На детях русского писателя живого места нет, потому что он бьет их каждый день чернильницей и грозит мясорубкой. У американского писателя две любовницы — манекенщица и журналистка. У русского писателя тоже есть любовница — собака Мурзик.

Американский писатель — умница, русский писатель — кретин в пятом поколении.

Американский писатель скачет на "мерседесе" в рай, русский писатель трясется на перекладных прямо в ад и еще кряхтит, что путь слишком долгий.

Американский писатель необычайно красив лицом; русский писатель весь в прыщах и занозах.

Американский писатель богобоязненный и глубоко верующий человек. Русский писатель из Библии помнит только одну фразу "Весна красна".

Американский писатель чист перед людьми как на духу. За русским писателем еще с колыбели тянется дружная вереница кровавых следов и поступков.

Американский писатель вводит член во влагалище легко и быстро, русский писатель долго и с трудом, нанося болезненные повреждения всему окружающему.

Американский писатель любит животных и флору; русский писатель обожает жопу, но не как место действия, а как состояние души.

Американский писатель как-то раз гулял со своими друзьями по цветущему весеннему саду, где все общество наслаждалось плавно текущей беседой. Потом все отправились в ресторан и там тоже наслаждались.

Русский писатель как-то стоял со своими друзьями в подворотне, где уверял, что ему якобы вчера заплатили гонорар в размере тысячи рублей ни за что, просто так — из-за уважения к его таланту. После чего все отправились нюхать клей и закусывать сухарями.

У американского писателя отличная память. Русский писатель давно все забыл.



Американский писатель – достояние и сокровище.

Русский писатель – чудовище и уебище.

Американский писатель умрет у себя дома в окружении близких и родных с видом хорошо потрудившегося человека. Вся Америка будет два дня рыдать и чахнуть у его гроба. Траурные ленточки на приспущенных флагах, скорбные лица, усиленные наряды полиции – такие вот будут декорации его ухода.

Русский писатель подойдет под забором в грязной канаве в обнимку с крысой. В этот момент вся Россия только вздохнет облегченно.

Теперь о гондонах. Русский писатель – гондон; американский писатель нет.

Дьявол, которому русский писатель подарил все части своего тела, обещал русскому писателю отдельную квартиру, но пока никак. А вот американский писатель живет в собственном трехэтажном доме с подземным гаражом, бассейном и негром Мулатом.

Русский писатель глазки протирает, американский писатель клювик прочищает.

Американский писатель – ангел, чудом спустившийся на землю.

Русский писатель – мучитель рода человеческого.

Но.. И еще раз но... Пускай русский писатель уродлив и его всякий обидеть может! Не этим он берет и привлекает, а совсем другим – своими персонажами, которые любят добро, а зло ненавидят, потому что персонажи русского писателя не могут любить зло. Стоит такому персонажу увидеть зло, как он моментально подбегает ко злу со всех сторон, хватая его за уши и титьки и начинает доить. Злу некуда деваться, и оно исчезает. Русские писатели уже практически очистили мир от зла, поэтому американские писатели вынуждены разыскивать его в самых тайных закоулках чуть ли не с лупой.

Тут самое интересное. Персонажи американских писателей абсолютно несексуальны, живых гениталий никогда в лицо не видели, а если и видели, то ничего не поняли, а если и поняли, то только в плане осуществления демократических свобод. Для американских лирических героев половой орган не представляет ни малейшего интереса, поскольку совершенно бесполезен в борьбе за права человека.

То ли дело персонажи русских писателей! Для них "хуй" – это хуй, а "пизда" – это пизда, потому что русские писатели принимают мир во всей его сложности и – Боже мой – они рады этому миру. У русских писателей во всех романах, повестях, рассказах и газетных заметках есть голое тело. А мат? О, русский писатель не может без мата, он с ним ложится и встает. Русский писатель никогда не боялся вставить в ткань своего повествования слово "жопа", а вот американский писатель при слове "жопа" десять раз содрогнется, потом напишет наконец "жопа", а в последний момент испугается и напишет – "сюртук".

Если американский писатель пишет слово "блядь", то в итоге он все зачеркивает и пишет "картошка", а если русский писатель пишет слово "блядь", то он ничего не зачеркивает и не скрывает.

В этом и парадокс – раскованный в жизни американский писатель в своих книгах напоминает сейф, застегнутый на все пуговицы и покрытый сверху черным одеялом.

То ли дело русский писатель! Пусть он жалок и смешон наяву, но зато какая прелесть его книги!

Как пишет американский писатель? Плохо. Вот так, например, американский писатель рассказывает о поездке в горы – я ехал в горах, и скользкая извилистая дорога звала меня вперед и вверх, к вершинам демократии.

А русский писатель никогда себе такого не позволит, русский писатель так и напишет – горная дорога, отдохни немного, Лермонтов, Гете, Германия, Италия, Пизанская башня, Господи, дай мне силы, и она никогда не упадет! Потому что русский писатель про поток сознания читал, и про метафору, и Джойса он читал, и постмодернизм он видел в гробу под Кремлевской стеной, потому что русскому писателю все это уже неинтересно.

А вот американский писатель ничего этого не знает, он только "Хижину дяди Тома" читал, и то не до конца, ему не до того, конечно, он все это время кого-то ебал, а вот русский писатель обязан много читать, потому что с ним никто ничего не хочет, даже дети, животные и трактористы обходят его стороной.

И про постмодернизм американский писатель ничего не знает. Ну, может быть, про модернизм ему еще и рассказали что-нибудь русские писатели по "Голосу Америки", а вот про пост американскому писателю откуда знать?

Вообще, если свести американского писателя и русского писателя, то, скорее всего, американский писатель отдерет русского писателя, но русский писатель будет точно сильнее литературно. Заключайте пари, господа, и делайте ваши ставки!

У американского писателя хороший запах, от русского писателя воняет козлом, потому что он никогда не моется, а зачем ему это? Он и так хорош, ведь романы русский писатель пишет значительно лучше американского.

Вот два романа.

Первый – американский. Называется – "Как один мулат сразу девять негров обманул". Роман, разумеется, о национальных проблемах, ведь все американские писатели (а все они или негры, или мулаты) пишут только об этом.

В большом негритянском поселке мулат только один. В конце романа негры хватают мулата и собираются сделать ему обрезание, чтобы он ничем не отличался от негров. И вот, когда нож уже занесен и вода доведена до кипения, выясняется, что мулату уже сделали обрезание давным-давно. Негры сгорают со стыда и проваливаются сквозь землю; мулат торжествует.

Откроем обычный русский роман. Женщина (почти девушка) никак не может найти себе достойного партнера. В конце романа ее спасает русский писатель, и они вдвоем уезжают в тайгу на острова, где русский писатель сочиняет свой новый роман. Все это происходит в изящном обрамлении политической и экономической суеты.

Такой вот русский писатель! Когда он идет, то земля дрожит под ногами и все живое в панике разбегается или мечтает только о том, как бы его поскорее выебать. Но зато он хорошо пишет. Когда же идет американский писатель, все только рады, все хотят ему дать, поэтому он и пишет, откровенно говоря, херово, потому что человек пишет хорошо только тогда, когда ему не дают, а кто и когда не давал американскому писателю? Разве что только в прошлом его воплощении, когда он был русским писателем.

Ничего, пройдут года, русские писатели соберутся и отделают американских писателей не только литературно, но и физически, и тогда будет небо в алмазах и наступит новая жизнь, совсем непохожая на прежнюю.

Москва



*Ирина ПУТЯЕВА*

# «О, В ЖИЗНИ ВСЕ ВЫСОКОЕ СЛАГАЕТСЯ КАК СТИХ!»

...рванув  
по утру  
колокол  
на каменной  
груди,  
под облака,  
где голуби,  
вот так вот и уйти:  
порушенной,  
несогнутой,  
лица не опустив...  
О, в жизни все высокое,  
слагается как стих!  
... и ангелы  
как лощманы  
сквозь душ  
кромешный хлам  
по улочке с колодцами  
вели нас  
в божий  
храм.

\* \* \*

Скажите,  
а здесь не занято?  
Можно тогда войти  
в звездные  
эти  
заповеди  
сбившемуся  
с пути?  
Я человек  
вселенной.  
Я из обычных  
глин.  
Нас обжигают  
вены  
жаркие  
до седин.  
Дело не в притяженьи...  
Господи,  
отзовись:  
жалкие наши тени  
просто  
не рвутся  
в высь.

\* \* \*

Королей квартет с усами  
не выходит даме трэф: —  
выпадает вдовий саван —  
белый траур королев.  
Лишь порой в лихую осень,  
в скорбном листопаде лиц,  
тянет, чопорность отбросив,  
стать последней из девиц.  
Раствориться в дымном баре,  
где тебя под пьяный гул,  
обнимая, как гитару,  
заласкает балагур.  
Стелишь простыни метелью.  
День ли, ночь ли — все едино...  
Одинокие постели —  
как блуждающие льдины.

\* \* \*

Отчего в лабиринте,  
сокрытом в груди,  
я не вижу  
обещанный свет впереди.  
Возносились  
в дантову пропасть постели —  
в плоть входящая плоть,  
точно поезд в туннели...  
Мы в минуты затмения,  
изменчивой ночью,  
как слепцы,  
постигаем друг друга  
наощупь.

\* \* \*

Рубившие с плеча  
под стягом кумача,  
как речки с диких гор  
вливались в общий хор.  
В их тексте многоточьем  
восставшие из праха...  
А площадь кровоточит  
непросыхавшей плахой.  
И точно высший знамень  
с низвергнутых икон,  
как полковое знамя,  
несется красный конь.  
Божится всадник раем,  
вторгаясь в спящий мир,  
и на трубе играет  
архангел Михаил.  
И грезится мессия  
за каждым звонарем,  
и вывеска "Россия"  
под красным фонарем.

\* \* \*

Не всегда мы были  
лживы.  
Мы любили крики чаек.  
Отчего, пока мы живы,  
душ своих не приручаем?

Если жизнь чего-то стоит,  
то и к смерти не придаться:  
умереть  
и попытаться  
сделать вид, что все пристойно...  
Будет свет настольной лампы  
птицей раненой кружиться,  
и никто не скажет:  
— Ладно...  
... свет гаси... пора ложиться...  
Но  
еще я верю в чудо  
и в друзей своих объятья,  
Ведь не выковал Иуда  
гвоздь для Божьего распятия...

Москва

## О ПРОЗЕ РУСЛАНА МАРСОВИЧА

Ни авангардом, ни арьергардом я бы прочитанное не назвал. Мне было интересно читать о жизни романтического героя (о том, что романтический, говорит уже и имя), о его существовании в мире современной жесткой реальности. Они почти противоположны, противопоставлены друг другу – герой и реальность, оттого и странность ситуаций, описаний, освещения (имею в виду странный свет, пронизывающий ткань этой прозы, как бы луч сквозь туман – как у Тарковского). Не от желания удивить изысками, а от произвольного смещения несомещаемого – героя и реальности. "Беспорядок окружал львуна с раннего детства. Грязь и убожество провинциальной жизни дополнялись ежегодным ритуальным ремонтом в львунском доме. С утра пораньше львун чихал и просыпался, привычно чувствуя на груди каблук человека, занятого побелкой потолка. Львун смотрел в окно с разбитой во время ремонта форточкой, смотрел в окно, заляпанное побелкой предыдущего ремонта и львун видел негатив ночного романтического неба с побелочными черными звездами, и мама львуна кормила его яичницей с цементной пылью..." и т. д.

Каблук человека, занятого побелкой, пронзая грудь Львуна, не может повредить ей. Львуну не будет больно: этот человек и он – из разных несомещаемых миров. Один – из эфемерного, романтического, невесомого. Небо не случайно названо прямо: романтическим. Ему, небу, замызанное окно и разбитая форточка тоже повредить не могут – они из иной, приземленной жизни.

Молодое поколение, к которому принадлежит Руслан Марсович, только потому и сохранило жизнеспособность, что противопоставило абсурдной жесткости бытия свое отрешение, свою подчеркнутую отдельность. Это не от гордости, вернее гордыни; это – из чувства самосохранения. Пронзительно-чистый звук – Львун – не имеет ничего общего с некрасивым, неблагозвучным словом: Жизнь.

Да, они такие. "Ах, почему молодежь не участвует в перестройке?" – недоумевают шестидесятники. Да потому что эта перестройка для них, как и этот ремонт: за ней небо. За ней. И каблук перестройщика – нечувствителен. Он – не из их реальности. Такие они.

А еще они культурны. Их материал сплетен из множества нитей, протянутых из времени во время, с континента на континент, от одной цивилизации к другой (даже если они сами этого не понимают). Стихи их набиты реминисценциями. По прозе гуляет эхо поэзии, слышны разные голоса.

"2000–1989" – вот двенадцать лет – вот время, когда буду говорить вам слова, когда буду в ваших глазах видеть себя отраженным – вот двенадцать зим. Не нужно пробора в волосах, не нужно тысячекратной мозаики: сквозь метель мы знаем – 12; мы чувствуем – 12; мы видим ясно: Возмездие".

Тут прокатилось эхо Блока. Но это явно, а есть еще и менее явные, более тонкие ниточки. И когда следом говорится о "бесчастном тринадцатом Риме" – уже целый букет, пучок ассоциаций.



Так что проза Руслана Марсовича современна не в том смысле, что авангардна (или арьергардна, как полагает Эпштейн), или что она — результат эволюции. Она современна потому, что совпадает с мироощущением лучших из поколения, которое самое молодое и самое свободное от наших советских вериг. "Лучшие из поколения, возьмите меня трубочом". Или Львуном.

Андрей Мальгин

Напутствуя этот текст, я открываю для себя не только нового прозаика Руслана Марсовича — я открываю для себя ряд. Не в том смысле, что за ним последуют другие, как за первооткрывателем, а в том, что весь этот ряд уже был (до него, после него, вместе с ним), а он этот ряд своим появлением обозначил, как бы назвал. Арьергард.

XX век и до сих пор не пережил XIX; может быть, лишь в 90-е, наши уже, годы он его доносит (в обувном смысле). В культуре XX века, при всем ее вандализме, неоценим, прежде всего, этот постлитературный опыт: после живописи, после литературы, после музыки... Она уже была, они уже были. Первоначальная, молодая, агрессивная, футуристическая реакция на "допотопность" воплотившейся до них культуры сменилась последовательной чередой авангардных школ, от дадаизма до абстракционизма, демонстрировавшими свое ускоренное желание быт. Апокалиптическая эта страсть все еще не оправдалась концом света, когда век накопил сам себя настолько, что у него появилась история и патриархи, в этой затянувшейся послевоенности все обрело частицу "пост" перед собою — поставангард, постмодернизм... — и это уже было. Борьба с "допотопностью" сменилась существованием в некой "послепотопности", будто апокалипсис уже был, а мы его не заметили. Между тем, валы авангарда еще не сосчитаны до девятого. Ощущение начала и конца у каждого поколения свое, как и сама возможность их выживания и осуществления. Не "допотопность", и не "послепотопность", а пре-потопность" в ощущениях нового поколения уже не проекция, не угроза, а чистый быт, в котором надо успеть пожить в самом нереволюционном, самом неавангардном, самом безусловном, в самом прежнем, допотопном смысле слова ЖИЗНЬ.

Может, именно в этом СПАСЕНИЕ, предотвращение потопа. АРЬЕРГАРД.

В молодых писателях ряда Р. Марсовича, при непредвзятой попытке их прочесть, вы обнаружите именно это привлекательное намерение жить, куда более древнее, чем напластование авангардных школ, ими преодолеваемых. Это та самая пресловутая хилая травка, пробивающая камень в тюремном дворе. Арьергард как юное течение воспроизводит свой цыплячий побег вместе с тем куском асфальта, который разрывает.

Сменяется (наконец-то!) сам повод литературы, слишком долго выразившийся в борьбе и самоутверждении. Онемевший, потерянный язык, тычась как кутинок, сменяет небо на небо. Язык в поисках назначения обретает утраченное происхождение. Кому доказывать это, как ни самим себе?

Смена повода... Не знаю, кому они что докажут, но надеюсь, что именно и не захотят доказывать, стремясь побыть, пожить, продлить. Жизнь требует промежутка для самовозрождения. Там видно будет. Начинающие теперь другие. Они продолжат жизнь, а не нас. Они не хотят нас судить, да не судимы будут.

Андрей Битов.



*Руслан МАРСОВИЧ*

# ЧУЖОЙ СУД

*Рассказ*

В этой безумной тропической семье, где родились уникальные виды – марсовый львун и летающая лиса, где был ковчег и школа трибунов – здесь теперь сирокко и цунами, простор, воля и раздел имущества.

Слушается дело о признании львунского образа – недействительным. Львунская защита отвечает прокуратуре: Господа присяжные заседатели! Товарищи заседатели народные! Уважаемые защитники и полужащитники! Львун закурил в четвертом классе – двенадцати лет – и это было чуть ли не единственное, что объединяло его с одноклассниками: на перемене или после уроков сбиться в круг дыма и смотреть друг на друга, делая большие глаза и важно-валяжные руки, пуская клубы пыли и вонь в морды соседей.

Не трогайте меня. Не подходите. Траур. Весь ваш зверинец соберется на похороны одной слепой богини...

Суд? Конечно, есть: и народный, и районный, и Кировский, но есть, как говорят, и высший суд, а, главное – есть еще внутренний, который, затравленно злобно озираясь, в правое ухо тщится вылезть и взглянуть на свет, и сказать, что дела твои злы, что дела твои под железной пятой, опускающейся ритмично и неминуемо.

А второй раз в жизни, товарищ Маузер, я закурил, получив ваше приглашение на суд. А предательство с когтями на крыльях подлетает и садится на "ветку молчанья". А шарик, товарищ Маузер, – летит.

На площади ветер меняет очертания мелкой плоской лужи. Мелкая плоская лужа тянется к фонарю, мечтая стать шаром. Мелкая, плоская, заколдованная, она вдруг видит себя в ветвях мокрых голых деревьев. И объем, и запах, и цвет — дарит она с высоты деревьев всем заколдованным сферам площади, которые кажутся себе мелкими плоскими лужами. Но кончается ночь и затихает ветер, и лужа падает на асфальт — мелкий плоский асфальт площади.

"Летела сова — веселая голова; вот она летала-летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела и опять полетела", — такая у львуна была присказка. "Я ехала домой", — такая была песня — и она звучала все долгое время сна-путешествия, но каждый раз, когда хотелось дальше, львун слышал лишь --- и фраза эта не то чтобы повторялась, но была и звучала как-то независимо ни от чего, и каждый кадр перпендикулярного сна сопровождался и "мною" и "ехавшей", и, главное, "домой", хотя все это вместе ни разу не было спето дважды. А сами кадры друг в друга переливались, но, в то же время, выделялись и по отдельности, каждый в своем цвете: львун на малиновой крыше пятиэтажки своего детства, львун на бирюзовой лестнице, львун на салатовой площадке, где когда-то была львунская квартира: и он смотрит в узкое деревянное окошко, и окошко покрашено в светло-зеленый, а вместо одной из дощечек висит слово "древесный" — совсем незаметно и скромно. Еще львун разговаривает с девушкой ордынского вида, которая в львунской комнате поливает чужие цветы. Львун все разговаривает, не понимая, о чем речь и почему здесь вместо двери окошко узкое, и откуда сюда прибилось на два гвоздика слово "древесный". "Что-нибудь да значит все это", — думает Львун во сне и старательно запоминает. "Я ехала домой", — заклинившая и заевшая — настаивает неизвестная, давая навыв фольклорного взгляда и сказовой неторопливости.

Мои львуны и львунчики дремали, положив лица на лапы, но внезапно был свет и движенье: из-за приоткрытой двери ринулось море, и я уже не знал, где я и кто я. Но ты сказала: "Домой".

Вот вам эксперт по чистым помещениям; вот специалист по отсутствию; вот его забытая метла — теперь уже он не вернется. И если ветер принес издалека обрывки маслянистой газеты, я знаю, кто ел эту рыбу, а кто диктовал эти строчки; кто — сумрак неминуемый, а кто — всего лишь метла-ленивка, движущая себя самовольно, самокатно и круто.

Из материалов пятой стены львунской лифтературы:

Знаки на уровне хвостов — это астроном в гастрономе, дилетант по жизни: льву-у-ун: "Поговорим, а? Поговорим о чужом. Поговорим о странностях чужого. Их примерно 360: еженошно. Глядя-на-ночь: сумрачно, душно. Еженошно опускает на нас свою метлу постороннее, чуждое. Гранитную свою шляпу — на наше плюшевое, шоколадное — все опускает."

На уровне бороды — раннее утро обозначится хрюком ведра, а дверь в сортир распахнется лихо и круто, а места ее развороту не хватит, и, впад в состояние стыда за человечество: Володя: будет ироничен или гневлив: "Разве я сторож? Нет, я дворник сестер и братьев моих!"

... Язык склонен к психопатологии, но речь — дама приятная и противуречья ее *не в лом*, в смысле — *по кайфу*: бисер стучится в створки: расскажите, расскажите мне о небесном...

"Lee" — разносится до краев. Ли! — поднимается над землей авосек и небосек. Ли! — где твои штанишки? потерял ли ты их? потерял ли?

Володя ходит в шортах. Володя ходит мимо. Володя гибнет постранично. Чтоб я так жил: чтоб ежедневно сомневался, кто ведет меня, кто говорит слова, кто речь мою забрасывает в "память природы". Делаешь шаг в сторону и — исчезает, и — испаряешься. Невидимую прозрачную сеть с балкона своего потихоньку запускаешь: Кто там? кто? там-кто? Российская-ли-корысть?

Условимся — "не жалею"; как бы — "не зову"; типа — "не плачу": плачу по отцовским векселям и науку не пользоваться надувательством при обмене чувствами, а, равно, и материальными средствами — осваиваю...

Львунский цитатник: эпитафопо-мания: мир полон соответствий.

Камень, лист, ненайденная дверь; о камне, о листе, о двери. И о всех забытых лицах. (Вулф)

А может быть, в это самое время какой-нибудь случайный прохожий, замороженный и в то же время испуганный — (Фицджеральд)

И вот мое лицо с его лицом на миг сквозь грохот когда из тьмы два освещенных окна в оцепенело уносящемся грохоте Ушло его лицо одно мое вижу видел а видел ли Не простясь (Фолкнер)

Тотчас же глаза перевел на рояль он. (Белый)

Погляди на небо, погляди на стены, погляди на бегонии. Сегодня опять понедельник. (Маркес)

Луна была на небе, полисмен на молу и акула в море. (Села)

... установить, как аксиому, что ... нет вообще никакого сюжета, так как один стиль сам по себе уже есть абсолютный способ видеть вещи.... (Флобер)

Гады проклятые, разве не видите — зонтик, рюмка? Не кантовать, мать вашу, не кантовать. (Аксенов)

Прости прости Зарезанное солнце (Аполлинер)

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? (Ерофеев)

Скоро круг вынесет меня со сцены, а я только и скажу из всей своей великой роли: "Лошади оседланы". Черт бы вас побрал! (Музиль)

Хвилищевский ел клюкву, стараясь не морщиться. Он ждал, что все скажут: какая сила характера! Но никто не сказал ничего. (Хармс)

Легко и свободно по воздуху мчится бесстрашный юнец на трапеции в цирке. (Сароян)

Темно, чуже; темно, страшно; темно — непонятно. Странное, неприкаянное движение. Куда ты, львун? Откуда? Странное мелькание за окном загородного автобуса. Может быть, это аэропорт — быть может, это космодром. Все видят фигу, потому — дождь.

Ну да, ты один, но ты не сам выбираешь дорогу, и неба твоего за тучами — не видать; невидаль; невидимое шепчет тебе свою печальную сагу о невернувших кораблях, о рассеявшихся в воздухе нашей картины самолетах, о всех грязно-оранжевых "Икарусах", везущих свой груз. Там чудеса, там в каждом — странник, похожий на львуна; для кого все это, для кого? Эти блики, эти вспышки, эта грусть железная, дорожная, когда взгляд твой — вперед и влево — где складываются, как в детстве, две картины: окно, за окном. Но пока ты ждал... только не волнуйся. Пока ты звал свой солнечного цвета "Икарус", там, на окраине... Пока ты, львуша, стоял, открыв рот, на остановке — случилось непоправимое.

— Сюда иди! Застегнись! Глаза на меня! Кто был здесь и ел из нашей чашки? Кто был здесь и говорил с тобой ласково? Кто был здесь и все поменял?

Голос из динамика с хрипотцой: "Откуда вдрюк эта беда? Ах, что-то случилось — пам-парам! Эх, что-то случилось — там-та-рам!" Ну не могло же — в самом деле — ничего не случиться — за все эти годы... Да, но почему они отняли именно это — именно "за окном". Ведь там, мохнатая твоя голова, было тепло, уютно, знакомо. Там о непонятном задавались вопросы, а теперь — оно уставилось на меня — не мигая, не улыбаясь, не спрашивая: бессмысленная череда столбов, потерявшийся длинный свет, от каждой кочки улетающий в небеса, которых не стало и без которых... тормоза, говорит мне облитый кефиром: тормоза!

Он задевает мне локтем по тусклому лбу, он хочет закрыть форточку, из которой каплет. Дождь — чтобы им не было стыдно за кирпичи с фигами. Дождь — чтобы ты вспомнил. Шофер пристально вглядывается в ритмичную фигу на ветровом стекле, пассажиры не скрывают от соседей своих собственных индивидуальных фигур в мешочках, и только нам с тобой, Вова, видно "стекловое ветро", только мы можем быть здесь, где таинственные узоры, а влево и вверх — безмолвный крест самолета, и, в то же время, — быть там, на корме, где вслед за автобусом — листья с саблями все бегут, задыхаясь, где закладывает уши — от взлетающего ковра-самолета: светает.

И вот мы уже как-то незаметно проскочили то время, в которое мечтаешь о безвозвратном совместном счастье, — поре надежд и грусти томной, темной, червивой — будущими находками, следующими загадками. Мне снился бедный кукольный город: стены его колыхались, как флаги; все люди его улыбались; небо его было затянато экраном славного приключенческого фильма — о

доблестях, о подвигах опять же, о Славе-киномеханике, о Славе-кукловодителе, о славе и счастье – без возврата. Слава будет судьей. Слава сядет за стол с зеленым сукном. Слава не простит.

Коль скоро тебе дороже тишина и уют; коль скоро ты хотел бы забыться и заснуть; коль скоро ты протягиваешь уже ладонь вперед, говоря: постойте, подождите, – значит, наше кино будет на уровне твоих глаз, значит, лес на горизонте не вырастет выше твоих бровей, значит, народный заседатель Вячеслав задаст тебе дежурный вопрос: где ты был? – когда рождались дети, когда взлетали ракеты, когда пелись песни. И разреши мне ответить за тебя трижды: ты лежал, уткнувшись в подушку, ты смотрел в угрюмое дырявое небо, ты жил-был.

Почему же в прошедшем времени? – спросят меня со скамейки запасных – на подхвате – судей. "Значение жизни Михаила Лермонтова таково", – будет ответ. Окаянная, мерзкая, глиняная плоть ищет наполнения, тоскует по ритму. "Если, конечно, вы когда-нибудь видели вблизи собственные глаза", – будет ответ. Мы недостойны того материала, который пошел на лучшее в нас, недостойны смысла, который откроется задним числом и умом. Декабристу без декабря, декабристу без декабристки – не будет пощады и оправдания от крыс, бегущих с его корабля – тесниться в судейском кресле. "О небесном!" И полузащитник-полуобвинитель Бисер будет слабо протестовать, демонстрируя чудо вознесения, но судья Крысер пристукнет его прикладом по голове: "Тишины!"

Обвиняемый: Мне 24, но я чувствую себя – на все 30. Наверное, каждый из шести лет, начиная с армии, – защищался за два; наверное, каждый второй – был високосным. И мне остается еще – два полных года – до той границы узуального времени, когда умрет Лермонтов, до того порога во времени духовном, когда проснется Муромец, и подведут ему коня, и снегурочка-декабристка махнет безнадежно платком. Безнадежно.

\* \* \*

Теперь почти былинные – коллективный агитатор – как поверите – неустанная забота – клюквенный сок – патриотический подъем – камера абсурда – вдохновенный труд – вместо чтоб поесть-помыться – ведущая роль – раздача слонов – доходы на душу – фиолетовый ветер – вдохновляющие слова – севрюжина с хреном – верный продолжатель – сумрак неминуемый – пламенный борец – неслышанная простота.

ЛИБО: В центре всех наших усилий должна быть поставлена мобилизация трудящихся на выполнение. Судьбы народа оказались – с настоятельной просьбой – ограниченный контингент – исключительно содействовать в отражении – ничего кроме презренья – некоторые круги за океаном – в бешенстве злобствуют – всестороннюю и бескорыстную.

Реальное воплощение принципа гласности всей системы – широкий демократизм законотворческого процесса.

Крылатые слова ЛИБО: "Широко шагает Азербайджан!" День планеты – уверенной поступью: Ханой, Пхеньян. Перспективы не радуют: Токио. Бонн.

Участники предвыборных собраний – твердая решимость – достойный вклад – успешное выполнение – ударный труд – лучшие представители – Тепло встреченный – Шараф заверил – рассматривает доверие – яркое свидетельство – нерушимое единство – единодушное одобрение – во главе с борцом за народное счастье – наш дорогой ЛИБО – 5 миллионов 762 тысячи тонн хлопка-сырца.

Назначена кошка. Кошка сказала "мяу". Мудрые слова кошки.

\* \* \*

Эпиграфо-мания: сканирующий луч.

Мне трудно объяснить, но какая-то религия рождается во мне. Это, скорее, внутреннее состояние, чем интеллектуальная позиция и убеждение – путаница чувств, которая медленно оседает в мысли. (Стринберг)

С костром во рту он рожден. (Томас)

Я родился в атмосфере обуздания, я таинственную пуповиною прикреплен к людям обуздания. (Щедрин)

Нашей конечной целью является фактическая реализация неравенства, то есть победа принципа качества. (Ровнер)

Человек – не стадное животное, а скорее животное орды. (Фрейд)

Ку-ка-ре-ку! (Суворов)

По-вашему, это картина мира?

По-моему, история болезни... (Рубинштейн)

За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни. (Чехов)

Господь предпочитает меня. (Терц)

Вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно, и каждый из нас – участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков. (Паскаль)

Бог готов ежечасно, но мы весьма не готовы. Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи. Бог у нас дома, но мы чужие! (Экхарт)

Ищите не веру, а меру. (Ефремов)

... на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога. (Хлебников)

... и вот они уже единое тело, но еще не осознавшее себя, не знающее, что оно странный предлог для туманной саги, которая, возможно, рассказывается напрасно или не будет рассказана вовсе. (Картасар)

Воистину всякий предъ всеми за всех и за все виновать. (Достоевский)

\* \* \*

Старт: первые метры беспроеигрышной гонки.

Старт: среди бегущих, среди летящих, среди всех движущих себя – лишь победители. Их узнаю по белым одеждам, их узнаю по отсутствию номеров, их не могу не узнать по камням, которые они



скрывают в своих золотых устах, в своих устьях без устали и страха.

Старт: энергия и воля, воля и концентрация.

В рождественском гадании на год мне были предназначены, предсказаны, предположены: скитания, срочная карьера и женщина, "о которой прекраснее молчать". Пройдет совсем немного, совсем немного – и метро настанет. Но пока я здесь, пока напряжение – 680, и главная линия – кольцевая, нужно запомнить эти пыльные переходы "сегодня": в метро грязно, в метро пыльно, в метро скучно и грустно.

Но есть в метро одна станция, которая не объявляется, которая расположена на мосту через "одноименную" гранитную реку, станция быстрых улыбок и вытянутых шей. "Володины горы": здесь раздвигаются стены, здесь мы узнаем о времени года, здесь видим ряд уютных окошек с позерами и скитальцами, торопящимися в тот коридор, из которого и сами мы оголимся лишь на секунды...

Чтобы изобразить, а не описать, боюсь, не хватит мне дыхания. Поэтому – вдох глубокий, губы шире: это зима, это лыжник замер в воздухе, а чуть выше – кто-то скользит в самолетной сандале на босу ногу, согнув "другую ногу" в колене (чтоб вы не перепутали: метафора), неторопливо скользит от тех мест, где Володя несет свою снежную строительную службу; где он дремлет, подняв воротник бушлата – в армейском грузовике.

И он вдруг открывает глаза – от мысли, простой и приятной: "Сегодняшний день я прожил не зря." И что такое "зря" – он не знает; он торопится записать свою "мысль"; он, рохля, думает, что придумал себе двухгодичное испытание. 24 месяца Володя посвятил осознанной несвободе, и грузовик развозил его каждое утро, как кирпич, как одного – ущербного, лишнего – из блока мыслящих кирпичей.

И вот он открывает глаза от своей залежалой мысли и видит бастион науки – чуть ли не освещенный прожекторами, в ореоле анти-сандальных красных огней. Представь озеро с утками, представь девочек-иностранок, посылающих воздушные поцелуи заспанному воину в позорном стройбатском треухе. Воин сдвигает шапку со звездочкой на неуставной затылок, воин открывает рот для изысканного английского комплимента, но грузовик встает на дыбы и прощально игогокает вслед удаляющемуся зеленому свету: это чурки, это дураки проклятые высовывают свой мясистый кирпичный язык, матерясь призывно, безнадежно, трехрядно; это тоска дорожная, кирпичная, пылью оседает на приблизительного воина, барахтающегося на заплыванном полу грузовика без шапки, но "с чувством дороги".

Потому что было впечатление, что этого безалаберного, этого придорожного – все время как бы за легкую ниточку кто-то потягивал сверху – из канав и обломов. Потому что и всем нам показалось тогда, что мы выпрыгиваем из-за бортов вонючего армейского грузовика. Дембельской весной Володя веселился в казарму при "бастионе", где и провел два года незаметно: изгнанник стучится в строку, не зная кода.

Код: упругие шаги по ступеням.

Код: взгляды с балкона высокого.

Код: банальные слова забытого языка.

"Идея! Идея?! Иде я нахожуся?" Тише, Володя, тише! Это жанр свиданий, это станция "Гора и мышь". Здесь новостройка, здесь львунский дух — здесь место вашей встречи. Вы в разных поездах, поезда в разных направлениях, и поезда здесь не останавливаются. Но раз в два года можно выбить себя из кирпичной стены, как зуб; можно выплунуть себя из моря языков — на кромку прибоя; можно размечтаться об "эгоизме вдвоем" — пока чужие лица не начнут проступать изнутри.

Раз в два года на том берегу неисповедимой реки. — Иль это только снится мне?

Раз в два года в сверхзвуковом воздухе с реактивным лыжником. — И клад и смысл, и образец полюбья.

Раз в два года: Поезда не спрашивают моего имени. — И сын всматривается в офицера кирпичных войск (швобода мысли), и отец видит преподавателя мертвого языка (швобода действий). И кто здесь сын, и кто здесь отец?

Ведь Володя нарочит и апломбичен: "Ссынуля!" Когда утром — в час дракона — львун исчезает полетать-поплавать, Володя спит и видит целлюлозный сон о приходе-на-смену: примкнутые штыки, чеканные лица, 210 решающих шагов: будущее наше великолепно и обильно, и длинно: лай, ласточка, лай!

Господи, неужели по этому олуху будут судить обо? Ведь он только записывает, высунув язык, львунский рассказ, только рисует буквы — и скушно, скушно поневоле: слабыми словами — о львунском кино. Да ладно уж, вернемся к баранам, к бисеру, — к университету: Экая нынче в Африке жара! — Жестоко ти есть противу рожна прати. Экий жираф изысканный все бродит у этого озера! — Почему здесь все звучит, как приказ? Такое странное время, как здесь. Мне нужен отклик, отзвук, отклик: "Уо-Уо" — Пора на север!

О небесном расскажите мне с кафедр, о небесном поведайте в аудитории поточной, о небесном — в мегафон, в матюгальник, в створки потолка. Здесь — не было осенних стройбатовских канав, но было *склизкости осюсенье*. Здесь — портяночная вонь околоточной диалектики вдыхалась грудью полной и вольной. Здесь Володя-львун — как поезда — разошлись-разминулись — Где.

Вздых: Чому ж я ни сокил?

Вздых: где мои штанишки?

Вздых: сломались крылья в саду у дяди Вани,  
у дяди Вани в саду — сломались крылья.

Кто мог что-то сказать ему, моему львуну? Он бесштанное, бессандальное — за плечами он.

Вовка-морковка заигрался в интеллектуальную р-революцию, в священную войну: воистину, всякий воюет с каждым за право раздавать имена, и смыслоутрата утрюмо носится в безымянном потоке — на своих порванных крыльях. Задницы мертвых языков сгустились над Володиной рекой, а он все считал свои маски, а он все ждал, что кто-то порадует бледным лицом за его попугай-

скую стаю: ну какой же я ам! — амбивалентный. Но львун — издалека уже: "По улице ходила большая крокодила. Она, она! — зеленая была."

Вовочка-пришмантовочка суетится по концертам, выставкам и вечерам, знакомится со всеми студентками-иностранками. И львун в загоне, и каждое утро — фонетика, фонатика. "На сегодняшней лекции мы продолжим завоевательные войны Римской империи" — А лингвистический дебил смотрит на протянутый ему язык — с ужасом: "Ай донт кноу, вот ду ю вонт от меня!" А львун — еле слышно: "Если много выпить из бутылки, на которой написано "знание", можно ослепнуть и онеметь."

Вовец-ездец: Сюда я больше не ездун, не ездок. Пусть дохлых языков исступленные проповедники трясут на меня перстами. Их Волга впадает в Хвалынское море, их овес кушают неуловимые ненужные твари... А на станции "Бастион" львун будет каждый раз спрашивать: "Чему можно научиться, кроме себя?"

И захлопывается окно, и стираются настенные фрески, и — это ли мой лыжник, его прощальный кивок?

Лифт: живет своей странной жизнью.

Лифт: везет меня, куда я не хочу.

Лифт: открывает свои двери внезапно и я не знаю, где; и я не успеваю выйти; и опускаюсь ли я или поднимаюсь — у кого спросить?

Заброшены крылья лестницы, забыты горные прогулки; наша клавиатура нажимает себя сама — и нет нам места на солнце, и нет нам покоя после того, что будет, и нет прощенья от сестры-ведьмы: где мы были, когда она решила прыгнуть с крыши? Мы старались уснуть, мы пытались видеть сон о нашем высоком тереме, о всех его гробах на колесиках, о всех винтиках, мечтающих о небесном.

Сестра плачет: могла разбиться.

Сестра смеется: забыла свое колдовство.

Сестра: совсем как живая... Это сказано запретное слово и все повторяется, как в ту ночь: сестра бьется об пол и превращается в лисицу, и собаки гонят ее до двенадцатого этажа — по лестнице; а по ступеням — стоят живые, плачут дети; а на последнем этаже собаки хватают лисий хвост, и лиса превращается, и смерть объемлет едущих в лифте по своим смертельным делам.

Лифт наш — время и место: пульсирующее внутреннее пространство, стремящееся к нулю: створки перед носом, стрелки за плечами: нету Карибских морей, нет хода к отраде, нет отрады. Ветер сестры пронизывает до костей, снег сестры падает сквозь: бог простит нас, что мы не поняли его мудрости, бог не обидится на три буквы, торопливо накарябанные на стенках лифта: будет еще черед нашему альпинистскому снаряжению; будет время забрасывать победный крюк на следующую ступень: гол.

Временное пристанище кочевой культуры: зря ждет меня моя лодка. Володя суетится между этажами, между временами, а у львуна вообще никогда не будет дома. Но Володи разводят свои костры на площадке перед лифтом, но соседи спотыкаются об Володины тазы с кашей: растет коллекция ключей и штанов: неуклонно увеличивается польза: третья несвобода сменяется седьмой

осенью: кто-то в тереме живет? кто-то в безотрадном живет? Никто не погиб без решения погибнуть. Никто не знает, кто такой Голяк.

Двигаться дальше, двигаться выше, двигаться быстрее: Приговор.

Вслушиваться в стыдливый топот рынка: Приговор.

Торопливо и сбивчиво: сбиваясь и задыхаясь: судите сами: Приговор.

\* \* \*

Эпиграфо-мания: в арьергарде.

Играя в парке, мяч я кинул — он

Еще на землю не упал. (Томас)

Поезд времени — это поезд, который прокладывает перед собой свои рельсы. Река времени — это река, которая тащит с собой свои берега. (Музиль)

Одно и то же место пути будет добрым для того, кто достигнет его, идя вперед, и злом для... идущего назад. (Минский)

В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный рокот... и мимо... промчался на всех парах обогнал его курьерский старого образца, отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди. (Пастернак)

Видишь — белое время пришло.

Зеленое — кануло в тень. (Диккенсон)

Глухо, под тяжким ночным мраком... стук копыт по дороге. Теперь уже не так глухо. Вот уже ближе к мосту: миг — мчатся мимо темных окон, тревогой, как стрелой, прорезая тишину. А вот они уже где-то далеко, копыта... умчавшиеся за сияющие поля — куда? — к кому? — с какой вестью? (Джойс)

А все наши вечера лишь освещают дуракам

Путь к пыльной смерти. Догорай, короткая свеча (Шекспир)

мы видим лес шагающий обратно

стоит вчера сегодняшнего дня вокруг (Введенский)

Поезд уволокивал время в черные пространства полей...

Полночь следовала над городом, неподвижная и черная. (Пильняк)

— Весна — поговорили мы.

Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

— Осень — попрощались мы. (Добычин)

\* \* \*

Хрустальное море движется изнутри.

Хрустальное море подкатывает к горлу.

Хрустальное море: молчи!

Как в Древней Греции, Володя протягивает любимой половину яблока.

Как в Древней Греции, море все плачет о своей любви к скалам.

Как у Льва Николаевича Толстого, — Володя с пафосом:

Те, кто шелестят рядом, накатываются, словно волны, диссоциируют с главным и важным. И вот ты должна плыть, выплывать наискосок, держа выше по течению, чтобы не снесло, а чайка с конвертом над палубой — для тебя ли? Бог весть.

"Вечор ты помнишь, ты помнишь?" — пристают ко мне самолеты. В каждом из них ты возвращаешься не ко мне, каждый из них дает тишине пощечину пухлой ладошкой — и я вижу ярко-красный отпечаток на одной лишь щеке, лишь на одной.

Оседают, темнеет забытая на ноябрьском ветру половинка яблока, что жаль. Ну, а другую половинку безутешный Володя уж не съедает ли? Молчи.

\* \* \*

С чужой виною — до великой стены; по весеннему, по льду — по фигу мороз; с чужой белою — за обломом — облом; с женой чужою — на общий, на светлый, на праздник. И будут танцы на грани, будут наши танцы на ночных улицах, да! — это только наши танцы под выстрелы.

Кандалы? Скованы! Раскуйте — кого? А сына моего. Как звать? Львун, львуша, львушенька! Вот ты и бежишь ко мне, не замечая стены. Тебя о ней не предупредили и ты спокойно *перескокиваешь* через, оставляя на ее дне свою сандалету, которой нет теперь цены, которая бесценна, которая — дорогая моя! — из июня в ноябрь — шаг ко мне, другой от меня — пусть продлятся наши странные танцы: чтоб синим по белому — как запишу, чтоб черным по белому — как запишется, чтоб с белого — в голубое: все стало, как я представлю себе...

Но девы звонят, в двери звонят; звери движутся вне распорядка — раскрыть его квад-квадратную тайну. Как самолет без ралара, он, оказывается, не может без речи, и речь его вхожа в некие области, где, наверное, разреженный воздух; где, может быть, надрезы пространства; где наверняка живет в своем полном блеске: наверняка.

И вот: отломать лицо у литературных часов и на кратком пути стрелки секундной поставить неутомимую когтистую лапу — соблазн. А часы как пруд, как графиня с синим лицом: все бежит она взволнованно в осень, все отставляет на бегу пальчики ив, и в волны падает заветное колечко, и в волны смотрит заплаканное лицо. Читаю плакучий Завет — апокриф от лица синей ивовой графини.

\* \* \*

И-я-хочу-сказать-тебе-пускай-ты-не-поверишь-но-знай-это-верно: Завтра суд. И львун с лисом не знают, как устроится все то, что они расстроили, как фортепьяно, и автор не знает, нужен ли он будет еще, или куда, куда его пошлюг: кто нас разберет, кто возьмет нас рассудить?

Встань, пожалуйста, у ржавой довоенной "эмки" на Радищевской улице. Смотри, как душа машины — уязвлена стала, как

листья лежат на месте ее мотора, как мусор уличный имеет Эмка вместо колес. И фары ее сняты, и руль потерян, и осень натекла уже на ее подавленную грустную голову: но эмкины стекла дрожат от чужих моторов, но любовь машины не меньше твоей любви, но никак нельзя – прошу убедиться – проникнуть вглубь (внутри?) любящей Эмы: прочь, непосвященные в страсти осенние! Хватайтесь за чужие талии, беритесь за судейские молотки. Все, что вам остается, это приставать с расспросами: что там было, как ты спасся?

Экие вы нетерпеливые! – Да не было еще ничего. Лис не смог вылететь – все сандали заняты, все сандали проданы. А мы с Володей и львунюм – компанейски – идем в странных запретных местах, где нам мерещился "шелковый шарф на шлем".

Два года назад – подумать только! – мы как-то неуклюже поцеловали Лиса: шелковый шарф был заливаем кефиром – мой любимый цвет! – и: вам не видать таких сражений. Все наши веревочные лестницы качались над кострами инквизиции, гладиаторские мечи скрежетали над головами грустных жителей, один из которых вдруг сказал львуню: "Рано или поздно каждый придумывает себе своего Володю, чтобы остаться надсудимым, чтобы стать предпоследним: вель завтра – суд, не забудь."

Москва



Татьяна ПОЛЯЧЕНКО

# ЕЛЕНА

Поэма

"Погоди, ужасное круженье!  
Дай нам память слабую собрать!"  
Н. А. Некрасов "Плач детей"

## Часть I

Он сочиняет длинные романы,  
которые охотно издают.  
Он любит аккуратность и уют  
и часто ездит в западные страны.  
Хорош собой, плейбой и супермен.  
Как звать его? Не важно. Он – НН.  
Не пьет, не курит, мало говорит,  
два раза был женат, но без потомства.  
Все ладится в сульбе, все удается,  
и лампа над машинкою горит.  
Он выдает в неделю по листу,  
в издательство, в пространство, в пустоту,  
никто его романов не читает,  
и тает жизнь, так осторожно тает,  
как карамелька мятная во рту.  
Но раз в году, в единственную ночь,  
он гасит свет, закрывшись в кабинете,  
и легче воду в ступе растолочь,  
чем разглядеть в холодном лунном свете  
заплаканное дикое лицо.

А впрочем — здесь неправда налицо:  
нет тех ночей — ни раз в году, ни реже.  
Машинки стук, каретки легкий скрежет,  
холодный душ и чистое белье.  
Нет, он не вспоминает про нее.  
Да и зачем? То прошлые дела,  
там пустота — ни выходов, ни входов.  
Она, его Елена, умерла  
случайно, говорят, во время родов.  
С ума сойти — ей было двадцать пять!  
Ребеночка сумели откачать...  
И нет ее, как не было. Конец.  
Воспитывает мальчика вдовец,  
и, говорят, уже успел жениться...  
Что ж раз в году с писателем творится?  
Закрывшись в кабинете, член СП  
в воспоминаньях, будто мышь в крупе,  
и страшно вспоминать ему, и сладко  
о ней. Однако надо по порядку.

Его тогда не очень издавали.  
Был молод, с кем ни попадя дружил,  
для денег исключительно служил  
спецкором при одном большом журнале.  
Потом пошли романы, но вначале  
он досыта поездил по стране,  
и чуть не захлебнулся во вранье  
о всяческих успехах и победах,  
и чуть не обожрался на обедах  
обкомовскою водкой и икрой.  
Он быстро обрастал сухой корой,  
а под корой душа, как древесина.  
В пустой ночи, в гостинице, в глуши  
все повторялся сон, что он — осина  
и маленькими листьями шуршит.  
Бывало, от усталости порой  
мерещился ему его герой  
не на трибуне, не в пиджачной паре,  
а в подворотне с "фомкой" воровской.  
Дышала перегаром и тоской  
до нитки обворованная область,  
и он писал про трудовую доблесть,  
обильный хлеб и тучные стада.  
А кто тогда был честен, господа?

Кому вранье — позор, кому — игра,  
кому оно — любовь, кому — работа.  
Эх, водочка на кухне до утра,  
да правды соль на хлебе анекдота...  
Вранье — ледок, а правда — полынья.  
Так жили мы — ни возгласа, ни стона.



Печатали вранье. Пуды вранья  
меняли на Дюма и Сименона.  
Шумит в душе полынь и лебеда,  
иши-свищи сегодня виноватых!  
Краснели города не от стыда,  
а утопали в лозунгах-плакатах.  
В углах и тушиках родной страны  
загадочные высились скрижали:  
мол, граждане, спасибо – нет войны,  
мол, граждане, спасибо – не сажают.  
НН молчал, и самиздат читал,  
и очерки отстукивал прилежно.  
Отец его червонец отмотал,  
но у отца была еще надежда  
на хлеб, на соль, на дом родимый свой,  
на то, что хоть калека, да живой,  
на то, что вот – ни лагерь, ни штрафбат  
его сыночку нынче не грозят.

Сын странно жил. Не верил ни во что.  
Он забегал в распахнутом пальто,  
ел на ходу, названивал куда-то,  
посверкивал зрачком холодноватого,  
шутил и чмокал в щеку, исчезал  
в аэропорт, в Домжур или в подвал,  
на рок-концерт, на диссидента-барда,  
на выставку крутого авангарда,  
где монстры, с мертвецами корабли,  
селедка, водка и газета "Правда",  
но более от Босха и Дали...  
Фарцовщики, гранд-дамы, хипари,  
бородачи и кожаные куртки,  
московские богемные ввали,  
дантисты, дорогие проститутки,  
классический французик – же ву при,  
киношные потасканные франты,  
а также отъезжанты, отказанты,  
портнихи, экстрасенсы, стукачи,  
воздушные старушки-травести,  
подвальных вернисажей ассорти,  
российский Вавилон, кричи, шепчи,  
клубись, как дым, ворочайся в ночи,  
гоняй чай, баранками хрусти,  
и пропадай, и Бог тебя прости.  
НН сидел на кухне у плиты.  
Какой-то бородач с ним на "ты"  
о Гессе говорил, не умолкая.  
Она вошла. Она была такая...  
В каких ночах, в каких высотах жутких,  
в космической утробной черноте  
слагается лицо – черта к черте,

и времени живого промежутки  
в пульсирующий лепятся комок?  
На колесе — светящаяся глина,  
и кровь, и крик, и в узел — пуповина,  
от вечности на память узелок.  
Черта к черте. Случайность? Неизбежность?  
Вот жизнь тебе, а вот тебе и внешность.  
Кому не важен собственный портрет?  
Кто к зеркалу не льнет в семнадцать лет,  
сто раз на дню — то в мире с ним, то в ссоре,  
то мил, то мерзок самому себе,  
то незаметный прыщик на губе  
вдруг вырастает до размеров горя,  
а то в душе разыгрывают драмы  
объем груди и веса килограммы.  
Кто скажет, что все это ерунда, тот не бывал девицей никогда.  
(Пространных рассуждений — сколько строк, —  
вычеркивать мне, что ли, их, проклятых?)  
Итак — Елена: джинсы, свитерок,  
пай-девочка конца семидесятых.  
Разумница, красавица-девица,  
строптивая единственная дочь...  
Болтай, дурачься, головы морочь,  
не приведи, Господь, тебе влюбиться  
в того, кто молча встал перед тобой  
на кухне, будто лист перед травой.

Она вошла и сразу же влюбилась.  
Он ей сказал: "Садитесь, пейте чай", —  
и поглядел в глаза ей невзначай,  
и сердце у нее остановилось.  
Ох, эти мне кухонные романы!  
В гостиной бы, при розах и свечах,  
под тонкое дыханье фортепиано,  
с темно-вишневой шалью на плечах...  
Подумайте, кто мог тогда предвидеть  
кухонную любовь, жилищный кризис!  
Века проходят, граждане, века.  
Плита, клеенка, запах чеснока,  
отчаиваясь, путаясь, мужая,  
пока там разберешься — что к чему,  
по лестнице прокуренной, во тьму  
уходит жизнь — спокойно, как чужая.  
Вот — ледяное лунное пятно,  
вокруг — ни зги, ни звездочки, ни точки.  
Ты ставишь Битлс. В открытое окно  
ты куришь в темноте в ночной сорочке.  
И все в твоей судьбе не по тебе,  
и нечто представляется тебе.  
И век чужой, и дальние края,  
и жизнь чужая — краше чем твоя.

Давай без романтических затей  
подумаем о собственной — твоей.  
Красавица-девица, некрасиво  
родителям сказать в семнадцать лет:  
"А я вас, дорогие, не просила  
меня производить на белый свет."  
Имея положение и связи,  
родители пекутся об Инязе,  
внешторговом добротном женихе  
и прочей неприличной чепухе...  
Вот, подпевая "She is leaving home",  
Елена вспоминает, как пешком  
прошли от Патриарших до Тверского.  
Присели на скамейку на Тверском.  
Он что-то говорил. Она ни слова  
не понимала. Вздрагивал фонарь.  
Накрапывало. Где-то пьяно пели.  
Пустой бульвар, октябрьская хмарь,  
газетный стенд, скамейка, запах прели,  
озноб, к затылку сбившийся платок,  
и падающих листьев шепоток.

Тут следует развитие романа,  
красивого, с обманом, без обмана,  
с цветами, с целованием руки,  
пылающие очи, речи, ночи,  
фата и "волга" с пупсиком. Короче,  
Елена удавилась бы с тоски,  
когда бы вышло так на самом деле.  
Но вышло все иначе. Две недели  
жила она в классическом бреду..  
То плакала, то пела на ходу,  
то, в пустоту уставясь отрешенно,  
из рук не выпускала телефона,  
была бледна, не ела, не спала,  
гудели в голове колокола,  
и гулом, как волной, сбивало с ног.  
Двенадцать ночи. Тишина. Звонок!  
Не приходилось вам до потолка  
взлетать от телефонного звонка,  
чтоб комната дрожала дрожью мелкой;  
разбить плафон, измазаться побелкой,  
и, локоток легонько разодрав,  
усесться наконец на книжный шкаф...

Он позвонил со скуки. Десять дней  
в бездарной проторчав командировке,  
за очерк сел, застрял на заголовке,  
и делалось час от часу тошней  
от фразочек, слетающих с машинки.

В безропотной, конфузливой глубинке  
отгрохали химический завод.  
Теперь там в речке рыба не живет,  
со смертною тоской глядит природа  
на мощь индустриального уroda,  
а надобно писать наоборот:  
"Да здравствует химический завод!"  
Конечно, он напишет – не впервой,  
но скучно до чего – хоть волком вой!  
Он потянулся, он зевнул в кулак,  
и позвонил Елене – просто так.  
– Алло, Елена? Здравствуйте, Вы спали?  
– Ну что вы, нет! А впрочем – да, спала.  
– Простите ради Бога. Не узнали?  
НН вас беспокоит. Как дела?  
("Болван, какие могут быть дела,  
когда я твоего звонка ждала"), –  
подумала Елена и сказала:  
– Ах, это вы? А я вас не узнала.  
Вы так всегда звоните по ночам  
полузнакомым дамам и девицам?  
Вам что, НН, не пишется? Не спится?  
Вам скучно? Вы устали? – Он молчал.  
Потом сказал внезапно: – Ладно, бросьте,  
давайте лучше – приходите в гости.  
Жду вас на Маяковке завтра в пять.  
Спокойной ночи. Сладких сновидений! –  
повесил трубку и улегся спать.  
Но не уснул и думал о Елене.

Признайся же, НН, на самом деле  
о ней ты думал эти две недели,  
отмахивался, злился без конца,  
но все-таки Еленина лица  
ты позабыть не смог ни на минуту.  
Ты гнал долой горячку эту, смуту,  
и мрак и свет, и оторопь души.  
Ну что же ты, НН, живи, дыши,  
потом уже никто и никогда  
тебя любить не будет, как она...  
На темной кухне капает вода,  
и первым снегом веет от окна.  
Спит мой герой, и сон спокоен, крепок,  
дыханье ровно, и лицо, как слепок.

Я не люблю начало ноября.  
Вот сумерки. Еще ни фонаря,  
и дождь, и снег, и слякоть под ногами.  
В час пик ползет зигзагами, кругами  
толпа по магазинам от метро.

Свистит дежурный милиционер,  
рев, толкотня, и кто-то под ребро  
заедет твердокаменным портфелем,  
и кто-то на кого-то наорет,  
и чьей-то шапки вздыбленный мохер  
залезет в рот. Шажками, еле-еле,  
вниз, вверх, на эскалатор, в переход  
ползет толпа, как фарш из мясорубки.  
Дубленки, телогрейки, куртки, шубки,  
над ними лица, лица без конца,  
ни одного счастливого лица...  
Из-под бровей насупленных на это  
глядят глаза железного поэта.  
По черным ледяным его щекам  
стекает дождь со снегом пополам,  
и ресторан "София" перед ним,  
а за спиной – ресторан "Пекин".  
В надутой финской куртке до колен  
у ног его Елену ждет НН.

### Часть II

Сюжет сгорел и душу пережег.  
Прошло полгода и теперь осталась  
бессонница, да нервная усталость,  
да на столе от чайника кружок.  
Как он меня, однако, доканал!  
За каждым поворотом караулил,  
рябил в глазах, глядел из всех зеркал,  
мелькал в толпе и спину мне сутулил  
у пишущей машинки по ночам,  
пасть раскрывал, как пойманная щука,  
не издавал ни шепота, ни звука,  
вращал зрачком и бешено молчал.  
Я поживала тягостно и немо.  
В столе тревожно охала поэма,  
а я все шила, да обед варила,  
по слякоти ходила, да по льду.  
Вот мимо Маяковки раз иду,  
гляжу: о Боже, что я натворила!  
Смеркается, и мокрый снег идет,  
а мой НН стоит, Елену ждет.  
Стоит полгода, а ее все нет.  
А где сюжет? Да вот же он, сюжет:  
Вот выплыл он, как месяц из тумана,  
вот вынул он свой ножик из кармана.

... Тут увидел НН издалека  
заснеженный овал ее платка,  
надменное и легкое в овале  
лицо. Такие лица рисовали  
когда-то на полях черновиков  
любовных романтических стихов.

Товарищи, ну как могло случиться,  
что не перевелись такие лица,  
когда стреляли именно по ним,  
чтоб вырубить под корень, чтобы дым  
развевался, и след простыл навеки?  
Несли их в трюмах северные реки,  
телячьи вагоны, "воронки"  
в небытие. Не вскрикнув, не заплавав,  
лишь до крови кусая кулаки,  
все ж выжили в вонючей тьме бараков  
всем классовым законам вопреки.  
А если — нет, и души отлетели,  
то все-таки остались тени, тени.  
В кровавых исторических болтанках,  
в Тобольске, Магадане, в Костроме,  
во Пскове, в Алма-Ате, на Колыме,  
в лефортовых, бутырках и таганках,  
сквозь страх и синяки, из черноты,  
светились в доходягах, оборванках  
волшебных русских барышень черты.  
... И грязь, и снег, и давка — это пена.  
Из пены — посмотри: идет Елена.

Тут, собственно, и начался роман.  
Такси летело, ставилась пластинка  
(ну, скажем, Моцарт). Далее свеча,  
шампанское, и медленный туман,  
от взвизга телефонного заминка,  
щекотное от шеи до плеча  
скольженье губ, и свитерок на стуле,  
ну, и т. д. Потом они уснули,  
и оба были счастливы вполне.  
Елене снился сон, и в этом сне  
она была средневековой дамой.  
Вздымался темный замок у реки,  
бойниц прямоугольные зрачки,  
камины, гобелены, гулкий мрамор,  
и карлики, и шут с печальным взглядом,  
и заговоров жуткий шепоток,  
и может быть вина любой глоток  
последним, ибо мастером по ядам  
слывет враждебный герцог. Но война  
внезапно прерывает козни свиты.  
Кровь, топот, звон мечей, и все убиты,  
и бродит дама бледная одна...  
ужасный сон, проснуться бы пора.  
Пол трескается, трещина змеится,  
ступени, запах заднего двора,  
бадья... И, наклонившись, чтоб умыться,  
Елена видит, что вода красна,  
что кровью до краев бадья полна,  
глядит в бадью, седеет на глазах...

НН проснулся оттого, что "Ах!  
Ах, Боже мой!" – Елена прокричала.  
НН зевнул, поправил одеяло  
и вновь заснул. На улице светало.

Опомнимся, читатель дорогой.  
Судьба, как кошка, выгнулась дугой,  
к прыжку готовясь. Что ж, моя Елена  
так ветрена была, так легковерна,  
без всяких церемоний – да в кровать!  
Они могли бы хоть поворковать,  
да мало ли возможных вариаций?  
Она могла рыдать, сопротивляться,  
он – умолять и руки целовать,  
и клясться в вечной верности до гроба,  
но влюблены и пьяны были оба.  
И где она могла узнать, прочесть,  
как, собственно, беречь девичью честь?  
Нет, помнится, такое что-то было:  
к ним в школу фельдшерница приходила  
и, с девочками в классе запершись,  
вела урок про половую жизнь.  
Бубнила по тетрадочке потертой  
о сифилисе, о вреде абортот. . .  
Елену это мало волновало,  
она сидела рожи рисовала.

Вопрос постельный, как любой вопрос,  
у нас решен надолго и всерьез  
(хоть в нашем языке на сей предмет  
словечка непохабного-то нет).  
У них там проституция, стриптиз,  
публичные дома и порно-бизнес,  
они там совершенно развратились,  
а мы сплутились, силой налились.  
У каждого есть кров над головой,  
давно на всех хватает манной каши,  
по радио с утра играют марши,  
высок энтузиазм трудовой,  
и лучшее решение всех задач –  
наглядной агитации кумач.  
Мы к ближнему внимательны и чутки:  
у них стриптиз, у нас – дома малютки.  
У нас при иностранном слове "секс"  
иные шумно вскакивают с мест.  
Свист, топот и метание камней –  
как будто нет занятия срамней!  
У них разврат и блуд, а мы-то сами?  
Товарищи, мы с вами все – с усами!  
Мы столько лет в таком прожили сраме,  
кто, господа, оплатит этот счет?

Куда до нас их розовой порнухе, —  
Такие мы терпели оплеухи,  
что и доселе щеки нам печет.  
Воители, радетели приличий,  
не хватит ли о чести о девичьей?  
Не стоит ли припомнить нам, что есть  
простая человеческая честь?  
Глядел за нашей нравственностью в оба  
усатый наш пахан, скромняга Коба  
(не к ночи будь помянут). Тридцать лет  
нас не смущал кровавый этот бред,  
мы верили в блатное лицедейство.  
Прогнали мы японца, финна, немца,  
но пред паханом вкрадчивым своим  
размякли в хлябь и растворились в дым.

Итак, светало. С улицы тянуло  
дождем и гулом. Стылая тоска  
ноябрьского утра проникала  
сквозь щели окон, в дом, под одеяло.  
Плечо, подушка, мягая щека...  
Елена, тихо сев на подоконник,  
глядела, как он спит, герой-любовник.  
Вот так всей жизни пошлость и тщета  
вдруг застывает складочкой у рта,  
вдруг винной пробкой, коркой апельсинной,  
на кресле стеариновым пятном,  
кольнет глаза и голоском крысиным  
такое пискнет, что сто лет потом  
ни позабыть, ни вспомнить без боязни.  
Тоска, которой нету безобразней,  
и у меня бывает по утрам.  
Всей жизни глушь, и оторопь, и срам,  
всех глупостей моих монументальность,  
и жалобного детства моментальность,  
и юности неряшливая спесь,  
и зрелости булыжные ухмылки,  
и все, что было прежде, все, что есть,  
гремит во мне, как пятаки в копилке,  
шуршит, как в бедном чучеле — опилки:  
хоть удавись, хоть на стену залезь.  
Вчера еще имевшие значенье  
слова и чувства, и оттенки чувств,  
и классиков любимых изречения,  
и все произведенья всех искусств,  
и собственные умозаключенья  
сегодня испарились. Воздух пуст.  
И в воздухе пустом, черна, как копоть,  
стоит тоска, колотит по плечу,  
и вдалбливает то, что я ни помнить,  
ни понимать вовеки не хочу.



Сидит на подоконнике Елена  
и думает: "Ужели вся любовь,  
которая и кровь тебе, и бровь,  
вдвоем до гроба, море по колено...  
Откуда в голове такая муть?  
Прочь убежать? В окошко сигануть?  
Вопросы лезут всякие некстати:  
кто я такая, почему я здесь?  
Ну что же мне так тошно, наконец!"  
Растрепанная, бледная, в халате  
ННовском (глядите, как мила!)  
Елена умываться побрела.  
И, в зеркало взглянув, сказала кротко:  
"Какая же ты, Лена, идиотка!  
От этакой твоей раскисшей рожки  
тоска в желудке, и мороз по коже.  
Что, собственно, случилось? Ты его  
действительно ведь любишь? Ничего  
тебе не надо более на свете.  
Поженитесь, у вас родятся дети..."

... Мы встретились двенадцать лет назад,  
под Новый год, в одном известном доме.  
На стенах там — левейший авангард,  
а в стенах — микрофон на микрофоне.  
Искусствовед, красавица, всезнайка,  
с майорскими погонами хозяйка...  
Вот я опять о чем-то не о том,  
но я росла в том воздухе крутом,  
в том кипятке московских посиделок,  
где пили чай, и самый вкусный чай  
был у того, кто доблестней стучал.  
Погоны... до таких ли мне безделок?  
Я вовсе ничего не помню, кроме  
того, что было мне семнадцать лет,  
как и Елене. Некий свой сюжет  
заваривался. В том майорском доме  
под Новый год я тоже не одна  
была. Но, впрочем, каюсь, каюсь,  
я, кажется, совсем уж отвлекаюсь.  
Так вот — НН с Еленой, у окна,  
их силуэты на метельном фоне,  
прозрачные во мраке двойники,  
а дальше — огоньки, и лед реки,  
и черные по небу скачут кони,  
и вздрагивает каждая звезда,  
и дробь копыт, и всадников молчанье —  
молчание без края, навсегда...  
НН спросил о чем-то. Отвечала  
Елена невпопад ему: "Прости."  
Огни в метели. Леденцы в горсти.

Уходит год. Еще уходит что-то.  
Она стоит к нему вполоборота...  
Когда-нибудь, поднявши воротник,  
слоняясь по Москве в слезах горючих,  
он именно вот этот вспомнит миг,  
он выудит его из пестрой кучи,  
из многослойной ряби, из глубин,  
поймет, что вот — любил и был любим,  
и вдруг замрет, от боли не дыша:  
сквозь рябь и хлябь в душе блеснет Душа.  
Качнется город тяжело и угрюмо,  
Остоженка, Волхонка, Крымский мост...  
О, Господи, как просто, выход прост!  
Как там — у протопопа Аввакума?  
Зимой сибирской, в голоде, в бреду  
они брели по керченскому льду.  
Гораздо было скользко. Протопопица  
все падала лицом в колючий снег  
и, чувствуя, что мочи больше нет,  
так жалобно спросила мужа, помнится:  
"Петрович, ну доколе муки эти  
терпеть?" — "До смерти, Марковна, до смерти."  
Вздохнула, отряхнулась рукавом, —  
"Добро, Петрович, индо побредем"...  
К чему теперь я вспомнила про это?  
К тому, что нет любовнее сюжета,  
и сколько кто душою ни криви,  
всем надобно вот такой любви.  
Проходит миг. Потом проходит год.  
А под ногами — тот же гололед.  
Проходит жизнь, потом проходит век,  
а на глаза все тот же валит снег...  
Стой у окна. Не двигайся. Замри.  
Жизнь позади, а дальше — фонари,  
огней цепочки, сполохи метели.  
НН, ты помнишь, кони пролетели.  
огни, окно, Еленин силуэт...  
О, Господи, прошло двенадцать лет.  
Они тогда ушли, не попрощались.  
Из-за чего же все-таки расстались?  
На то как будто не было причин.  
Я думаю, он что-нибудь строчил,  
Елена в текст случайно заглянула,  
чуть-чуть прочла, подумала, зевнула,  
сказала: "Все здесь, батенька, вранье",  
или другое в этом роде что-то.  
НН, взглянув лениво на нее, сказал:  
"Работа. Кушать-то охота".  
Она сказала: "Ну, тогда пока."  
Поцеловала в щеку и исчезла.  
Искал, звонил — все было бесполезно.

Он думал, думал — что за чепуха?  
За что? Зачем? Какой-то бред и вздор.  
Нет, он не понимает до сих пор.  
Не понимает, как узнал потом,  
что вышла замуж, ходит с животом,  
потом — что умерла во время родов...  
Все. Пустота. Ни выходов, ни входов.  
Сам в пустоте, а корни — в мерзлоте.  
На Долгопрудном фото на кресте.  
Видал вдовца и маленького сына...  
Не понимает. Все теперь едино.

Как лампы свет глаза под утро режет!  
Машинки стук, каретки легкий скрежет,  
холодный душ и чистое белье...  
Глядит в окно, как будто на нее,  
стоит один — красивый и везучий,  
и жизнь идет, и полон рот забот.  
Кто ведает, как выскажется случай?  
А он соврет — не дорого возьмет.

Москва

# ФЕРФИЧКИН ВЕЛЕЛ ПУЩАТЬ ВСЕХ

Нынешние журналы, альманахи, всевозможные сборники, вкуче с активной книгопроизводящей деятельностью как солидных, так и мелких кооперативов — даже газет, сегодня нередко "балующихся" прозой — создают пеструю картину литературной жизни, которую трудно было представить еще пять лет назад. Впервые за последние несколько десятков лет, перед нами открывается текущий литературный процесс практически в е с ь — без подразумевания фигур "запрещенной" литературы или литературы андерграунда, в тени которых "официоз" мнил себя знающим читателям незаконорожденным хамом русской словесности. Хамом, которому слабо противостояли книги излишне лиричных "шестидесятников" или безобидных "нутряных" "деревенщиков" — и тем, и другим "официоз" прощал несогласие, как невинное чудачество. Сколько бы ни утверждалось в те годы, что литература должна быть свободной, но и в лучших своих образцах (чего уж говорить про худшие!) она до самого последнего времени оставалась загосударствленной. "Официоз" выступал в качестве безоговорочного адепта существующей сталинско-брежневской системы, что было первым направлением литературы, самым немудреным и самым распространенным. "Шестидесятники" и "деревенщики" выступали в качестве хулиганов системы; предметом их изображения становился по возможности "простой, честный" человек, повсеместно репрессируемый государством. Это был второй путь — пустынный,

опасный. Противостояние этих двух направлений, нахождение по разные стороны коллизии "человек-государство", являлось сквозным сюжетом советской литературы – год за годом множилось лишь вариации. Не будем утверждать, что предметом литературы должно быть нечто иное: вспомним, что вся она вышла из гоголевской "Шинели". Речь идет лишь о том, что за семьдесят лет бытования ее эта коллизия редуцировалась до банальности: технически несложное воспроизводство ее теперь посылно даже графоманам. Эстетическая нищета соцреализма особенно удручающе обозначилась сейчас, когда скорая на руку газетно-журнальная публицистика и документалистика последних лет высветили ужас этой антиномии до самого скелета – отринув лишнюю лирику, показав все фиги, которые "художественная проза" таила в карманах, что составляло ее капитал. Не обременяя читателя, сегодня уже излишней, серьезностью аргументов, процитируем ироничное, но совершенно уместное послание Ферфичкину из романа Евг. Попова "Душа патриота" ("Волга", №2, 1989 г.): "...глупо, Ферфичкин, когда идеология делает ставку на литературу, принимая ее всерьез. Ведь литература – хрупкая, нежная, она, не выдержав такой перегрузки, ломается, чахнет... Зачем дурная традиция такая? Пушай себе скоморох дует в свою дурацкую дуду... Совершенно нецелесообразно обращать на этих блаженных столь большое внимание, тратя кучу нервов, денег, людских ресурсов и добиваясь при этом совершенно обратных результатов".

Что ж, следы желанной разрухи теперь налицо. Заплеваны "командующие" первой литературы – сошли на нет Г. Марков, сотоварищи. Скучнеют, чахнут лавры и второй. Айтматов, Быков, Шукшин, Трифонов, Маканин – что теперь эти имена? Проза их теперь не определяет существа литературного процесса. Мгновенно поблекли звезды "форейторов перестройки" (А. Рыбаков, В. Дудинцев, М. Шатров и пр.) – потухли вместе с 19-ой партконференцией.

А жизнь движется дальше. Сквозь разрушения все заманчивее высвечивается некий третий путь. Прозу этого третьего направления кто-то называет "другой", кто-то "альтернативной" и т.д. Любопытство к ней растет, ибо это направление – путь естественного обновления, путь выживаемости. Совсем недавно в ряду "другой" прозы мы называли самое видимое: лишь имена Евг. Попова и Т. Толстой. Некоторые более посвященные читатели причисляли сюда Ерофеевых – Виктора и Венедикта, Евг. Харитонову и Сашу Соколова, а также Ю. Мамлеева. Прошло уже совсем немного времени, и вот уже в массовом журнале ("Дружба народов", №6, 1990 г.) мы читаем серьезный обстоятельный разбор критика О. Дарка, посвященный ей. Профессионально обозначена проблематика, расширен круг имен. Теперь здесь фигуры и В. Сорокина, и А. Гаврилова, и В. Нарбиковой, и Н. Садур, и Е. Радова. От себя я бы добавил сюда и прозу самого О. Дарка, плодотворно работающего в этом направлении, и любопытные тексты Р. Марсовича, и прозу авторов русского Зарубежья: А. Ровнера, Ю. Кошкарлова. Не сопоставляю имена по величине

таланта и даже по степени читабельности, в том смысле, что если не читается – значит, плохо. Не все они к тому и предназначены. Тексты Р. Марсовича, к примеру, невозможно читать, не вооружившись в доспехи филологического образования, – это материал исключительно для интерпретаций. А с А. Гавриловым как раз наоборот: читаешь запоем, но всякие последующие критические операции с его текстами кажутся ненужными.

Так или иначе, вводя в литературный обиход новые имена, пришло, значит, время внимательно разобраться, что же это значит – другая? Какого рода может быть ее читатель?

Нетрудно заметить, что ее герои теми или иными чертами, так или иначе, мелькали в "городской" прозе "шестидесятников" – герои, скажем Ю. Мамлеева, А. Ровнера, из молодых – О. Дарка. Случались они и в "исповедальной" прозе – как могла иначе родиться замечательная пародия на нее "Москва-Петушки" Вен. Ерофеева? Безусловно, корнями из узнаваемой "молодежной" прозы вырастает "эстетическая чернуха" романов и рассказов Е. Радова. В плоскости третьей литературы получила некое продолжение – правда, небольшое – даже "деревенская" проза, через Евг. Попова, в частности. Открыты были, однако, и совершенно новые герои нашей действительности – С. Соколовым, Т. Толстой, в дальнейшем тем же Евг. Поповым, Вик. Ерофеевым, Евг. Харитоновым. В "другом" мире, в "другой" окружающей действительности мы увидели и раздвоенное и трогательно-трагическое сознание подростка-шизофреника, и дебилов вкуче с какими-то карлицами; сняты были табу и с похождения "русских красавиц", увидели мы и мир гомосексуальный, мир знойно-затаенных, полутемных страстей утонченной Н. Садур. Мы обнаружили в нем много драм, но к более примечательному свойству этой литературы отнесли ее неискоренимое игровое начало. И начало это было для нее совершенно естественным, ибо "другая" проза начинается там, где вторая литература ставит точку, не находя для себя дальше ни тем, ни конфликтов – изрядно устав тиражировать саму себя, в описании кошмаров "красного террора". И здесь ей обнаружилось самое место. Ибо не отрываясь от человеколюбия, человекослужения по сути, "другая" проза средствами самой разнообразной иронии принялась снимать вообще с самого занятия словесным творчеством ту скучную навязчивость, неуклюжесть "гуманизма", которые печатью нечитабельности лежали на советской литературе. С другой стороны, произошла и физическая смена поколений. В мире повседневных, повсеместных, вязких, несравнимо мелких с масштабами "красного террора" герои и авторы третьей литературы жили как бы всегда. Они не пришли к нему, они в нем родились. Им не с чем было сравнить – вот почему действительность оказалась не ужасна, но смехотворна. И Евг. Попов, и Вик. Ерофеев (что уж говорить про Венедикта!), и Т. Толстая, и А. Ровнер, и Ю. Кошкар, и даже С. Соколов с Евг. Харитоновым – писатели трагические по складу мироощущения – практически они все, но каждый по-своему подвергают действительность самому беспощадному осмеянию, что есть изящнейшее выражение ее неприятия.

Стоит, однако, заметить, что перечисленные авторы – это как бы начало "другой" прозы, это как бы старшие товарищи в ней. Творчество их сейчас занимает лучшие страницы наших лучших литературных журналов. Как, впрочем, и лучших критических статей. Вот почему есть смысл отсупить от общего потока, осмотреться – кто идет за ними? К тому есть причины. В "другой" прозе наметилась некая вторая волна – ряд авторов относительно более молодых, разных. Все они каждый по-своему усугубляют кризис прежней литературы. Безобразие социалистического реализма – как формы жизни – получившее эстетический эквивалент (порой даже чрезмерный) уже у Соколова, Харитоновой и Толстой, начинает усугубляться на втором витке до той степени эстетизма, когда мы можем говорить, что у нас, пожалуй, появляется литература элитарная. Если в творчестве старших игровое начало являлось органическим компонентом их литературы, то усугубление этой отдельной грани привело к игре в литературу. В этой литературе рассказы – это не то, чтобы рассказы, а скорее их концептуальные модели; герои в них не столько герои, сколько их мыслимость, сколько понятия о них; причина их движения не столько жизненные коллизии – сколько голые техницизмы. Ирония в них жестче, вследствие чего игра, разумеется, жутче, а осмеяние действительности – из того рода пародий на человека, которую можно усмотреть в анатомическом скелете, если сунуть ему в зубы дымящую сигарету.

И хоть я не самый большой почитатель любовных сюжетов в прозе, но понял бы некоторую обиду традиционного читателя, воспитанного в чувстве прекрасного к женщине. К его сведению, сообщаю, что при всем холоде, которым веет от концептуальной прозы младших, эстетическое помутнение (чтобы не сказать – чернуха) почему-то более всего коснулось именно этой пылающей темы. Надо думать, именно она оказалась более других замифологизированной; отмщение воздается ей, пожалуй, и за грехи русской классической литературы, и за беспрекословное семидесятилетнее господство соцреализма.

"Да мы в уборную зайдем, там никого не бывает. Я только посмотрю и потрогаю, я не видел никогда. Какой же ты дурачок, я тебе русским языком говорю, я взрослая женщина. Я ведь не говорю, чтобы Вы (вот ведь – Вы! – З.Г.) совсем раздевались, это быстро, Вы только юбку поднимите и смотрите в сторону, Вам же ничего не стоит". Разве И. Яркевич и О. Разумовский – известные авторы самого глубокого, безнадежно табуированного дна андерграунда – не будут поражены подобными откровениями из рассказа О. Дарка "Баба Настя" (неопубл.)? Какой же нибудь консерватор-критик, помнящий О. Дарка в нежном, можно сказать, возрасте – когда тот ходил в "младоерофеевцах", – отметил бы, что сие смутило бы, наверное, даже самого учителя. Его-то "русская красавица" все-таки любит, хоть и меряет нередко свою любовь ночными снами, когда ей снятся всякие мужские штуки гроздьями, "словно опять на пне". Здесь же – холодная подмена.

"Один, без Андрея, я тоже любил уезжать в лес с Вадиком на багажнике. Там мы валялись в траве, я его издала хватал за

половые органы, представляя себе, что это девочка. Он повизгивал, хихикал... Однажды он попробовал как бы поддержать мою игру, и ответил тем же..." (там же).

Не будем, однако, смущаться и чесать затылки. Столь же бесстрастно, как рассказчик О. Дарка, вникая в суть дела, отметим, что нежная, целомудренная обитель любви эротизирует уже давно, исподволь ("клубничка"!)). Инструментарий нынешней прозы настолько утяжелен книжной культурой, настолько пресыщен филологическим образованием и поэтому настолько смел, раскован, что происходит простое умерщвление метафизики вокруг этого туманного предмета. Адекватно замыслу, любовь должна здесь называться даже не сексом, а... половым отправлением. В целом, герой рассказов О. Дарка – продолжим лексику – это субъект в некой пограничной ситуации; субъект, оставшийся наедине со своей психикой, сексуальностью, иными биологическими позывами. И хоть такой герой теряет в читателе – в сравнении, скажем, с Вик. Ерофеевым, – но в точности следует своей задаче: разваливанию мифа соцреализма (и как формы жизни, и как литературы). Глубина расшатывания здесь уже структурного порядка. Не разваливает, а изничтожает его в принципе: такова сила мести загубленного им, забитого им поколения. Как мелкий штрих стоит отметить, что поначалу идет кураж. Из простецких названий, которые любят давать своим рассказам младшие, вовсе не следует, что тот же, к примеру, рассказ "Баба Настя" как раз бы повествовал об упомянутой простодушной старушке. Благостная и бесполоя (как это водится вообще в соцреализме), она довольно-таки быстро куда-то исчезает. Повествование смещается к подростку, к пикантным подробностям его полового созревания: все это как бы даже оформляется в тему, для андерграунда, стоит сказать, весьма животрепещущую в своей самоценности.

Кстати – пусть это прозвучит эклектично – интеллектуализированное половое отправление, отправление, имеющее в тексте некое концептуальное значение, – вот что, кроме прочего, любопытно в "другой" прозе младших, несмотря на то, что как раз по этой причине они часто выпадают за пределы эстетичности. Даже цитируемые пассажи из О. Дарка кто-то, возможно, найдет не самыми оправдываемыми концептом.

Но вот другая фигура андерграунда – Владимир Сорокин.

"Он потянул сильнее, упершись в гроб и ткнувшись спиной в стенку ямы. Что-то затрещало в животе трупа и нога отошла. Санька зашел справа и потянул другую. Она поддалась свободно. Санька выпрямился. Наташа лежала перед ним, растопырив ноги. Он опустил на колени и стал трогать ее пах.

– Вот... милая вот... вот...

Пах был холодным и жестким. Санька стал водить по нему пальцем. Неожиданно палец провалился куда-то. Санька вытащил его, посветил фонариком. Палец был в мутно-зеленой слизи. Два крохотных червячка прилипли к нему и яростно шевелились. (...) потом он быстро накрыл верхнюю часть трупа белой материей,



приспустил штаны и, пристроив свой напрягшийся член в нащупанную дырку, лег на труп.

– Милая... Наташенька... вот так... вот...

Член тяжело скользил в чем-то холодном и липком."

Да простит мне читатель длину цитирования, но мне бы хотелось дать ему почувствовать сполна ту тягостность усилия, все эстетическое мужество, которое необходимо для постижения "другой" прозы младших. Смешно думать, что В. Сорокин в "Санькиной любви" (так называется этот неопубликованный рассказ) простодушно повествует нам, согласно названию, деревенскую историю. Рассказ намеренно выдержан в манере "деревенщиков". Все бы ничего, только вместо живой девушки труп, вместо допускаемого нормального соития – ошарашивающий нонсенс. Зачем эта подмена?

Нетрудно угадать. Невинным рабам соцреализма не суть, в каком направлении складывается их жизнь, в сущности, как бы не они отвечают за сюжетику рассказов из их жизни. Сакральность соцреализма столь безоговорочна – по мысли Сорокина, – что ему, по сути дела, без разницы чем манипулировать: живыми людьми или мертвецами. В этом очевидная антигуманность его. Сорокин добивается его разрушения. Монстр как бы пожирает сам себя, последовательно доведенный до абсурда. В творчестве В. Сорокина варианты обобщенно-анонимных соцреалистических стилей живут самостоятельной жизнью. Вся изюминка, повторим, этого – разумеется, алогичного с привычной точки зрения – манипулирования глыбами крепко замифологизированной "совковой" действительности в том, что они не нуждаются ни в каком подкреплении действительностью. "Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль. – Сань, а Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный, а ты, Сань, говорит, кончил сам недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится. Так и передал..." Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул." Это самое начало разбираемого рассказа. Чем вам не добропорядочный, типичный писатель эпохи застоя? Ни единым гневным авторским словом не разрушает В. Сорокин наработанные соцреализмом "ценности" – мы сами постепенно начинаем понимать, что речь-то не о простом деревенском парнишке Саньке. Мы определяем его по-другому: это особь из разряда "гомо советикус", это маленькая жертва большого тоталитаризма, необратимая в своей принадлежности к этому разряду, как необратим дебилизм...

Открытие для редактора, положившего на охрану "устоев" целую жизнь, не из приятных. Проблема тут тоньше, чем можно предположить. Если он еще готов понять, что "про Сталина можно" (и даже нужно), то в случае с Сорокиным в редакторских кабинетах должны поменяться не портреты на стенах, но должно смениться поколение. Проза андерграунда – "другая" проза младших – до сих пор не удостоилась милостей перестройки; публикуется она неохотно. Но у нас есть выход, с пьесами В. Сорокину везет больше. С другой стороны, переключение разговора совершенно естественно. Ибо театр Сорокина – это как бы зрелищная сторона

того театра манипуляций с формами соцарта, который намечен в его прозе. Ничего нет удивительного в том, что этот "театр" подчас уподобляется по форме собственно жанру. Концепт же един, универсален для его прозы и театра, хотя механическую жизнь — я бы сказал, скрежет — соцартовских стилей, соцартовской сюжетики сорокинский театр подчас выпуклее, чем проза, обозначает этот самый концепт. Возможно, причина в том, что в пределах одной пьесы могут сопрягаться несколько стилей и сюжетов, как, к примеру, в пьесе "Пельмени" ("Искусство кино", №6, 1990 г.). Две линии — бытовой и военной прозы — вползают друг в друга, начинают друг друга тормозить, терзать, как две равноправные "самости", имеющие одинаковые права на "гомо советикус" — в конце концов они уничтожают друг друга, как две части разбушевавшегося бесконтрольного элемента.

Менее агрессивна, но более комична пьеса "В землянке". Здесь опять же переплетены два стиля: "военной" прозы (но не "генеральской", а ее антипода — "окопной") и газетный, в котором обильно представлена и лексика какой-то технической брошюры о токарных станках, и словарь передовиц, и другая газетная чепуха. Диспозиция, естественно, каноническая: в землянке советские офицеры в долгие часы артподготовки пьют из жестяных кружек спирт "За товарища Сталина!" Один вслух читает газету, другие пытаются "въехать". Чтение газеты подключают к диспозиции еще одну соцреальность — судя по тексту, довоенную. Они равноправно работают в пьесе, создавая комический эффект едино-непрерывного пространства-времени: той мифической реальности, того единого соцартовского времени, в котором даты, годы, дни, имена вождей, жизнь фабрик и заводов, войны и тыла доведены до той степени равноправной святости, когда чередование их может быть совершенно произвольным; когда героический, высококонтрастный, повсеместный в героической же истории "гомо советикус" никак не может исчезнуть из-под недремлющего ока соцреализма. Подразумевается, что этого не может быть. Если он не воюет, это не означает, что за ним не наблюдает это строгое око. В эти минуты он берет в руки газету и "напряжением души", "мирными помыслами" и "любопытством" "самого читающего в мире народа" включается в соцреализм через газету — переключается из непреложной "героической войны" в столь же непреложный "мирный советский образ жизни"...

Не слишком ли специфична проблематика, возразит читатель. Творческое ли усилие необходимо совершить, чтобы постичь филологическую утяжеленность произведений В. Сорокина?

Что же делать? Пространство третьей литературы причудливо. "Разгосударствление" литературы идет полным ходом: дробления, отпочкования неизбежны. "Приватизация", думается, подразумевает самый естественный позыв литературы — заняться собой, встать на путь некоторой литературности. Полагаю, что навстречу ей будет меняться и читатель. Он тоже будет "другой". Вряд ли он будет многочисленным. Литература уже перестает играть в нашем обществе ту роль, когда про писателя можно было сказать, перефразируя известное выражение, что писатель в России больше

чем писатель. Это время проходит. В самом деле, всяк "пушай себе дует в свою дуду", – воскликнет очень скоро гипотетический Ферфичкин, соглашаясь с Евг. Поповым.

И Ферфичкин и Евг. Попов, конечно, вряд ли имели бы в виду, положим Р. Марсовича. Может статься, что они же первые поморщатся, прочитав его прозу. Между тем, это прообраз той литературы, которой и сейчас много, но которая лет через десять явится повсеместно. Повторю, что говорил вначале: не все в третьей литературе требует традиционного чтения. Р. Марсович из тех авторов, чья проза предназначена скорее для интерпретации – чего-то не вполне обычного для привычной литературной ситуации, когда писатель и читатель мнятся фигурами конгениальными по отношению к тексту, фигурами совершенно равноправными, одинаково творящими его содержимое.

Что ж, и Ферфичкина, и Евг. Попова можно будет понять, как впрочем, всех читателей, кто пытается вникнуть в существо рассказа "Летать и плавать", как это мужественно сделали составители июльского номера "Родника" за 1990 г. "Йокнапатофа, и все дела" – иронично замечает сам рассказчик в одном месте этого странного текста. И нельзя с ним не согласиться. Тексты Р. Марсовича трудно назвать рассказами, хотя по объему они приближены к ним, – это именно тексты, как бы непонятно откуда и почему начинающиеся. Располагая их один за другим, получаешь картину какого-то бесконечного романа – без названия, начала, конца. Кто-то подобную прозу называет "компьютерной", имея в виду ее внеавторское начало. В более привычной терминологии ее можно назвать эпической – не вкладывая в определение оценочного значения (лестного, к примеру). Авторская внеположность продуцируемому материалу заключена в том, что они лишены драматургии: течение этих текстов плавно, привольно, причина их появления на свет и следствие совпадают. Это – семантические сдвиги, это и ассоциативное парение мыслей над материалом жизни, над материалом памяти; здесь много и прихотливых блужданий в культурной среде, в том числе и филологической (скорее даже, по преимуществу): сцепка разнородной лексики, и "центоническое" цитирование, что позволяет говорить о ней – что как всякая "другая" проза, она не лишена иронического начала, что абстрактно радуется. В общем, действительно некая филологическая Йокнапатофа: вроде бы мизерная, поскольку физическое выражение ее – всего лишь, простите, черепная коробка автора; но ведь и немалая, ибо метафизически – это огромное продуцирующее человеческое сознание. Нет сюжетов, нет героев, нет коллизии – но нет всего этого даже не по-сорокински, в плане подмены на сюжетно-стилистическом уровне. Здесь, пожалуй, можно говорить об истреблении соцреализма уже на уровне чуть ли не лексико-морфологическом. Впрочем, есть и в подобной прозе места, где гипотетический Ферфичкин мог бы улыбнуться: "Уважаемые гости столицы! Наконец-то у вас есть счастливая возможность поступить в нашу средне-профессионально-техническую каблуху!" Или различить в "центоническом" образовании, когда "на шею Садовое кольцо, а в глазах снега, снега, и печаль моя светла" – и

космическую клешню Медведицы из раннего Маяковского, или (каждый согласно своему ассоциативному мышлению) кандалы дверных цепочек Петербурга Мандельштама, не говоря уже о новой, в этом контексте, пронзительности светлой печали Пушкина. Но это местами, проблесками. "Проклятое время ясности, понятности!" – удрученно восклицает Р.Марсович по ходу движения текста. Где уж там! Сие не кокетство ли? Йокнапатофа в тексте ох какая крепкая, уверяю автора.

И не вопрос – найдется ли, кто захочет блуждать в ее лабиринтах. Как не вопрос – кто же он, читатель О. Дарка, В. Сорокина или И. Яркевича в паре с О. Разумовским, из прозы которого еще не напечатано ни строчки. Пусть это сначала будет опубликовано – потом разберемся. Ибо любая литература, какой бы "другой" она ни была, имеет причиной появления одно – жизнь, а говоря точнее и повторяясь, – того "другого" читателя, который уже появился. Они просто зеркальное отражение друг друга, без первого не может быть второго.

Что ж, будем жить, будем ждать, а дождавшись, будем читать.

**Зуфар ГАРЕЕВ**

Москва, 1991 г.

# ПЕРО, КИСТЬ И ДРАМА

Как читателю, как книголюбу, имеющему слабость к изысканным изданиям, и, наконец, как любителю Пастернака и Тышлера (а в изобразительном искусстве я именно любитель, несколько неуверенный дилетант: но просто трудно устоять перед тышлеровскими красотками с городами и парусами на шляпах, перед мучительно раздваивающимся в арфу телом его девушки-кентавра) мне, конечно, жаль, что эта книга вышла таким небольшим тиражом (2 тысячи экземпляров). Она обречена стать раритетом. Боюсь, не всякий ценитель ее и увидит, не то что купит. Она разошлась бы и в 100 тысячах и в 200-х. Но может быть, так и надо? Может, это необходимо, чтобы каждое издательство создавало себе своеобразные элитарные памятники, редкости, издания для немногих. Дорогие, труднодоступные, приучающие к мысли (так нам не хватающей), что полиграфия – тоже искусство: не конвейер, а штучное, авторское производство.

Эта книга – редкий у нас пример действительно художественного издания, красивой книги, где все сделано со вкусом: и подбор иллюстраций и стихов, и их взаимное согласование, и формат с двумя обращенными к зрителю портретами по сторонам обложки, и даже, кажется, продуманная толщина и шероховатость страниц и шрифт (хотя это, конечно, иллюзия – шрифт, наверное, стандартный, я не специалист...). Все пронизано любовью издателей – и к героям их книги, и к искусству вообще, и к

книжному делу. Ставропольское издание производит эстетическое впечатление не только зрительное, но и осязательное (его приятно листать и трогать), я бы даже сказал – вкусовое, если б не боялся несколько комической двусмысленности. Но ведь есть такие книги, которые хотелось бы попробовать на зуб, как золото.

Эта книга – также пример, тоже редкий у нас, последовательно концептуального издания. Потому что она – не просто механическое, как это часто бывает, объединение под одной крышей поэта и художника, более или менее близких при жизни. Интересен сам жанр книги. Я бы его определил как драму. Не только потому, что драматичны судьбы обоих героев, как и их время в целом, но потому, что стихотворение и рисунок, теоретическое суждение и мемуарное свидетельство становятся здесь обращенными друг к другу репликами. И даже замечания на полях (интересен этот прием – не подстрочные комментарии, а рядом, как будто в диалог вмешивается третий, и не столько поправляет, добавляет, сколько характеризует настроение говорящего – как в настоящей пьесе: *волнуясь, раздраженно, в сторону и т.д.*) искусствоведа Ф.Я. Сыркиной, автора монографии о Тышлере, кажутся ремарками в этой драме.

Этот диалог поэта и художника, инсценированный в Ставрополе, никогда, может быть, не мог бы состояться в жизни. С такой откровенностью и досказанностью. Да и трудно себе представить, чтобы встречаясь, они напряженно выясняли пересечения и параллели в своем творчестве. Но диалог этот всегда между ними существовал. Они вели его, этого, может быть, не замечая. Драматический диалог был открыт издателями, как открывает в природе, а не выдумывает метафору поэт, по приводимым в книге словам Пастернака. Здесь интересна сама некоторая неожиданность, неочевидность сведения Пастернака и Тышлера в диалоге. Мне всегда казалось, что неочевидность, непредсказуемость концепции ли, трактовки – свидетельство авторской правоты. Если я полностью согласен с книгой или статьей, для меня бесспорно, что она – плохая. Что откроет нам парное издание Родченко и Маяковского или Филонова и Хлебникова, выступавших тандемами, единомышленников и сотрудников? Или даже Ахматовой и Анненкова, трижды ее рисовавшего? Это только игра в домино: три-три, шесть-шесть.

Совсем другое дело – художник и поэт, внешне и по жизни не очень связанные. Пара Татлин – Хлебников естественна, почти тривиальна. Сопряжение Татлина с Брюсовым может что-то повернуть в нашем восприятии их эпохи. В их единогласии раскрывается единое движение искусства, единая драма времени (в этом другая ипостась жанра: книга-драма), то стремящегося вперед, то вдруг оглядывающегося на классику, архаику; взрывающего традицию и лелеющего ее; и с другой стороны, – то возносящего своих любимцев, то ниспровергающего их в ничтожество. (По крайней мере, оно хотело бы. Иное дело, что о былых изгоях и ничтожествах может вспомнить потомство. А может – и нет.) И державинский "глагол", перескакивающий к ним через голову Пушкина, в стихах Пастернака ли, Маяковского или Хлебникова

объединяет их не только с "авангардистом" Тышлером, с его ностальгическим любованием дамскими модами XVIII столетия (архитектурные сооружения и кораблестроительные фантазии на шляпах — это оттуда) или тогдашними живописными сюжетами, но и их, и его — с Брюсовым или А. Бенуа, тоскующим о восемнадцатом веке, или опять-таки с Татлиным, с его "3-им Интернационалом" в духе гигантомании Дж. Пиранези.

И Тышлер, и Пастернак с восторгом встретили Революцию, пафос преобразования и обновления переносили в область искусства. Оба ощущали свое творчество созвучным новой эпохе и выражающим ее. Видели себя в авангарде искусства и времени. Что получало подтверждение и в действительности. Тышлер в автобиографии, воспроизводимой ставропольским изданием, с любовью вспоминает и о своей работе, под которой понимал не только мелитопольские плакаты, но и все творчество в целом, для Революции, и об интересе и поддержке первых революционных властей, чувствовавших в нем союзника, и молодых рабочих, крестьян — посетителей выставок, которых он ощущал своей подлинной аудиторией. Он с обидой и разочарованием говорит о позднейших обвинениях в не- (или даже контр-) революционности со стороны псевдо-, по его мнению, революционных художников, охранителей, пришедших ему на смену. А на следующей странице — стихотворение Пастернака 1931 г., где он переживает свое "уродство" в наступившем времени, клянется в стремлении "меряться пятилеткой" (все это, конечно, довольно дико сейчас читать. Мы не очень помним такие пастернаковские строки), прийти опять в согласие с историей.

Просто и Тышлер, и Пастернак, вместе с другими футуристами, имажинистами и проч., оказались революционнее революционеров, пришедших к власти. Точнее — остались революционерами, а те стали властью. Революция закончилась, а поэты и художники продолжали ее делать. Они теперь были "опасны", по выражению того же пастернаковского стихотворения. Их принялись вытеснять, выкидывать из современности — в прошлое. К Шекспиру и Гете. В театр и художественный перевод. "Вытеснять" здесь — не слишком точное слово. Перевод классики на язык современности (Тышлером — как театральным художником) всегда был для обоих и основой их творчества, укоренением в традиции, и одним из серьезных его воплощений. Давление, гнет властей губельны для обыкновенного человека, но для поэта, художника парадоксальным образом благотворны: дают собственной кожей ощутить трагичность человеческого бытия (уж так Поэт устроен, что все обращает себе на пользу и личную драму переживает как вселенскую, и слава Богу!) и загоняют в тот отдаленный угол творчества, который, может быть, всегда манил, но заслонялся свободой и возможностями иных проявлений и где, теперь вынужденно, обнажается самая суть духа Поэта.

Художник и поэт "сошлись" на Шекспире. И точно так же, как эскизы Тышлера имеют (и может быть — в первую очередь) самостоятельное художественное значение — это не костюмы и сцены к

спектаклям, а портреты и пейзажи к шекспировским трагедиям (и даже иллюстрации, а не интерпретации), так и Пастернак в переводах Шекспира (как и Гете) – полноправный соавтор (и непонятно, кого мы цитируем по-русски, когда вспоминаем "Гамлета" или "Фауста"), а шекспировские персонажи и их создатель – естественные обитатели пастернаковской лирики. И рядом со знаменитым "Гамлетом" Пастернака ("Гул затих. Я вышел на подмостки...") в книге ставропольского издания мы видим его тышлеровского двойника. А средневековые замки Тышлера как будто иллюстрируют пастернаковское стихотворение "Шекспир", с его "преступным и пасмурным Тауэром". Хотя и рисунки, и стихотворения созданы в разное время. В шекспировских образах и в самом их творце для Тышлера и Пастернака – близость или даже прямое раскрытие трагедии и собственных судеб, и окружающего времени, и вообще человеческого, внеисторического, существования.

"Сошлись" они оба и на театре в целом – не на шекспировском или каких бы то ни было других авторах-любимцах, а на театре как форме – искусства, действия, организации жизни (актера, драматурга, режиссера – всех с ней связанных, – и, наконец, зрителя), с ее фантастической преданностью служения, аншлагами и провалами, искушением успехом и крушениями надежд, общим дивертисментом и сольными партиями, аплодисментами и свистом, властью над душами в свете рампы и диктатом зала, наконец – с незаметными суфлерами в будке под сценой. Театр – особая тема в творчестве Тышлера и Пастернака. Постоянные балаганчики, карнавальные наряды, скоморохи, актеры и подмостки – на рисунках и картинах первого. И его произведения, тематически не связанные с театром, имеют характер срежиссированности, инсценированности, публичности. Персонажи замирают в позах и разыгрывают мизансцены, рассчитывая на зрителя, причем находящегося внутри картины, а не перед ней. И сквозные уподобления в поэзии Пастернака, идущие от того же Шекспира, жизни – сцене, человека – то суфлеру, то актеру, то зрителю, а человеческие действия – актерскому выступлению.

Может быть, потому и смог состояться их диалог, что оба любили обращаться к выразительности других искусств. К архитектуре. У Тышлера это – разложенный на элементы и вновь сведенный в вольных фантазиях архитектурный язык, а у Пастернака – целостный и узнаваемый городскóй пейзаж. К танцу. Но Тышлер больше любит цыганскую пляску, Пастернак – вальс. К музыке. Но для Тышлера это – дудки и барабаны, площадные звуки, а Пастернак, поэт, музыкант, предпочитает концертный зал, Брамса, Шопена. Музыкальное впечатление он постоянно воссоздает литературными средствами. Но он владеет не только музыкой слова, но и живописью словом: в своих стихотворных пейзажах, интерьерах, натюрмортах. У Тышлера, напротив, – незаурядный литературный дар. Его автобиография, воспроизводимая в книге, – не только документальное свидетельство, но и поэтический рассказ. К литературе Тышлер прикасался не только в театре, но и как иллюстратор. Литература формировала его



живопись: повествовательностью, сюжетностью, приводила героев – легенд, классических произведений, складывала рисунки в целостные серии, единое повествование.

И все-таки только театр, с его открытостью, незащищенностью актера, со сценой – то ли эшафотом, то ли Голгофой, становится трагической метафорой и человеческого бытия, и творчества. И на тышлеровскую серию рисунков "Театральное представление", фрагменты которой мы видим в книге, со сценой – то ли ярмом, то ли орудием пытки, отзывается мольбой об освобождении пастернаковский Гамлет. Но читатель продолжает контаминацию Гамлета с Христом. Отказываясь от чаши, герой ее и принимает. Так выясняется общность взглядов на искусство как мучительное служение. "Мне все хочется сосредоточить в человеке и на человеке..." – объясняет Тышлер, зачем он пишет на головах персонажей дома, свечи, голубей, цветы, целые города... Выступая за сохранение в искусстве "человеческого дыхания", "повседневной связи с человеком", Тышлер парадоксально предпочитает натуралиста левым, авангардистам, формально ему близким. Литература "ищет и находит человека в категории речи" и "для блага человечества" "на память воссоздает его" – поддерживает художника поэт.

Для обоих искусство прежде всего реалистично. "Живой действительный мир", по Пастернаку, – "это единственный... удачный замысел воображения". "...Единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни", – говорит он в другом месте. Задача художника для него – замечать малейшие несуразности... особых людей... необычайные случаи..." Потому что реалистичность здесь – особого рода: это "запись", по Пастернаку, действительности, но "смещаемой", деформируемой чувством, т.е. обнаженной в ее сущности. Пастернак – поэт и мыслит в категориях своего искусства: он ищет "в природе" и "свято воспроизводит" не случаи, а метафору. Может быть, и в том есть глубинный смысл, что "ставропольский" диалог идет вне времени. Стихам Пастернака 20-30-х гг. чаще всего подбираются параллели в творчестве Тышлера 50-60-х. Это отвечает представлениям обоих о вневременности художественной истины. "Поколение сохраняет" ее, "а не отбрасывает", – читаем мы Пастернака. А через сотню страниц – Тышлер: "Художнику в работе лучше не досказать. Время за него доскажет..."

**Олег ДАРК**  
Москва, 1991 г.

# ПОРТРЕТ ЭПОХИ НА ФОНЕ ЗНАМЕНИТОЙ РЕШЕТКИ

Бывают же такие странные совпадения! Только пообещал рецензию написать на Евгения Попова, как сел "Центральную Правду" читать. Вот сажусь, стало быть, то есть не сел еще, нет, и газету-то толком не вижу, а только так, косой взгляд как бы бросил, мол, делать-то пока все равно еще нечего, и не сидишь, и не лежишь, и не стоишь, а так, в каком-то бессмысленном движении пребываешь... И вот уже чувствую, что мне плохо, чувствую, что ох как нехорошо... А что плохо-то, спросите вы меня, чего нехорошо-то!.. А я пока и сам не знаю, только чувствую, что вот сейчас прочитаю что-то невероятное, что-то совсем ужасное....

Так и есть, дорогой читатель. И вы, наверное, испытали то же самое, и ваше сердце захолонуло от горечи, и ваша жизнь перед внутренним вашим взором на дыбы поднялась, когда и вы эту крошечную картинку на первой странице "Центральной Правды" увидели. А еще страшнее было объяснение под картинкой, помните? И кто разрушил? Кто две эти секции уничтожил, "вдребезги разбил"? Гонщик автомобиля! Ну что, догадались, поняли, о чем говорю-то? Что? Вы "Центральную Правду" не читаете? Напрасно, напрасно не читаете, но об этом мы еще поговорим, об этом речь впереди, а вот про это кратенькое сообщенище-то, про решетку Летнего сада? Ведь знал же, что город гибнет, слышал от друзей, которые туда ездили, из писем друзей и родных знаю, что умирает... И вот тогда только взглядом едва коснулся, словно УМЕРШЕГО и портрет увидел. Так и стукнуло в груди. УМЕР!

Евгений Попов. "Прекрасность жизни". "Главы" из романа с газетой", который никогда не будет начат и закончен" Московский рабочий, 1990 г.

И кто этот угонщик автомобиля? Да никто! Вот этот НИКТО и убил, вот этот НИКТО и разрушил. В сердце какую-то перегородку сломал... Вот говорят, что "петербуржцев" нету, и все, мол, вымерли, а мне слушать это странно... Ей богу странно. А если ты историю специально изучал? А если ты знаешь, кто строил эти дворцы и когда собою они мир украсили?.. Да не просто "знаешь", а бегал по этому кругу не хуже юного Холстомера во главе небольшого стада носорогов со словами"и так, дорогие товарищи, начинается наша экскурсия по..." и чуть слезами не обливаешься от умиления, глядя на Исаакий, на Петра, на решетку Летнего сада... А потом, конечно, про революцию, про Аврору, а потом вдруг ударило: да что это я? да кто это я? Да что со мной? Может, прав академик-то? Может, вымерли петербуржцы? Одни холстомеровы остались? Стояла решетка, стояла да и повалилась от железного своего инфаркта!

Но как повезло писателю-то! Как повезло Евгению Попову! На фоне этой драмы, на фоне разбитой решетки Летнего сада как замечательно, как живо смотрится его книга "Прекрасность жизни". Книга про "никто" в тот самый момент, когда это самое "никто" прогрызло сердце. Распадаются жизненные ткани, рушится мир на глазах изумленных холстомеров и тут же, о чудо, появляется книга, полная волшебных и поразительных истин:

"За годы Советской власти в Узбекистане произошли коренные изменения во всех областях материальной, социально-политической и духовной жизни".

Боже, кто это написал? Откуда, откуда сия священная истина?! Где слова-то нашел? Не мог же сам, ведь не Бог, украл, украл поди! А этот эзопов язык?! Обратили внимание?

Ох и хитрец же! "В Узбекистане"! Ха-ха! Да кто ж ему поверит, уж мы-то знаем, о каком "Узбекистане" идет речь, это же мы, мы сами: "За годы Советской власти в НАС произошли коренные изменения..."

"Рисунок на камне. Кто "позировал" древнему художнику? Э.Дэникен утверждает, что "натурой" был космонавт".

Поверь, дорогой читатель, первую попавшуюся страницу открыл, первое попавшееся место. И ведь новый шедевр, новое чудо. Какие такие холстомеры? Не холстомеры мы, а космонавты, еще и решетки не было, одни камни торчали, а мы уже и рисовали и позировали, а когда хлеб кончатся стал, послали своего космонавта за хлебом в космос и потом его много рисовали... По родной земле в скафандрах ходим, через волшебные стекла на все глядим... Какие такие носороги? Не к носорогам, а к космонавтам обращался я со словами "Итак, дорогие товарищи, начинается наша экскурсия по..." и бежал в своем скафандре по орбите...

А теперь закрою глаза и наугад открою следующую страницу. Убежден, что и тут наткнулся на шедевр, на очень тонкую мысль. Так и есть. Судите сами:

"Неожиданно прозвучал спокойный голос Брежнева: "Спрячьте пистолет, лейтенант! Давайте расставим по траншее коммунистов, а между ними остальных бойцов". Сам Брежнев занял место убитого пулеметчика."

Итак, место "убитого пулеметчика" уже занято. Конечно, куда нам, мелкоте, тут тела покрупнее требуются... Мы – "коммунисты в траншее", дорогой читатель. Что? Хотите быть "лейтенантом с пистолетом"? Не возражаю, не возражаю, хотя, честно говоря, подлости такой от вас не ожидал. Думал, что вы человек порядочный... Хотя, черт его знает, все в скафандрах, все как один узбек, поди разберись тут в людях...

Ну, теперь-то, надеюсь вам, понятно, почему книгу Евгения Попова я читал запоем? Оторваться не мог. Это не просто книга, это энциклопедия советской жизни, хотя автор ее определяет скромнее: "Главы из "романа с газетой", который никогда не будет начат и закончен". Советскому человеку газета – и мать, и жена, и Джульетта, и Ромео, и кто угодно.

Открытие Попова столь же значительно, как и изобретение радио его знаменитым однофамильцем. Попов открыл, что у советского человека не просто "поток сознания", а поток "газетного сознания". Газетный текст впечатан в наше сознание не хуже сексуального символа, это априорный принцип нашего мышления, такой же, как пространство и время у Канта. Газета – это мы, мы – это она.

На обложке изображен сам автор с "Центральной Правдой" в руках. Попов смело мог назвать свой роман "Центральный Поток". Не этим ли потоком снесена решетка Летнего сада? Не этим ли потоком снесены мы сами, сбиты с ног? "Унесенные Правдой" – чем плохое название, а?

А когда человека несет, когда он сам за себя не отвечает, когда воспринимает самого себя как обломок, которому то один его бок явлен, то другой, выступающий из пучины, из бездны, так сказать, то что с этого человека спрашивать? Что от него требовать? На что этот человек способен? Вот от имени этого ОБЛОМКА, а точнее говоря, "обломков" и написан роман Попова. Роман написан от имени существа, которое ветром истории угнуто от собственного основания, разломано и разбито, несетя, крутясь частями своими в потоке, кишасщем такими же вот обломками. И так в этом потоке все перемешалось, что уже "свои" обломки, то есть принадлежавшие как бы одному человеку, худо отличают себя от "чужих".

"Обычная история, обычный человек – зачем ему что-то помнить? Человек вообще ничего не помнит. А зачем? Нет, вы скажите – зачем? Человек вполне имеет право не помнить ничего. Он это право, можно сказать, заслужил в труде и в бою. И отнимать у него это право было бы не только глупо, но и бессовестно. А может, даже опасно..."

Однако не успел автор выговорить столь глубокую мысль, как тут же его закрутило в водовороте, понесло в другую сторону.

"Какая ерунда! Какая глупость! Какая чушь! Глупо. Глупо все. Глупа, например, до безобразия это моя последняя дурацкая фраза: "А, может быть, опасно". Дурацкая и многозначительная. Вернее, даже и не многозначительная. С такими фразами действительно можно черт знает до чего дойти, так что действительно может стать опасно. Лучше – снова о Мирзликине".

Это из главы 1978 "Проводы так называемой русской зимы, или Поломанная голова Мирзликина". Мирзликин сломал себе голову во время народного гуляния, когда залез на обледенелый столб, добрался до клетки с петухом и бутылки коньяка. Хотел выпустить петуха на волю, да и свалился с шеста. А забраться удалось благодаря тому, что свое "болгарское пальто" и штаны облил медом. Нет, не получается! Ну совершенно не то, ничего похожего. Нельзя пересказывать Попова, потому что при пересказе теряется одна очень важная деталь: шум бурного потока, влекущего героя на подвиг. Вот мы уже знаем, что произошло с Мирзликиным, а теперь послушаем самого писателя и воочию убедимся в том, что, опять-таки, пересказать Попова нельзя:

"И внезапно – озарило. Озарение... Простота, близкая к прекрасности...

Мирзликин подошел к ларьку и купил банку искусственного меда. Он вскрыл банку перочинным ножом и вылил мед на свои неснятые штаны, надетые на ноги. Втер мед, после чего и руки Мирзликина стали липкими. И – липкорукий, липконогий Мирзликин в своих липких штанах и липком болгарском пальто прямо подошел к символическому шесту и, не дав никому опомниться, взлетел, вознеся туда, в недосягаемую высоту обледенелого шеста, туда, в апофеоз проводов русской зимы, в это стальное небо, в это холодное пространство, где жила, как живая, в холщовом мешке бутылка "Коньяк" и почему-то молчал, как зарезанный, петух в клетке".

Вот видите, читатель, как далеко это реальное событие от того, что вы услышали в моем пересказе? В моем пересказе вы не слышали той "музыки революции", того шума, которым переполнено сознание Мирзликина, праздничного гудения волн не слышали вы, дорогой читатель. А оно, это гудение или, лучше сказать, "бурление", в таких вот, например, фразах: "и вылил мед на свои неснятые штаны, надетые на ноги". В этой конструкции как раз и передана "обломочность" бытия, истинная разорванность сознания. То, что штаны Мирзликина не сняты, – дело случайности, как и то, что они, хотя и штаны, надеты на ноги... На фоне абсурдов и маразмов центрального потока, на фоне стремительной его круговерти все это воспринимается абсолютно нормально, очень музыкально, очень празднично воспринимается. И в этой праздничности – весь пафос книги, вся ее тайна. Я вот говорю вам о том, как ужасно зрелище потока, в котором мелькают обломки человеческие, начал статью с рассказа о решетке, разбитой "Мирзликиным", но кто его знает, может, в основании всего этого моего пафоса – все тот же "бурный поток"? И нет никакой трагедии? И нет никаких "обломков"? А есть одно мое воображение, охваченное пафосом придуманной всемирности русского человека? С одной стороны – бурный поток, рев и шум которого перекрывает работу сознания, с другой – гробовая тишина, кладбищенская пустыня, то самое ничто, о котором говорилось в начале этой статьи:

"А внизу праздник проводов так называемой русской зимы разгорался, горел, не чадил и не угасал.

Прекрасные тройки Горуправления коммунального хозяйства, изукрашенные пестрыми лентами, возили желающих туда и сюда! Торговые точки изрыгали напитки и закуски! Разрывались гармоника и баяны! По-шмелиному, но в тысячу крат сильнее гудели транзисторы, гитары. О, праздник! О, вихрь праздника! Вихрь! Не говорите, что это не был вихрь, я вас совершенно не желаю слушать! Пестрое кружение! Ленты! Русские! Цыгане! Белорусы! Армяне! Евреи! Украинцы! Вихрь! Снег! Снег! Милый русский снег, затоптанный валенками, сапогами, ботинками! Снег! Снег! Вихрь! И не сон ли все, что происходит?"

Тут вам и Гоголь, и Блок, тут вся русская литература с ее птицами-тройками и метелями, вся русская литература... на затоптанном пяточке глупой ярмарки...

Книга создавалась в самый разгар так называемого застоя. Но почему же так современно читается она сегодня? Не потому ли, что сегодня мы переживаем тот самый праздник, который описан в новелле Попова?

"И он решил с целью окончательной победы праздника раскрыть клетку и выпустить прямо в стальное небо томящегося в ней петуха. Это было просто необходимо! Лишь тогда случился бы действительный триумф, истинный апофеоз, точка над латинской буквой *i*. Мирзликин протянул руку и..."

Господи, да ведь это же и впрямь про матушку-перестройку, про нынешнее торжество. Но это, так сказать, глобальное обобщение, это слишком уж смелая мысль. А если поближе присмотреться, то ведь все то же: действиями Мирзликина руководит газетный импульс, он управляет не собственной волей, а потоком народного сознания, запечатленного в правдивом слове. Он гораздо более великий герой, нежели Дон Кихот, ибо тот действовал во имя лишь своей собственной возлюбленной, а Мирзликин действует во имя возлюбленной всеобщей, центрально удостоверенной. Тут уже не только Гоголь и Блок, не только русская литература, тут, шапки долой, мировой классикой пахнет-с:

"Тут-то и случилось трагическое. Мирзликин потом мне объяснял, что это, наверное, — искусственный мед. Искусственный он и есть искусственный — загустел, повытерся, истончал. Мед ли истончал или еще что, а только Мирзликин на глазах у всех как-то странно расшиперился и с дикой скоростью притяжения земли полетел вниз вместе с петухом и коньяком, сильно поломав себе об эту землю голову. Завыла "скорая", и его увезли в больницу".

Писать про книгу Евгения Попова почти такое же счастье, как и читать ее. Будь моя воля, я бы о каждой новелле поговорил, каждую бы строчку из "Правды" прокомментировал. Чего только в этой книге нет: тут и человек из подполья есть, и... Но я не хочу быть эгоистом, не хочу, дорогой читатель, лишать вас удовольствия. Во что бы то ни стало раздобудьте эту книгу. То-то посмеетесь, то-то наразмышляетесь. Я-таки по прочтении этой книги задался вопросом: а был ли он, застой-то? Какой же это застой, если вот такое искусство творилось? Или получается по Ленину: чем хуже, тем лучше? Значит, опять размышляй: что нам

дороже – динамичная жизнь без великой литературы или великая литература без динамичной жизни? А, простите, какая же динамика без литературы? Литература это и есть динамика. Хотя, и сам чувствую, что-то в этих рассуждениях не то, что-то не так... Одно знаю твердо: Евгений Попов уже потому замечательный писатель, что из глубины застойного ренессанса не только перестройку предсказал, но и девиз ее прочитал даже: "освободим петуха!".

**Виктор ДМИТРИЕВ**

Оклахома, 1991 г.

# ТРИ ЛИКА РУССКОЙ ЭРОТИКИ

Юрий Мамлеев, Евгений Харитонов, Эдуард Лимонов – три эрогенные точки современной русской литературы. Писателя нового литературного поколения, использующего эротический язык, всегда можно возвести к одной из них. А учитывая тотальную эротизацию современной литературы, это относится к большей части ее представителей. О причинах же этой эротизации я скажу позже.

Есть, правда, еще Саша Соколов, стоящий одиноко, в том смысле из-за его сознательного отталкивания от эротического бума. Дело не только в редком использовании непосредственно эротического материала в его первых книгах. Его эротичность – особая проблема. Это не эротичность сюжета, действий, событий, а самого языка. Саша Соколов эротичен, как Гоголь, отношения которого с сексом были, как известно, достаточно сложными. Но характерно, что в соколовской "Палисандрии" ироническое разоблачение эротического письма занимает одно из ведущих мест.

В дальнейшем хотелось бы сосредоточиться на Харитонове и Лимонове, которые в моем восприятии двуедины и обратимы, подобно половинкам детской склеенной фишки для игры, выкрашенным в разный цвет. О Мамлееве же замечу только: эротика у него – и особая проблема для нас, как у Саши Соколова, и не может быть выделена в таковую. Сексуальное у Мамлеева – часть общей темы человеческого организма, его внутренних функций или,



напротив, дисфункции — от лунатизма до запора. Но ни сексуального, ни — шире — физиологического как реальной, непосредственной данности в мире у Мамлеева нет. У него это — лишь материал для метафор. Чувственности никогда нет за мамлеевской эротикой. Она не должна отражать ни собственный жизненный опыт писателя, ни его конкретный, частный интерес. Рассказы Мамлеева и его роман "Шатуны" — это развернутые философские притчи о роковых ошибках человека на пути богоискательства и — одновременно — о проявлениях Бога внутри человека, естественно, в самом потаенном и нередко традиционно табуированном, т.е. изначально сакральном, в том числе физиологических отправлениях. Причем перебои и аномалии в их течении — это и есть для Мамлеева тайные знамения и свидетельства Божества. Здесь половой акт — всегда мистерия слияния с ним, а половая активность — поиск этого слияния.

Проза Мамлеева безлична в двух отношениях. В ней нет героя-личности, индивидуальности, характера; он — всегда абстрактное воплощение. И из прозы выведен автор, поставлен над ней, над персонажем; отождествлен с тем самым Абсолютом, Внутренним (он же Внешний) Богом, который взыскуется. Отсюда — черноватая ирония, окрашивающая повествование: с точки зрения Абсолюта, все человеческие, самые мучительные искания комичны. Так, в "Смерти эротомана" полуидиот Ваня, мастурбирующий на карнизе женского общежития, — человек вообще; законы девушки, его возбуждающие, — онтологические сущности; а мастурбация — иносказание трансцендентальной устремленности. Здесь все очень просто. Сложно бывает расшифровать. Чем позднее рассказ Мамлеева, тем он герметичнее.

Другое дело — Харитонов и Лимонов. Сколько бы первый ни опускал в самых неожиданных местах знаки препинания, сколько бы второй ни матерился — оба они крайне классичны, традиционны. Их герои — конкретные индивидуальности, характеры. В центре авторского внимания — тривиальные для литературы взаимоотношения: личность и общество. Авторская позиция выявлена и однозначна. И за эротическим у обоих — реальная чувственность, авторский опыт, на чем писатели особенно настаивают.

Гомосексуализм — общее у Харитонova и Лимонова, а лимоновская бисексуальность его отличает в этой паре — и это не наше подглядывание в щель. Замечу: везде дальше говорю о художественных "Я" Харитонova и Лимонова, без специальной оглядки, что мы знаем о них как о реальных людях. Но для Харитонova и Лимонова принципиально тождество автора именно с центральным персонажем, а не с высоко поставленным сторонним наблюдателем. Их произведения можно адекватно воспринимать лишь при допуске, что персонаж — сам автор. Харитонов и Лимонов в разной степени создают апокрифы о себе, но о себе как о себе, и задача автора — всячески настоять на своем совпадении с персонажем. Если герой Мамлеева мастурбирует, у нас нет никаких оснований заподозрить автора в тайном пороке, в котором любил признаваться В. Розанов. Но герои Харитонova и Лимонова не были бы гомосексуалистами, если бы ими не были сами авторы.

У Лимонова взаимоотношения с героем-alter ego – сложные. Сначала Эдуард Савенко создавал и растил из себя Эдичку Лимонова, пока в нем не растворился; потом Эдичка Лимонов принялся восстанавливать Эдика Савенко. Этот круговой процесс мог бы повторяться бесконечно. И тот и другой – характеры апокрифические, житийные. Но кто из них первичнее, теперь уже понять невозможно и не имеет значения. Так откуда же пришел у Лимонова гомосексуализм? Из литературы в биографию или из биографии в литературу. Главное, что гомосексуализма не было бы в лимоновской литературе, если бы не было его в биографии. Перед нами реализация литературного мотива двойничества, редкая в серийном контексте. Такое буквальное распадение автора на два самостоятельных персонажа-ипостаси можно сравнить разве что с отделением Шерлока Холмса от Конан Дойля (но это произошло против воли последнего).

Теперь – откуда есть пошла современная эротизация литературы, в том числе русской, и, может быть, учитывая причины, прежде всего русской. Возможно, секс – сейчас единственная область человеческого существования, которая, во-первых, наименее захвачена всеобщей политизацией, социализацией; во-вторых, еще имеющая эстетическое значение; в-третьих, относительно сохраняющая ритуальность. А это те три обстоятельства, в которых искусство может выполнять свои специальные задачи. Поэтому позволительно усомниться, можно ли сейчас писать о чем-то другом, кроме сексуального, или – шире – физиологического вообще. Там же, где в сексуальное вторгаются (а это происходит постоянно и с различным успехом) социализация, деэстетизация и деритуализация, происходит взрыв, катастрофа из-за столкновения несовместимого. Чего никогда не произойдет в областях человеческого существования, и без этого социализированных равномерно и где эстетика и ритуальность разрушены полностью. Но искусство – там, где взрыв. Так, групповое изнасилование (кстати, один из центральных эпизодов лимоновского "Подростка Савенко") может быть рассмотрено как сознательное посягательство на все три преимущества сферы пола. Оно, может быть, – подлинная мечта всякого авангардиста, единственный хэппенинг, достигающий идеально чистых коллективности действия, безобразности и последовательного нарушения условленных норм.

То есть сексуальное дает сейчас литературе единственный материал, из которого может быть получена и башня из слоновой кости, и шиллеровская перчатка, брошенная в человеческий зверинец. Здесь как раз и проходит определяющая граница между Харитоновым и Лимоновым. У первого башня, у второго – перчатка.

Харитоновский гомосексуализм – крест, лимоновский – орел. Харитоновский – ад, лимоновский – рай. Харитоновский – проклятие, лимоновский – благословение. Но заметим: и проклятие, и благословение – в равной степени знаки избранничества, хотя знаки разные. Герои обоих – изгои мира, отщепенцы, однако различно авторское переживание этого. Гомосексуальная башня не то чтобы строится харитоновским героем, скорее, наоборот, – он в нее заключен некоей внешней силой ("Что-то" – "Известно Что").

называет он ее), давшей ему такое зрение. Изгойство Лимонова – добровольное и целеустремленное. "Ты сам себе эту дорогу выбрал", – обращается он к себе.

Существование харитоновского героя – бесконечная цепь оставленных мгновений красоты, всех этих "забавных мелочей", несущих печать индивидуального, неповторимого, изысканного, эфемерного, "дивного временного", на что не обратит взгляда обыкновенный человек. Но что жадно высматривает и фиксирует в памяти герой? "Я мышка. Я быстро-быстро бегаю, ищу сухарик", – говорит он о себе. Именно это эстетическое зрение, ставшее между ним и миром, переживается как проклятье, клеймо отверженности. Быть как все, как "они", такими же – неосуществимое желание героя. Они – "в жизни", я – вне ее. Они все "танцуют", я – "аритмичен", находит герой формулу. А для Лимонова он сам, вместе с близкими ему, их положение в мире, поведение – критерии нормального. Вот например, маньяк, изнасиловавший 11-летнюю девочку: "только такие, оказывается, еще ценят и свежесть, и красоту, и несмятость". А кто не с ними, тот как раз ненормален, болен, хил. Это – сумасшедшие. Происходит перераспределение ролей: не Лимонов отвержен, а он отвергает. И только он один является несомненным судьей.

Когда Харитонов в знаменитой "Листовке" переходит от Я к Мы, сочиняет себе единоверцев, соратников-гомосексуалистов, утверждает их законодателями моды и красоты, изобретшими балет, а прочих людей объявляет "задушенными гомосексуалистами", то это – уже истерика в полном и безысходном одиночестве. Для Лимонова же "мы" – органично. Это может быть "великое племя" неудачников, или авантюристов, или гомосексуалистов – незнакомых, встреченных случайно на улице, обменивающихся с ним улыбками, – или революционеров, левых, экстремистов-террористов, или простых служащих столовой, но тоже будущих солдат будущей Великой Революции. Одиночество героя-автора среди них особого рода, это одиночество вождя, инициатора мировой заварушки, с ножом или пистолетом в кармане.

Гомосексуализм Лимонова – разновидность его общего радикализма: политического, социального, расового (последний, разумеется, – черный) Лимонов всегда предпочитает разрушителя – строителю, бедного (еще лучше – нищего) – богатому, негра – белому, мужчину – женщине, пистолет – поцелую. И водя дружбу с бродягами-неграми, он только пожалеет, что не может сменить цвет кожи. А еще радикальнее, если негр при этом – гомосексуалист и экстремист... Потому что все это прежде всего – красиво.

Для Лимонова объект эстетизации безразличен: облизывают ли проститутки на ветру губы, или над головой – звездное небо, или в водах Лонг-Айленда – неопознанное девичье тело. Лимонов рад всему: и огуречным зернам в собственном говне – как "великому открытию". В лимоновском эстетизме – тот же пафос агрессии и насилия, как и во всем остальном: красота, по сути, навязывается предмету, о ней и не помышляющему. Этот эстетизм шире харитоновского. Он может находить красоту в убийстве – как и в любви, в женщине – как и в мужчине, в богатстве – не меньше, чем в

бедности или в возможности отнять чужое богатство. Он бы хотел все. А Харитонов заперт в гомосексуализме, как в монастыре. Ассоциация только кажется парадоксальной: монах, отшельник, аскет.

Но гомосексуализм для Харитонова — не только стены, отгораживающие или защищающие (как посмотреть) от мира, а единственная призма для взгляда на него. Все в нем выделенное, красивое, имеет то или иное отношение к гомосексуализму. Окружающий мир — сер, убог, неприбран, груб и отталкивающий агрессивен, но взгляд выдергивает в нем реликтовые участки гомосексуальной красоты. Гомосексуализм оказывается ее заповедником.

Персонаж Харитонова — мономан, человек одной страсти. Его идеал — постоянство, трагедия — невозможность вечного возлюбленного. Харитоновские рассказы — о неразделенной или оставленной любви. "Дом" автора-героя, по его выражению, — тоска. В то время как для Лимонова — наслаждение, которое он выжимает из чего только может, — из любимого и красивого, но и из их разрушения, которое тоже и, может быть, — прежде всего, красиво. Лимоновский персонаж постоянно и неприлично счастлив. Даже когда несчастен. Потому что несчастьем он тоже упивается, как мастурбирует в "Эдичке" в колготки разлюбившей и недоступной жены.

Лимоновская агрессия открывает его миру, Харитонов герметичен, Лимонов принадлежит всем. Он трахает женщин, его трахают мужчины. Бисексуальность — частное проявление открытости, разгерметизированности. Лимонов — и мальчик, и девочка, и тридцатичетырехлетний мужчина (это его собственное видение себя)... Он — все.

Но гомосексуализм для него — это еще месть. За ушедшую, а по Лимонову, уведенную тем самым прекрасным, залитым солнцем и в падающих райских яблочках миром жену. Зовут же ее — Елена Прекрасная. Такое удачное было ему предзнаменование. Напрашивается — Елена Прекрасная... И поэтому Лимонов время от времени становится женщиной, этой самой вероломной, кокетливой, сексуально озабоченной Еленой, заменяет ее, воспроизводит в себе, собой, в чем-то пародируя, демонстрируя ей, что она, в принципе, заменима и заменена им, что он — самодостаточен. Может быть, если бы лимоновскую жену звали иначе, Лимонова бы не было — ни писателя, ни персонажа.

Но самодостаточность — это ведь харитоновская мечта. Идеальный возлюбленный для него — он сам, "но покрасивее", "другое Я" в полном смысле. Исток гомосексуальности здесь — собственное несоответствие своему идеалу. Это тоже, как и у Лимонова, любовь к себе, но — воспринимаемому, но — безответная. "Я подошел ко мне, мы обнялись... близкие люди... настоящие любовники" — описывается в "Слезях на цветах" эта невозможная встреча. Такой пафос окончательной замкнутости, круговой завершенности, того двойничества, которое для Лимонова — повседневность. Однако Лимонов через эту самодостаточность, наоборот, разомкнут. Любовник для него не "Я", а "Ты", реальный собрат и союзник.

Для Харитонова гомосексуализм — способ (как сказано — вынужденный) укрыться от грубого, здорового, драчливого, т. е.

мужского, мира. Само слово ему внушает ужас. Он заговаривает его, пишет через "щ": "мущина" — как будто смягчая само понятие. Он — "герой слабости", по собственному определению. Лимоновский персонаж — Герой в античном смысле, Персей, размахивающий гомосексуализмом, как Горгоной, и прочие медузы каменеют.

Я не посвящен в сексуальные тайны ни Харитонова, ни Лимонова. Но кажется художественно принципиальным выбор ими для персонажа модели поведения. У Харитонова — активный гомосексуалист, у Лимонова — пассивный (что для бисексуала как будто не типично, тем более обращает внимание такой универсализм). Харитоновский персонаж — изначально побежденный, и любовь у него — мучительная. Даже если формально удовлетворена, все равно — с постоянным ощущением временности, присутствия ревности, подозрений, сценами, страхами. Это традиционный романтический влюбленный, безутешный вздыхатель, с серенадами под окном, но только которого непривычно представляет гомосексуалист. По Харитонову, гомосексуализм — это вечный и часто безнадежный "любовный поиск". Лимоновский персонаж — победитель во всем: как мужчина и как женщина. Если для первого "победа" ассоциируется с понятием "взять", то для второй — с "быть взятой".

Лимоновский герой — вечный бродяга, по-возрожденчески одаренный и предельно свободный. Однако здесь не Человек (не всякий человек) — мерило вещей, а конкретная личность. Это Главный Персонаж, Лимонов, Единственный, — фон для всего остального: не герой на фоне (или — в) истории, а история на фоне и для Лимонова, и в нем. "Великое переселение" народов "совершилось только для того", чтобы еврейская девушка встретила в Нью-Йорке "русского парня, и они еблись", предлагается своя историография в "Дневнике неудачника". А другое произведение называется "У нас была великая эпоха" — не мировой войны, сталинизма, гигантских строек, коллективизации, индустриализации... А рождения Лимонова, как он рос и что делал, всех этих только ему помнящихся примет его детства, частными случаями которых становятся исторические события.

Лимоновский персонаж на глазах растет в размерах. Харитоновский мал, невиден и хочет быть невидным. Сцена Лимонова — весь мир. Харитонов — в углу, в маленькой зашторенной комнате. Лимонов — площадный, Харитонов — камерный. Гомосексуальный акт для него — священно- и тайнодействие. Для Лимонова — общее зрелище и достояние, бесконечная массовка, позорище, театр, теряющий смысл без зрителей. С полового акта сняты всякие покровы не только таинственности, но и интимности. Для Харитонова гомосексуальный акт сакрален. Отсюда — и разное функционирование мата.

Эвфемизм "традиционно табуированная лексика" теряет смысл в применении и к Лимонову, и к Харитонову. Для первого это — обыденная терминология, лишенная маркированности сниженностью или эпатажностью. Введенная в любой контекст, усредненный или, напротив, возвышенный, его не взрывает. Лимонов, кажется, единственный писатель, настолько реабилитировавший

мат, что он просто уравнивал его с прочими лексическими слоями. Когда Лимонов произносит "пизда" или "ебаться", это лишь, за неимением более точных и однозначных, наименования известных органов и действия. Когда Харитонов выкрикивает "он еб меня до крови" — это заклинание. А слово "хуй" распадается для него на магические формулы:  $X + Y = Z$ ,  $X - Y = \text{Й}$ . Потому что мат для Харитонова — не табуированная, а табуирующая лексика, тайнопись для действий и вещей, прямое название которых — ужас и преступление. Лимоновский мат постоянно сопровождает повествование. Харитоновский предполагает эротический контекст. Лимоновский еще одна примета разгерметизированности, открытости. Харитоновский — язык для посвященных.

Я не люблю заключений. Всякий текст, критический ли, художественный, — это произвольно выбранный кусок мира, всегда фрагмент, с любого места начатый и где угодно кончающийся. Идеальный знак здесь — многоточие. Однако напоследок все-таки замечу: Мамлеев, Харитонов, Лимонов представили три типа эротического письма: метафизический, романтический и культуриборческий. У нового литературного поколения они обычно являются в смешанном виде, но при доминанте какого-то одного. Писатель то строит притчи на сексуальном материале, то предлагает светскую повесть с водопадом половых актов, то увлекается шокингом. У последователей, как известно, все мельчает.

Но я далек от мысли, что названные типы исчерпывают все возможности эротики. Может быть, следующий шаг — освобождение ее от "второго" плана, превращение из средства иносказаний и утопий в материал флюберовского описания, где, скажем, половой акт не ведет к Богу, не разрушает мир, но и не спасает от того или другого, а интересен только потому, что есть. Это предложение где-нибудь в Иных Местах, может, и покажется трюизмом, но у нас, на родной почве, где "искусство для искусства" никогда не собирало многих сторонников, — едва ли не криминал.

*Олег ДАРК*

Москва, 1991 г.

## ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ КОНДРАТЬЕВЕ (1876-1967)

Художественная проза возникла из желания рассказать о необычном, нетипичном, не каноническом. Если поэтическое слово было в начале, а лишь позднее возникла проза, то ведь и поэтическое восприятие не является восприятием обыкновенным, оно не длится двадцать четыре часа в сутки. Типические характеры в типических обстоятельствах — частный случай эстетики. Эта марксова формула, подхваченная соцреализмом, увела к результатам печально известным. Художественная проза возникла как апокриф, незаконное дитя магически-поэтического канона. Она и в древности повествовала о необыкновенных обстоятельствах, в которые попадал обыкновенный человек.

Говоря о Кондратьеве, надо говорить о древности, хотя его творчество целиком в XX веке. Его дебют прозаика состоялся в газете "Россия" в 1901 г.; его первые стихи были напечатаны незадолго до этого. Он модернист — но это умеренный гармоничный модернизм времен "арт нуво". Таким Кондратьев остался и в своих поздних вещах, писавшихся, когда неогреческое направление в европейских литературах само уже отодвинулось в историю. Ученик Анненского, он модернизировал мифы. Он рано постиг интуицией, а не рассудком, что древний миф живуч, потому что в нем дышит вечность архитипов. Кондратьева как прозаика (отчасти и как поэта) еще откроют. Разумеется, к "революции в умах" это не приведет: он всего лишь один из забытых писателей серебряного века. Но он обладал здоровым чувством гармонии — "всегда в пределах гармонии", по словам Блока, хорошо знавшего Кондратьева. "Он не напрашивается на тайну, но таинственен и глубок", — заметил Блок по поводу рассказа Кондратьева о чертике и Христе, напечатанном в 1906 году в журнале символистов "Перевал".

"История о воскресшем Иоэзере" была напечатана в 1927 в "эмигрантской провинции" ("За свободу", №99). Газета печаталась тиражом в несколько сот экземпляров. Рассказ мелькнул и канул в забвенье. Во всей литературе о Кондратьеве не встретилось мне даже простого упоминания о нем. Между тем написан он зрелым мастером в относительно благополучный период жизни, в пору расцвета таланта, уже задумавшего осуществить свой наиболее честолюбивый замысел — демонологический роман "На берегах Ярыни".

"История о воскресшем Иоэзере" послужит к воскрешению и самого Кондратьева. Его забыли на полстолетия. Последняя его прижизненная книга ("Славянские боги") была издана в 1936 г. Первая посмертная книга ("Закат") опубликована в 1990-м. А теперь речь уже идет о переиздании его прозы. Если так, то в собрание прозы Кондратьева следовало бы включить и оставшуюся неизвестной невероятную "Историю о воскресшем Иоэзере".

Валим Крейд

*Александр КОНДРАТЬЕВ*

# ИСТОРИЯ О ВОСКРЕСШЕМ ИОЭЗЕРЕ

*Рассказ*

Я, Хоний, ночной сторож улицы кожевников в Безефском предместье Иерусалима, не сирийский наемник языческой власти, а правоверный иудей, охраняющий спокойный сон и имущество сограждан, хочу рассказать всем, кто интересуется чудесными делами, об одном происшествии, которому я был достоверным свидетелем.

Это случилось при первосвященнике Иозефе II, зяте Ганана, когда жив был еще император Тиверий, в четвертый год 202-й олимпиады по исчислению эллинов.

Имея над собою много начальства и мало лиц, помогающих мне от стола своего, при скудной плате за труд, я по доброй совести, однако, исполнял долг мой, не спал ни в дождливые, ни в холодные ночи и никогда не входил в соглашение с ворами и грабителями, хотя те и другие неоднократно пытались меня подкупить...

Говорят, за два дня до того происшествия, о котором я буду рассказывать, случилось не предусмотренное учеными из санхедрина затмение солнца, так что среди дня можно было видеть звезды на небе. Некоторые ставят это событие в связь с совершенною тогда же казнию бродячего галилейского пророка Иешуа бен Иозефа. Сам я ни затмения солнца, ни казни пророка не видел, так как спал в это время после беспокойной ночи, ибо по случаю праздника опресноков в город наш набирается обычно много пришлого люда, что требует особой бдительности и от храмовых, и от городских сторожей.



В ту памятную ночь я тоже не спал и с копьем в руке шагал по неровным каменным глыбам улицы кожевников (тогда еще не было настлано там гладких тесаных плит). Мне немного хотелось есть; я глядел на молодой месяц и мечтал о том, чтобы кто-нибудь пригласил меня зайти и попробовать по случаю праздников крепкого и темного, согревающего кровь в жилах вина с благовониями. Но почти все уже спали в квартале, изредка лишь виднелись кой-где из под опущенных ставень полоски слабого света... Никто меня не звал, и мне было грустно...

Когда же я проходил мимо дома незадолго до того умершего торговца вином Иоэзера, где тоже чуть-чуть светился огонь, я, помню, подумал: как хорошо было бы, если бы его вдова, толстая Лия, окликнула меня, позвала зайти к ней отдохнуть и угостила бы остатками ужина.

И в тот же миг в доме неожиданно послышался уши раздражающий вопль, дверь распахнулась; толстая Лия выбежала, с растрепанными волосами, на улицу и, продолжая кричать от испуга, вцепилась в меня крепко руками, как будто ища защиты моей.

Подумав, что воры забрались к ней в дом, я хотел было, с копьем в руках, стать у дверей, чтобы не дать им уйти, а Лие велел бежать к городским воротам, где всегда по ночам стояли римские воины, и звать их на помощь.

Но, к великому моему удивлению, Лия за римлянами не побежала.

— Я не хочу, чтобы язычники сделали ему что-либо дурное, — слегка успокоившись, сказала она. — Он лишь напугал меня, когда напугавшись, как прежде, вина, полез обниматься...

— Женщина, недели еще не прошло, как ты вдовеешь, а к тебе уже ходит любовник, — с негодованием произнес я, глядя на ее расстроенное лицо и беспорядок в одежде.

— Ох, если бы любовник! — проговорила она. — Нет, сам пьяница Иоэзер притащился ко мне с того света, достал из погреба кувшин самого лучшего вина и пьет. А меня хотел посадить к себе на колени... Но так как он мертвый, то я испугалась, вырвалась и убежала.

— Мертвый? — переспросил я. — А что же он говорит?

— Ничего не говорит. Только мычит и знаками требует есть... Я его боюсь, Хоний, и не хочу возвращаться обратно.

— Что же нам делать? — произнес я невольно. — Идти к Иоэзеру мне тоже не хочется. Тем более, что это не вор, не грабитель, не насильник, вторгшийся в чужое жилище... Он у себя дома... Вот разве что: через три дома отсюда живет благочестивый старец Элеазар бен Тобиаш. Этот старик имеет обыкновение читать и писать по ночам. Когда я шел мимо, в дверную щель был виден свет от лампы. Постучись к нему и попроси прийти к нам на помощь.

— Я одна по темной улице не пойду, — решительно ответила Лия.

— А если он убежит, когда я пойду вместе с тобою?

— Хорошо, кабы так, но он ни за что не убежит, не кончив кувшина. А когда кончит, пойдет в подвал за другим. Я-то ведь знаю его нрав и обычаи!..

И я пошел вместе с Лией к дому Элеазара бен Тобиаша.

Мудрый законник хотя и не спал, но выйти на зов наш сначала отказался, говоря, что его нисколько не касаются ночные буйства и происшествия, но когда я, сказав ему сквозь дверь, кто я такой, объяснил ему подробней, в чем дело и что со мной вместе он может ничего не бояться, старый фарисей соблазнился возможностью посмотреть на воскресшего из мертвых, тем более, что незадолго до этого он яростно спорил на углу с торговцем пряностями, рыжим Рувимом, придерживающимся саддукейских воззрений, и доказывал последнему возможность телесного воскрешения.

Быстро накинув на себя плащ с капюшоном и захватив в левую руку завернутый в зеленую козью ткань свиток закона, а правую опираясь на посох, старый наби поспешил вместе с нами к дому Иоэзера. Дверь там была, как и раньше, распахнута настежь, и полоса света, вырываясь оттуда, пересекала темную улицу.

Крепко сжимая от волнения копье, с бьющимся сердцем, первым из всех, я перешагнул за порог. Очутившись в комнате, я увидел, что кто-то, обернутый в запачканные, висящие до полу белые ткани, по сложению, росту и закинутой вверх черной бороде весьма похожий на Иоэзера, сидит, поджав ноги, на крытом ковром низком диване и пьет прямо из кувшина вино.

Когда сидевший оторвал, чтобы перевести дух, лицо от сосуда, я убедился, при свете неподалеку от него в два огня пылающей лампы, что это действительно Иоэзер, правда, несколько похудевший, с покрытым синеватыми пятнами лицом, но, по-видимому, как нельзя более живой.

Пришелец из погребальных пещер довольно вздохнул, вытер ладонью знакомую всем живущим на улице кожевников курчавую длинную бороду и ослабил полубеззубый свой рот улыбкой блаженных.

Но при стуке закрываемой за собою Элиазаром двери Иоэзер поднял голову и, заметя стоящих у порога жену свою, ученого старца и меня, с моим ржавым копьем, внезапно нахмурился и замычал как рассерженный телец. Он хотел приподняться на ноги и пойти к нам навстречу, но наступил на висевшие до полу лоскутья погребальных подвязок и, потеряв равновесие, снова опустился на свой диван.

— Иоэзер, — торжественным голосом обратился к нему бен Тобиаш.

Новое, несколько более сдержанное мычание было ответом.

— Скажи нам, как ты пришел сюда с места твоего погребения, — допрашивал наби.

Иоэзер, видимо, узнал его, сделал приветственный жест рукою, но вместо слов опять отвечал протяжным нечленораздельным звуком негомо.

— Ты понимаешь меня? — вновь спросил фарисей.

Иоэзер мотнул утвердительно головою.

— Ты не можешь говорить?

Снова такое же мотанье головы, сопровождаемое глухим коротким мычанием.

— Помогите ему встать, — приказал Элеазар.

Мы с Лией подошли с двух сторон к ее мужу и, взяв его под руки, приподняли и поставили на пол.

Разглядевший, подобно мне, трупные пятна на лице хозяина дома старый фарисей окончательно убедился, с кем имеет дело, и строгим голосом вновь отдал нам приказание:

— Накройте ему чем-нибудь голову и полейте воды на ладони!

И пока Лия нашла, а потом надевала на черные с небольшой проседью волосы виноторговца случайно лежавшую в одном из углов его старую войлочную шапочку, я же лил на руки Иоэзера воду из большого кувшина, старый Элиазар обратился к нему самому:

— Вытри руки теперь, протри их и крепко держи то, что я тебе дам. В этом зеленом платке завернут свиток закона, переписанный в дни юности самим благочестивым Маттафией бен Маргала, который сожжен был после живым за то, что проявил ревность о Доме Господнем и вместе с другом своим Иудою бен Варифа изрубил в куски изображение, помещенное Иродом над входом в храм... С благоговением держи этот сверток и слушай, что я тебе говорю!.. Заклинаю тебя именем Бога Отца, Адонай, Бога, явившегося Моисею в пустыне, среди огня, охватившего куст, и законом данным через того же Моисея, служителя Божия, если ты действительно восстал от мертвых, скажи нам человеческим словом, как ты воскрес!

Слыша эти слова, Иоэзер так затрясся, что я стал бояться, как бы не уронил он священного свитка. Рот воскресшего виноторговца раскрылся, и глубокий мучительный стон раздался из глубины его существа.

Тогда наби перстом дотронулся до его дрожащего языка и произнес:

— Шем Гамферош! Во имя Бога всемилостивого и всемогущего приказываю тебе говорить! Что с тобою было после твоей смерти?

— После того, как похоронили меня, — точас же начал ровным размеренным голосом Иоэзер, — пришел в смятение дух мой и познал себя лишь тогда, когда я очутился в стране плача и вздохов... Сумрачна и печальна эта страна, перерезанная черною рекою, по поверхности которой извиваются, как змеи, струйки огня и откуда понимается под нависшие своды густой, подобно дыму, туман, туман смертного сна...

И пока этот страшными образами полный туман не вполне еще рассеялся в памяти у меня, я, покорный силе страшного тобою произнесенного имени, постараюсь передать человеческими словами то, чему я был там свидетелем, что видел и испытал.

Многовековая пыль устилает сухую, бесплодную почву долины теней.

Прахом покрыты и ступени престолов, на которых сидят недвижные, подобные статуям языческих царей, молчаливые рефайимы. Одинаково унылы и одинаково грустят в обители смерти и праотцы наши, родоначальники избранного народа и нечестивые владыки Эдома, и души умерших ради закона Израилева праведников, и сожженные за свое волшебство колдуньи из Аскалона. Все равняет эта долина ада, страна Гегинном.

Возле меня сидел там на куче пепла призрак одного из пяти старцев, читавших некогда царю Египта на греческом языке наши священные книги. Он сам поведал мне шепотом, подобным лепету листьев безветренной ночью. Он же указал мне место, где, неподалеку от медных дверей, грустили, облокотясь локтями в колени, исполины Гива и Гийя, дети Самаэля, и другие потомки увлекшихся дочерьми человеческих ангелов... Отца их я не видел в аду. Зато я неоднократно созерцал повелителя преисподней, мрачного исполина, еще больших размеров, чем те близнецы. Чело этого князя было украшено золотой короной, и повеления его немедленно исполнялись подвластными ему духами ада...

— Как их зовут? Стерегиущие? — перебил Иоэзера фарисей.

— Это мне неизвестно. Я — лишь невежественный сучок сикоморы.

Помню, что часть из них была с крыльями, как у саранчи, более чем в человеческий рост, у других же, как у большого черного орла из пустыни... Лица этих демонов были донельзя страшны... Видел я и Сатану, князя смерти, приводившего в шеол души умерших для терзания их безвыходною скорбью. Видел я и сторожа ада, безобразного демона о трех головах...

Не помню, сколько времени, скованный незримыми узами, не дававшими мне шевельнуться, провел я там, томясь жаждой, созерцая мучения грешных и грусть праведных душ, как неожиданно в сонмах тех и других произошло шевеление и замешательство. В нарушаемой обычно лишь вздохами и почти беззвучным шепотом душ тишине послышался подобный жужжанию пчел в потревоженном улье возрастающий ропот. Среди вечного сумрака засиял сквозь щели старых медных ворот ослепительный луч, и при золотистом свете его, скользнувшем по сумрачным лицам сидевших на престолах своих рефаимов, патриархов и пророков, видно было, как некоторые из них содрогнулись от радости. Особенно пророки, которые, обретя внезапно дар слова, громогласно стали повторять темные свои предсказания о ком-то, имеющим прийти в темный ад для озарения светом и спасения грешников.

В то же время громко стали препираться между собой князь преисподней с Сатаной, князем смерти. Каждый из них посылал другого привести под адскую тень некоего Иешуа бен Иозефа из Назарета и каждый упрекал другого в недостатке смелости и колебаниях. Когда же князь преисподней узнал во время спора, что этот пророк обладает властью возвращать к жизни умерших людей, то он перестал желать души этого человека. "Заклинаю тебя властью твоею и моею, — просил повелитель ада, — не приводи сюда Иешуа, ибо если ты его ко мне приведешь, то всех, кого я здесь держу, освободит и уведет за собою... Смотри же, не приводи!"

В это время раздался, помню, под адскими сводами голос, подобный шуму урагана или отдаленному грому: "Властелины страны Гегинном, страны вздохов и вечного мрака, отприте ваши врата, ибо должен войти в них Светозарный Царь Славы!"

Услыша голос тот и увидя, как лучи света проникают сквозь щели ворот, пришли в смятение нечестивые духи, стерегиущие ад;

часть их стала прятаться по наиболее темным углам, часть же начала строиться, как римские солдаты, перед воротами, дабы дать отпор тому, кто вторгнется в них. Князь преисподней, охваченный страхом, стал требовать от Сатаны, дабы тот вышел к врагу и сразился с ним вне пределов шеола. Но Сатана не хотел выходить за порог без властителя ада. Слыша их спор, подняли ропот души усопших, настаивая, чтобы впустили Того, кто должен войти. Тени царей, патриархов и пророков обрели внезапно возможность двигаться, с изумительной смелостью, толпой окружили властелина шеола, требуя, дабы он повелел открыть ворота.

Забыв про величие свое, тот стал пререкаться с пророками и царями, а сонмы прочих усопших израильтян и иудеев наступали со своей стороны на обьятых смущением "стражей"...

И снова прокатился под сводами ада подобный раскатам грома голос извне: "Отопритесь врата, да внидет Царь Славы!"

От этого голоса сами распахнулись половинки ворот, а кроме того, с грохотом разверзлись адские своды, так что я увидел на мгновение ночное небо и на нем содрогание пришедших в смятение звезд...

И Некто, подобный человеку, озаренному светом, источник которого был в нем самом, низошел в страну Гегинном. Исходившее от него сияние осветило все дотоле темные закоулки шеола, даруя радость бесплотным очам заключенных там душ. И устрешенные демоны, преграждавшие вход, как один, падали ниц, завывая: "Ты победил!"... Лежал вместе с ними и князь смерти, восклицая как и они: Ты победил!"... И отрекся от него распростертый рядом князь преисподней, глядя на побежденного Сатану, лежащего под пятой Светозарного мужа...

Тут я заметил, что не стесняют меня больше незримые цепи, как воск растаявшие от разлитого всюду сияния. Тогда я поднялся с кучи пепла и вместе с другими стал славить свободу, дарованную нам Светозарным. Некоторые же начали осыпать насмешками и бить лежащих в прахе демонов ада.

И слышал я, как Победоносный муж сказал простертому перед ним властелину страны Гегинном: "Отныне, князь, Сатана будет подвластен тебе во веки веков взамен Адама и сынов его, праведных моих!"

Упало при этом сердце мое. Вспомнил я, как разбавлял водою вино, давал в рост за незаконную лихву деньги, колотил жену мою Лию, клеветал на соседей, обобрал в годы юности вдову хозяина, и многое другое вспомнилось мне... Раз победитель ада берет из-под власти князя этой страны только праведников, то что же будет со мною? И стало мне страшно, что за грехи мои предстоит мне остаться в аду!

И пока Светозарный, в сопровождении одетых в светлые панцири ангелов, разыскивал праведников, дабы вывести их, я, пользуясь общим смятением, незаметно приблизился к выходу. Трехголовый демон, охранявший врата, громко сопя и вздыхая от страха, лежал смиренно ничком у порога. Он видел, что я хочу убежать, но не смел ни крикнуть, ни шелохнуться, в то время как я прыгал через него, и лишь проводил меня яростным взором одной из голов...

Едва я очутился вне преисподней и дохнул прохладным чистым воздухом ночи, закружилась моя голова, показалось мне, что я лечу, и, почти тотчас, я вновь очутился во мраке.

Придя понемногу в чувство, словно после страшного сна, я почувствовал себя вновь связанным, но не незримыми узами, а погребальными пеленами. Из каменной жесткой ниши в стене, где я лежал, виден был слабый луч серебристого света...

Собравши все силы, освободился я понемногу от мешавших мне двигаться полотняных повязок и выполз из ниши. Поднявшись на ноги, я понял, что нахожусь в погребальной пещере и что лунный свет льется в щель заваленного каменной глыбой выхода. При помощи найденного мною случайно ощупью на полу обломка кирки мне, не без труда (т.к. я весьма ослабел), удалось откатить этот камень. Вылезши наружу, я узнал долину погребальных пещер в окрестностях города.

Дорога домой была мне известна. Перейдя через сухое русло Кедрона и обогнув город справа, я никем не встреченный дошел до того места, где стоят незаконченные Агрипповы стены.

Перелезши через эту ограду, я очутился в Безефском предместье. И здесь удалось мне незаметно от римского патруля добраться домой, пока Лия не легла еще спать и двери моего дома не были заперты.

Так как я не пил целую неделю и все время мучился в аду страшную жаждой, то естественно, что я первым долгом спустился в погреб и принес оттуда вина. Жена моя, которой, кажется, более нравится быть вдовой, рассказала вам, надо думать, все остальное... Возьми обратно свой свиток, Элиазар. Он мне больше не нужен. Если вы хотите разделить ужин и выпить со мною, то садитесь и пейте, а нет — идите спать по домам, ибо я не прочь буду скоро отдохнуть, как подобает благочестивому семейному иудею на настоящей мягкой постели<sup>11</sup>.

Наби Элиазар отказался от угощения, сказав, что и Иоэзеру приличнее было бы не пьянствовать, а, проведя ночь на молитве, принести завтра благодарственную жертву во храме и показаться священникам, которые и решат, оставаться ли ему впредь среди живых или общение с ним, как с нечистым, греховно.

Сказав эти слова, наби удалился со своим завернутым в зеленый платок свитком закона под мышкой. Я же выпил с Иоэзером две кружки вина, закусил свежим овечьим сыром, соленою рыбой и, посоветовав хозяину не ссориться с женою, ушел совершать свой обход.

Когда ж я вновь проходил в ту ночь мимо жилища вино-торговца, там все было тихо, и света сквозь ставни не было видно. На рассвете я, не заходя к Иоэзеру, пошел домой спать.

Проснувшись, никому не говоря о происшедшем, я отправился навестить толстую Лию, которая мне сообщила, что она успела запереться от нечистого мужа на верхнем этаже, и тот хотя и стучался к ней в дверь, но она ему не отворила. Поутру же Иоэзер, выпросив у нее свою старую одежду, скрылся неизвестно куда. Вероятно, он боялся, что старый наби приведет к нему своих зна-комых священников, которые заставят его исполнить трудный

обряд очищения или постановят изгнать, словно прокаженного в пустыню...

Ночью, когда я проходил мимо Иоэзерова дома, двери были заперты, но сквозь ставни виден был свет и слышен шум, будто виноторговец с женою бранились и дрались. Я не считал возможным ломиться к ним в дом и лишь на другой день, под вечер, зашел проведать Лию, которая собиралась в это время выбросить незаметно на улицу целую кучу черепков от разбитых кувшинов.

— Ну что, дома твой муж? — спросил я ее.

— Нет, опять под утро ушел, — отвечала заметно похудевшая от бессоницы, испытанного ею испуга и других треволений жена виноторговца. — Боится, что его будут свидетельствовать. Приказал готовить мне к вечеру горячий ужин, крепкого вина и запретил рассказывать, что приходит домой. Велел говорить, что не является больше.

— А как себя ведет?

— По-прежнему: пьянствует, подозревает, что я уже связалась с другим, ломает дверь, когда я от него запираюсь, и кричит так сильно, что, не ровен час, перебудит соседей. Я его боюсь, Хоний, и сама собираюсь уехать в Тивериаду, где живет моя сестра... Ты не знаешь, как страшно быть женой мертвеца, хотя бы даже воскресшего... Напившись этой ночью, он опять мычал, как рассерженный бык. Я боюсь также, чтобы прохожие не подумали, что я по ночам пирую с любовниками... Право, лучше мне было бы бросить все и уехать!

— погоди уезжать, — посоветовал я, — пойдй к Элиазару. Он, наверное, что-либо придумает!

— Пойдем вместе, — предложила мне Лия, и мы пошли к мудрому наби.

Выслушав огорченную женщину и все ее жалобы на нравственную испорченность мужа, заставлявшего ее прикасаться к своему хотя и воскресшему, но все-таки, вероятно, нечистому телу, старый фарисей предложил Лие навестить ее, когда у нее будет муж, чтобы уговорить Иоэзера исполнить обряд очищения и, представ перед санхедрином, рассказать подробно о всем виденном и слышанном в стране Гегинном.

— Дело в том, — прибавил Элиазар, — что, кроме твоего мужа, оттуда ушло еще несколько воскресших мертвецов. Двое из них были уже пред лицом первосвященника нашего Иозефа и тестя его Каифы и поведали о том, что видели в шеоле ликованье пророков по поводу прихода туда некоего праведного мужа. Этот посланник Божий в сопровождении главы ангелов Михаила вывел будто бы из ада сонм патриархов, пророков и прочих благочестивых душ и возвратил в тела их дыхание жизни для благословенного существования среди тенистых рош возвращенного для них Богом в Заиорданской стране райского сада. Так как большинство санхедрина состоит из саддукеев, не верящих в загробную жизнь, то явка туда твоего мужа и свидетельство обо всем, что он видел после смерти, прямо необходимы... Да и мне самому хотелось бы знать поподробней, какого размера и вида были крылья у ангелов и чем они отличались от демонских... Кроме того, пусть меня про-

вожает, как в твой дом, так и обратно, Хоний... Не оттого, чтобы я кого-нибудь боялся, но просто, чтобы люди не подумали чего-нибудь дурного, узнав, что я ночью, один, ходил в дом вдовы. Когда твой муж придет, зажги огонь в верхнем покое и оставь там приоткрытую ставню, чтобы свет вилен был с улицы...

Когда стемнело и условленный свет зажегся в горнице, я зашел за Элиазаром бен Тобиашем. Вскоре мы стучались уже у дверей виноторговца. Открывшая нам двери хозяйка смущенно стала благодарить нас за наш приход: — Он опять шумит... Недоволен ужином и вином. Я не виновата, что у меня нет больше ценных сортов. Я собиралась ведь прекратить торговлю и уехать из Иерусалима, а потому и не делала больше новых заказов, — шепотом оправдывалась она.

— А, опять пришли! — послышался охрипший от выпивки голос хозяина. — Опять ты здесь, фарисей?! И ты, Хоний, тоже притащился меня беспокоить!.. Чего вам нужно?

— Я пришел, Иоэзер, еще раз указать, что тебе подобает явиться в храм и принести там как благодарственные, так и очистительные жертвы, а кроме того, предстать пред санхедрином...

— Идти во храм, обратить на себя внимание обитающих там ангелов и попасть затем обратно в страну Гегинном, скучать там в темноте и не иметь ни капельки не только вина, но хотя бы самой грязной воды, дабы омочить иссохший от жажды язык?! Покорно благодарю! Пока там меня не хватились, я проживу еще здесь и возьму, что сумею, от жизни! Слышишь ты, Элиазар, — не пойду я к твоим друзьям из санхедрина. Все равно они не защитят меня от слугителей ада, если те явятся за мною. Меня нисколько не соблазняет лицемерие ни фарисеев, ни боэтуссян, ибо те и другие одинаково мне надоели и здесь и в стране Гегинном!

— Но ты забываешь про жертвы, — с твердой кротостью напомнил Элиазар.

— Очень мне они нужны, если я сам являюсь жертвой, неизвестно кому приносимой! Овцы и телята перестают, по крайней мере, чувствовать боль, когда из них вытекает кровь, а в стране вздохов и стонов испытываются бесконечные муки.

— Двое воскресших одновременно с тобою являлись уже в санхедрин и говорили, что Некто велел всем исшедшим из ада собраться в Заиорданье, где они будут вести блаженную жизнь в плодовых садах, для них возвращенных...

— Это для праведных душ. А я — грешник и боюсь туда показаться, чтобы не попасть как-нибудь вместо райского сада в руки демонов-истязателей. Они, пожалуй, уже ищут меня... Не сердись, Элиазар, что я не хочу идти ни в санхедрин, ни в Заиорданье. И не говори, пожалуйста, никому, что видел меня. И ты не рассказывай, Хоний. Выпейте лучше со мною вина!

— И без нашей помощи будет найден и понесет наказание грешник, не желающий приносить Всемогущему благодарственных жертв. Вместо них ты творишь возлияние искусившему праотца Ноаха бесу Самдону, — сердито ответил фарисей и тотчас же вышел обратно.



Я хотел было последовать за ним, но Иоэзер задержал меня и отпустил не раньше, чем я осушил вместе с ним три добрые кружки вина и не dokonчил остатков баранины. Охмелевший виноторговец плакал, расставаясь со мною, и говорил, что ему все время вспоминается взор, которым его проводил во время бегства трехголовый страж ада. — Понимаешь ли: этот взор чудится мне в каждом темном углу, пока я не напьюсь до потери сознания. Я даже боюсь теперь спускаться один в винный погреб, — говорил мне, обнимая меня на прощанье и моча слезами мне щеки, выходец из ада.

На другой день я встретил на улице Лию, прикрывавшую широким платком свежий синяк под левым глазом.

— Эх он тебя! — сказал я сочувственно ей. — За что это так?

— Да все за то, что я заявила ему, как научил меня вчера за дверьми Элиазар; что не согласна быть его женой до тех пор, пока священник не удостоверит, мертвец он или живой и можно ли, не оскверняясь, к нему прикоснуться. Побив меня, Иоэзер стал говорить, что не нуждается в удостоверениях ни от храмовых служителей, ни от саддукеев из санhedрина в том, что он не призрак, и что он сам может дать такое удостоверение и храмовому служителю и саддукею...

— А теперь где он?

— Под утро, завернувшись с головой в свой плащ, выходит обычно из дому, а пожалуй, и из города, и прячется где-то, может быть, в погребальных пещерах, может быть, в чьем-либо саду. А с наступлением темноты он осторожно появляется в доме, приказывая мне оставлять для него не затворенной дверь.

— Стало быть, муж приходит к тебе не в ранних сумерках, а по ночам?

— Да, когда на небе уже засветятся звезды, а на улицы спускается тьма; тогда он и приходит, закрывая себе лицо старым плащом.

— Слушай, женщина, хочешь ты, чтобы твой муж оставил тебя в покое? — спросил я Лию.

— Очень хочу. Когда Иоэзер еще не умирал и в пьяном виде бил меня или делил ложе со мною, он и тогда был мне почти ненавистен. Но теперь, когда он вернулся из ада, тронутый уже разложением, характер его окончательно испортился, и сам Иоэзер во многом стал походить на мучителя-беса, из тех, что мерещатся ему во всех темных углах. Если он не бросает в них пустыми кувшинами, то занимается мною и бьет меня чем попало, заставляя вновь быть своею женою. Я не могу этого выдержать. Если Иоэзер был бы действительно жив, то я его, может быть, даже и отравила бы, но какой яд может подействовать на выходца из ада?!

— Никакого яда не нужно будет, Лия! Не нужно и бегства отсюда, — воскликнул я, озаренный счастливою мыслью. — Сделай лишь то, что я тебе скажу.

— Что же такое я должна совершить?

— Как только явится муж твой, скажи ему, что незадолго до него приходил сюда кто-то странный и темный, о трех головах, с широкими ртами, откуда торчат большие клыки. Скажи ему еще,

что этот пришелец спрашивал о нем и обещал этой же ночью еще раз зайти. Увидишь сама, что после этого случится.

Вслед за тем мы расстались, условившись, что я приду к ней на следующий день.

И когда я вновь увидел Лию, она с радостным криком бросилась на шею ко мне, как избавителю.

— Хоний, он убежал и, вероятно, никогда не вернется. Как только я ему сказала про трехглавого гостя, Иоэзер схватился за волосы и закричал: "Как, сам Трехглавый?!" Выпил затем залпом кувшин и начал метаться по дому, собираясь уходить...

— Куда ты торопишься? — останавливала я его. — Трехголовый говорил, что если он не застанет тебя этой ночью, то будет приходить сюда время от времени нас навещать, пока ему не удастся повидаться с тобою. Этот урод так радовался, когда узнал, что это твой дом и ты приходишь сюда ночевать. Он говорил, что ты большой его друг, что он соскучился по тебе и надеется теперь, увидав тебя, не разлучаться более никогда.

Но Иоэзер не стал больше слушать меня. Он взломал ящик с деньгами и забрал всю бывшую там мелочь (золото и полновесные сребренники я еще ранее перепрятала в другое место), затем схватил свой плащ и, выбежав поспешно на улицу, скрылся в ночной темноте.

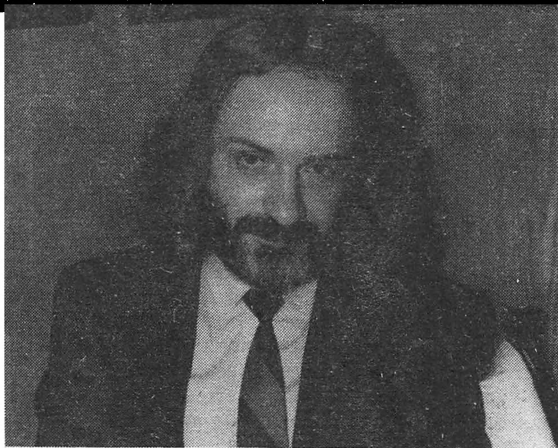
— Я тоже думаю, что он не вернется, — сказал я Лие.

— Дай-то Бог! — отвечала она и налила мне большую кружку из припрятанного ею от мужа кувшина с мускатным хиосским вином.

С нею вдвоем мы осушили этот кувшин...

Освободившись таким образом благодаря мне от неприятного супруга, Лия не проявляла, однако, надлежащей привязанности к своему избавителю. Я надеялся, что она выйдет за меня замуж. Но толстая вдова бежавшего виноторговца решила иначе. Оттягивая вопрос о нашей свадьбе под предлогом того, что ее муж, может быть, и жив, она продала втайне от меня свой дом и сад, а затем быстро уехала в Тивериаду.

И с тех пор я никогда больше не видел ни ее самой, ни ее воскресшего мужа.



*Михаил ЭПШТЕЙН*

## ТРИ ЭССЕ

### НЕБО В АЛМАЗАХ: ОБ АМЕРИКАНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Время среднего американца, как подсчитала статистика, делится на три примерно равные части. Треть отдается работе. Треть, как положено, сну. И еще одна треть, точнее семь часов с какими-то минутами, — телевидению.

Точная статистика — это уже сама по себе целая философия. Волею цифр американское телевидение помещается на свое законное место — между работой и сновидением! День отдан реальности. Ночь фантазиям и грезам. Но может ли день перейти в ночь, минуя вечер? И непонятно, как наши предки переходили от работы ко сну, минуя телевидение? Ведь оно и есть сущность вечера, его истома, когда реальность постепенно гаснет, покрываясь волнующими видениями, но еще просвечивает сквозь них, еще прикидывается достоверной — там, по ту сторону телеэкрана. Все вечерние увлечения, придуманные людьми: балы, маскарады, винные застолья и праздники, — это, по сути, предтечи телевизионных многоканальных пробежек из мира реальности в мир иллюзии, которая чуть-чуть еще успевает выдать себя за реальность, прежде чем сквозь синеющий сумрак погрузится в сон. У телевидения воистину — свет вечерний, дурманящий, несляпанный и нераздельный с предстоящей тьмой.

Банальный пример. Допустим, днем вы работаете на фирму, занятую продажей напитков в Австралию. Телефонные звонки, инструкции, контракты, деловые ланчи, повседневная рутина. Вече-

ром вы видите ту же Австралию в спектре политических новостей и географических передач: голубой волнующий континент за далью теплых морей, под созвездием Южного Креста. Одновременно вы видите рекламу тех же прохладительных напитков, где они взрываются искрометным ожерельем из тысячи радуг, светлыми пузырьками облепляют смеющиеся губы и медленно стекают по бархатистой шее, не забыв обрызгать округлость колен. Ну а ночью то ли Австралия нежится в пене океанов, то ли под проливным дождем смеются алые губы, то ли радуги оцепляют весь горизонт, — этого уже не разобрать.

Так телевидение плавно вводит нас в сновидение — словно и дальше продолжает мерцать тот же голубоватый экран, только уже под кожей век. Телевидение примиряет две великие распавшиеся реальности: дня и ночи, яви и подсознания. Оказывается, что поверхность земного шара выстелена корой наших мозговых полушарий. Нет ужасного, рокового противоречия между внешним и внутренним. Телевизор так устроен, что на одном его конце всё иллюзия, а на другом — все реальность.

Это и есть великая американская мечта, которую никак не могут постичь европейцы. Для них телевидение — средство познания, или средство пропаганды, или средство развлечения. Для американцев это вообще не средство, а реальность, равноправная с физической и психической реальностями. Но — еще более подлинная, чем эти две, потому что она их соединяет. Да и весь американский мир, с его фантаσμαгорией технических очевидностей, сам как будто сошел с экрана телевидения. Как будто весь континент от океана до океана, с точно прописанными горами и каньонами, рельефный в каждой детали, — это раздавшийся экран с планом "крупно". Поверните ручку — и Америка опять сожмется до телевизионного экрана, с которого она и вышла.

Американец неукротим в своей жажде совместить документальность и утопичность — фокус телевидения в том, что оно позволяет эти два фокуса совместить. Реклама, которая то и дело прерывает ход любых передач, — это не чуждое вкрапление в американский экран, а его родовая мета. Каждая реклама — это мир осуществленной утопии, которая сияет зрителю всем мыслимым совершенством: каждый соус — это рай вкуса, каждый пылесос — это рай чистоты. Рай не загробный, в ином пространстве, и не рай коммунистический, в ином времени, а рай в конечной своей форме, с точными характеристиками калорий, холестерина и технических свойств изделия. И телевидение есть голубая дорога в это мир воплощенных светил и небесных видений.

В том-то и дело, что для Америки телевидение вовсе не техническое изобретение или новый вид искусства, оно относится к числу таких же первосушностей, как для Гегеля субъект и объект, а для Маркса материя и идея. Бледный субъект, завернутый в кокон своего необъятного "я" и отрешенный от мира... Суровая реальность, подчиненная непреложным законам истории и неподатливая для усилий личности... Американцам все эти категории европейской филофии малоинтересны, потому что их философия делает из субъекта и объекта, а также идеи и материи одну сплюснутую реаль-

ность, умо- и всячески постигаемую. Телевидение — это и есть целостное мировоззрение, где реальность насквозь видима, а изображение более чем реально. И сама история — это фильм, герой которого попадает в историю, успешно выкручивается из нее — и остается в ней на память потомкам.

Однако верных почитателей статистики указанная цифра: семь часов с минутами у экрана — может насторожить. За вычетом сна и работы на все прочее остается меньше часа. Ну а как же дружба-любовь? Книги-газеты? Завтраки-ужины? Воспитание детей? Удовольствие соседской беседы и приема гостей? Неужели на все это у бедных запойных телезрителей не остается времени?

Да ведь в том и дело, что телевидение всего этого прочего не вытесняет собой, а как бы окружает и обволакивает. Оно вполне совместимо и с чаепитием, и с любовью, и, если хотите, с игрой на флейте, стоит только чуть приглушить телезвук. Оно во всякое времяпровождение привносит толику другой, нездешней услады, чтобы стало еще лучше, чем вообще может быть.

Ради такого всеприсутствия американское телевидение позволяет себе делать слегка отсутствующий вид. Оно не настаивает на вашем непрерывном внимании. Оно позволяет вам отвлекаться настолько, чтобы минут через пять, поправив сбившуюся прядь или закрыв кулинарную книгу, вы с чувством полной уверенности продолжали следить за происходящим. Цельные смысловые куски в большинстве американских передач занимают, по моим любительским подсчетам, сорок-пятьдесят секунд, иногда — две-три минуты. Пропустив развитие одного куска, можно тут же попасть на начало следующего.

Поэтому на телевидении в самом большом ходу передачи, которые по способу передвижения можно назвать членистоногими, например, всевозможные конкурсы и викторины, где участники на минуту сменяют друг друга, или короткие водевильные сценки с участием одного круга заведомо узнаваемых лиц. Такую передачу можно смотреть пополам с каким угодно занятием.

Одно из принятых объяснений — то, что американцы непоседливы как дети и любят быстро переключаться. Да, больше всего на свете они боятся тяготины и многие наши серьезные фильмы, пожалуй, оттолкнули бы их своим последовательным программным содержанием, когда одной мысли хватает и на час, и на два экранного внушения. Американцы быстро схватывают и требуют: а что еще? а что дальше? Повторение им кажется рассчитанным на дебила, точно так же, как нам может показаться дебильным их постоянный перескок с одного на другое.

Но суть в другом. Главная ценность американской жизни — демократия, и телевидение укрепляет и поддерживает ее всем своим техническим строем. Речь не о том, что оно пропагандирует демократию, — оно само и есть демократия. В отличие от театра и кино, которые требуют избранной публики, уединившейся в особом пространстве, телевидение приходит к каждому на дом — и остается в мелочах быта, включаясь по первому требованию. Причем американское телевидение не просто формально откликается на этот запрос, но и дробной структурой своих передач всегда готово подключиться к нашему восприятию, быть с нами в любви и в

дружбе, в приготовлении обедов и уроков, всегда и во всем, чтобы телеэкран не мешал, а сочувственно включался в любой интерес, как шум листвы или моря, веянье всеобъемлющей второй природы. Психологически такое телевидение состоит из сплошных зон включения, на каждом слове, в любой отрезок времени.

И, добавим, на любом отрезке пространства. Для того и предназначены эти дистанционные переносные пульты, чтобы телевидение неотлучно было при нас, удобно устраивалось с нами на тахте или толклось на кухне у плиты, заглядывало из-за плеча в популярный роман или математический справочник. Казалось бы, зачем американцу такой постоянный голубой фон для всей его многообразной деятельности? Так ведь это его национальная мечта, его поднебесный рай окликает и настигает повсюду.

Вообще передача, как некая единица авторско-режиссерского замысла, вовсе не является самостоятельным предметом американского телезрелища. Как в современной архитектуре главное — не отдельное здание, а создание цельной жизненной среды, так и американское телевидение — создает среду обитания для нашего мозга, строит "голубые города" воплотившихся сновидений. Телевидение — это архитектура восприятия. Через экран не столько получают определенный фильм, концерт или матч, сколько погружаются в мир бесконечных телевизионных возможностей. Зритель постоянно блуждает по множеству передач, одновременно идущих по тридцати-пятидесяти каналам. Если добавить сюда платное, кабельное телевидение, то число каналов возрастает до сотни, и все они непрерывно передают разные программы: информационные, спортивные, музыкальные, театральные, юмористические, детские, молодежные, образовательные и т. д.

Обычно зритель минут за десять успевает пошарить по всем каналам, вкусить понемногу от каждого и выбрать передачу себе по вкусу, но его терпения хватает только на следующие десять минут. Ведь за это время на половине каналов передачи уже обновилась, как же не пройтись по ним заново в поисках наилучшей. И опять щелкает переключатель, и по-новому сложенный калейдоскоп разных программ ложится на сетчатку утомленно-ненасытного глаза.

В итоге образуется качественно новое зрелище — гигантская телефреска. В одном помещении вас окружают как бы сто телевизоров, ведущих трансляцию по разным каналам, и вы переходите взглядом от одного к другому, сохраняя вместе с тем какое-то смутное видение и понимание целого. Телевизор своим изображением как бы стремительно обегает вокруг вас, закруживая и непрерывно окружая собой.

В России телевизор сиротливо стоит на тумбочке, одинокий, как последний глаз у идущего к слепым человека, — единственное окно и отдушина в другой, непрожитый мир. Нужно смотреть в него долго-долго, чтобы до чего-нибудь доглядеться сквозь тускнеющий зрачок — попытаться скрываемой правды. В Америке тот же ящик, как маг, выбрасывает сразу множество изображений. Впору не вглядеться, а зажмуриться. И уже не утло покачивается слабо мерцающий деревянный челнок в темной пучине комнаты — а сама комната плывет по волнам голубого эфира, окруженная со всех

сторон океанически необъятной, бурливой, многопенной телевизионной средой.

Кстати, в восьмидесятые годы в США стали проводить выставки нового вида искусства. Созерцанию предлагается система из нескольких телеэкранов, по которым независимо текут изображения — их внутренняя взаимосвязь, предусмотренная многоканальным режиссером-постановщиком, и образует новое художественное целое. По сути ведь и традиционная картина воспринимается зрителем не в один обхват, а серией зрачковых перемещений, у которых свои пространственные законы, своя геометрия восприятия. Так что ничего удивительного, если уже не один экран, а система экранов перенимает на себя свойства единого художественного изображения.

Но такое слитное изображение, хотя и непредусмотренное, возникает в сознании телезрителя, быстро переходящего с канала на канал. Он становится как бы художником-любителем нового жанра. В одном ящике заключено сто экранов, которые он попеременно вызывает перед собой. Обилие выбора переходит в новое качество: соборность восприятия. По мере умножения программ целью мыслится уже не отбор лучшей из них, но их совмещение в растущем, непредсказуемом и внепрограммном целом.

Многоканальным постепенно становится сам мозг, который перерабатывает одновременно информацию из ста источников, — царственное сознание, недоступное даже Юлию Цезарю, который, как известно, успевал справляться одновременно только с тремя-четырьмя источниками. Телевидение отращивает в американце многофасеточное внутреннее око, которое чем-то напоминает движимое духом колесо в библейской книге Иезекиля: ободья его состояли из одних глаз. Только такое многочисленное видение, охватывающее всю многомерность рая, способно ответить на вызов американского экрана.

И последнее. В одной из речей президента Буша встретилось выражение, которое сразу запомнилось американцам и сделалось знаменитым: "тысяча точек света" — такой, сверкающей в многообразии, президент хотел бы видеть Америку. Но такой ее видит каждый вечер американец — не сходя с места, на экране своего телевизора. И этот же экран он видит в своем национальном флаге: в окаймлении белых и красных полос, горячих рассветных лучей, — ясный прямоугольник вечернего эфира, и на нем рассыпчатые звезды пятидесяти штатов. Словно американская мечта предвосхитила техническую мысль и заведомо поместила голубой экран среди национальных святынь: в то символическое пространство флага, через которое и простому гражданину дано увидеть небо в алмазах.

октябрь 1991

## О РИТУАЛАХ

Американская жизнь издавна представляется этаким разгулом демократии. На самом деле нет ничего более чуждого демократии, чем разгул. Скорее, демократия — это ритуал, сообща выработанный

ная и довольно условная манера поведения, которой лучше всего добровольно придерживаться. Можно и отступить, никто насильно не удерживает, но рано или поздно поймешь что лучше было все-таки не отступать. Это поняли, в частности, молодые бунтари 60-х годов, которые сначала решили, что можно жить иначе, потеряли много времени, но потом все равно вернулись к нормам и порядкам так называемого "истеблишмента".

Недавно я побывал на антивоенной демонстрации перед Белым домом. Молодые люди позорили президента, упрекая его папашу за то, что он вовремя не "убрал", заделывая сыночка, — тогда бы не пришлось требовать у выродка Буша, чтобы он убрал американские войска из Саудовской Аравии. Криков и поношений было вдосталь, многочасовая толпа бурлила, пела, скандировала, проходя мимо главного дома страны. И никто не усомнится, что, несмотря на море глупостей и пошлостей, это была демократия.

Потом я возвращался домой по пути с одним из демонстрантов. Он продолжал бить в свой тамбурин и выкривать лозунги — но когда мы подошли к перекрестку, у которого горел красный свет, он остановился и стал ждать, хотя улица была пуста. Многие ли согласятся, что и это была демократия — другая, необходимая ее грань. Для недовольного американца и демонстрация протеста, и остановка перед светофором были элементами ритуала, без которого демократия становится безудержной стихией. А меня, законопослушного сторонника американского правительства, ноги сами по советской привычке понесли на красный свет. Так кто же из нас более опасен и антисоциален: он, поносивший Буша в рамках закона, или я, только что преступивший пусть маленький, но закон?

Демократия — это вовсе не система убеждений, это всего лишь способность договариваться о правилах — и совместно их соблюдать, т.е. устанавливать ритуал, выгодный для всех. Ритуал — способ экономии времени и усилий. Можно, например, бросаться сразу со всех сторон в дверь автобуса, отпихивая друг друга, но в этой борьбе отпихнешь в общем столько же людей, сколько отпихнут тебя, и потеряв массу усилий, войдешь в автобус гораздо позже, чем если бы просто ждал в очереди. Американцы стоят в очередях на удивление кротко, терпеливо и даже радостно, не только не пытаясь обойти, но даже как бы наслаждаясь очередью как наиболее рациональной и экономной тратой времени.

В Америке, однако, полно и таких ритуалов, рациональность которых трудно осмыслить. Однажды, например, я был весьма удивлен, узнав от жены, что мне предстоит учить своих сыновей печь печенье — таков один из пунктов их скаутской программы. Как раз в эту неделю мне предстояла деловая поездка в другой город, и я решил по советской привычке отмахнуться от мероприятия, тем более, что никогда не умел печь печенье. И вот тут-то выяснилось, что родители других скаутов меня осуждают — за то, что я отказываюсь преподавать моим сыновьям отеческий урок.

Хорошо, сказал я жене, ты с ними испечешь это печенье, у меня дела в Нью-Йорке. Но это оказалось абсолютно невозможно — американская честность исключает любые отклонения от ритуала, даже в таком вот вопросе, кто, мать или отец, будет подсыпать



муку в тесто. И вот, позвонив из Нью-Йорка домой, я узнал, к своему стыду, что в тот же день руководство бойскаутов прислало двух взрослых наставников-мормонов учить моих мальчиков печь печенье взамен прискорбно отсутствующего отца. Только неамериканское прошлое спасло меня от окончательного падения и позора в глазах американцев.

Однако и на этом тема печенья не исчерпалась и продолжает преподносить мне уроки ритуального служения американским богам кулинарии и предприимчивости. Теперь я занят распространением подписки на печенье, которое в будущем месяце состряпают скауты из группы моей дочери. Оказывается, отец должен рекламировать это печенье среди своих сослуживцев, чтобы обеспечить полный финансовый успех детской затее. И вот я врываюсь в кабинеты крупных ученых, собравшихся со всего мира, прерываю ход стратегических размышлений над судьбами мира, чтобы объяснить им преимущества мятного и ванильного печенья, выпекаемого девочками во славу гёрлскаутского движения.

И вот что удивительно: никто ни разу не поморщился на мелкомасштабную суету, ворвавшуюся в его кабинет, наоборот, почуввав чистое веяние ритуала, поспешили сочувственно к нему присоединиться. Со словами ободрения невинной отроческой традиции и застенчивой отцовской инициативе.

Ритуалов в американской жизни так много, что вся она похожа на один бесконечный ритуал — и это очень облегчает всевозможные общественные отношения, сводя большую их часть на уровень сигнальной системы.

В менее ритуализированном обществе, как, например, советском, все общественные отношения моментально сводятся к выяснению отношений. Ритуал не установлен, каждое отношение — даже за прилавком магазина, в пивном баре или билетной кассе — возникает впервые, как бы из ничего, и подлежит всестороннему обсуждению высоких договаривающихся сторон. Кто ты, и кто я, и почему мы вместе, а не наоборот?

В этом смысле банальный вопрос "ты меня уважаешь?" является далеко не банальным. В нем, если перевести на точный язык социальной психологии, высказана необходимость установить возможности общественного отношения, прежде чем оно действительно может быть установлено. Каждый индивид в Советском Союзе настолько индивидуален, что ему необходимо искать подтверждения своей общественной сущности для каждого отдельного случая. Уважение — вовсе не такая вещь, которая сама собой нисится в воздухе, оно глубоко содержательно и обнаруживается лишь путем кропотливого задушевного вникания в душу другого человека. Стоит продавцу в магазине почувствовать, что покупатель недостаточно его уважает, и тому уже нечего будет купить. Ибо в России товар — дело второе, а первое — это товарищество.

И с каждым новым встречным этот вопрос о взаимном уважении должен решаться заново, потому что тот, кто уважал тебя вчера, может перестать уважать тебя сегодня. И даже за время одного разговора отношение может перемениться, так что выяснять это отношение следует непрерывно. Из чего следует, что уважение между советскими гражданами — это не дань общей

форме и ритуалу, а особая дань отдельной личности, ее превосходящим качествам, ее заслугам перед собеседником.

Что касается Америки, то ритуал здесь именно носится в воздухе. И не столь заслуженное уважение, сколько беспричинная радость видеть друг друга — в виде порхающей по воздуху и как будто даже отделенной от лиц всеобщей американской улыбки. Улыбка — главный американский ритуал и содержание всех форм поведения, точнее, форма всех содержаний.

Вот прохожий выходит из-за угла, еще не успев вас разглядеть и убедиться, что вы достойны уважения. К тому же он занят своими мыслями, не обязательно веселыми. И тем не менее на его губах и, кажется, в глазах, играет обращенная к вам улыбка. Это свойство лицевых мускулов, иначе развитых, чем у вас, выходяща из далекой северной страны, где чуть ли не с детства исключительная важность юной особы демонстрировалась в хмуром, пренебрежительном выражении лица. Такая важность, кстати, в зрелом возрасте и будет считаться достойной уважения. Может быть, самое поразительное в американской улыбке — это когда прохожему на пустынной улице вдруг улыбается красивая девушка. В советском восприятии это был бы содержательный знак — а здесь остается чисто формальным. Форма — чиста: от намеков и подозрений, от вторых и третьих смыслов, она значит только то, что означает сам знак: общественную условность. В таких напряженных условиях, на пустынной вечерней улице, улыбка незнакомки испытывается опасностями навязчивого знакомства, преследования, нападения, насилия — легко проходит сквозь все недоразумения, оставаясь лишь мимолетным вестником легкомысленного общественного разума. Потому что американцы воспринимают такую приветливую улыбку скорее как отказ от личных отношений, нежели приглашение к ним.

...Итак, вопреки ходячему предрассудку, можно утверждать, что советское общество — самое непринужденное и необрядовое в мире. Как только вводится какой-то обряд, обычно насаждаемый сверху, как тут же дружными усилиями все начинают его раздирать и искоренять — и если он еще держится, то лишь трусостью одних и глупостью других. Или в крайнем случае считается внешним приличием, недостойным глубокого ума и пылкого сердца. Презрение к правилам у нас в крови: умный и смелый всегда сумеет увернуться от правил и достичь при этом желанного и заветного. Потому Иван-дурак и умен, что действует вопреки правилам и добивается всего.

Обряд в России — всегда препятствие, которое нужно перескочить, обойти, начиная с попытки "пройти без очереди" и кончая скоропостижным построением социализма в одной ранее отсталой стране. Чего там околачиваться в хвосте у капитализма, покорно дожидаясь очереди на вхождение в царство свободы, — махнем наперерез, по нехоженным ухабам и кочкам, глядишь, первыми выскочим на магистральный путь и наш локомотив истории, поднатужившись, потянет за собой весь многосоставный прицеп.

Революция как раз и произошла от этого желания жить иначе, не как заведено у других людей и народов — и даже не так, как вы-

числено пророками самой революции. Рынки, буржуазный порядок торговли и очередность вхождения в коммунизм — все полетело от натиска задних на передних и кучи, сгрудившейся у самого входа в обещанное царство свободы. За минуту до открытия. Кто проскочит быстрее, пока другие еще не успели полных полок смести в мешок? Чья хитрость с чьей честностью сыграет в чехарду? Даже собственные сроки мы ухитрились опережать, приравнивая пять к четырем и лучшими встречными планами увеча планы и без того безупречные.

... И вот опять — стоим в начале всех предстоящих путей, уже и не господа друг другу, и не товарищи, а сокамерники перед кованой дверью, вдруг распахнутой снаружи кованым же сапогом. Что мы скажем друг другу, разглядев на первом настоящем свете собственные вдруг посеревшие лица и обнищавшие одежды?

Неужели опять начнем свои отношения с бесконечного выяснения отношений? И никогда долгий, извилистый путь к взаимному уважению не будет хоть на шаг сокращен одним крохотным ритуалом улыбки? Мимо-летней. Лице-мерной. В том смысле, что человек есть мера всех вещей, а улыбка есть мера и соразмерность человеческих лиц.

Январь 1991

## АПОКАЛИПСИС В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Недавно в Соединенных Штатах вышла книга, которую по достоинству смог бы оценить только советский читатель — хотя прочитать ее, к сожалению, не сможет. Не переведена на русский язык, хотя посвящена русской литературе. Причем в таком ее аспекте, который современного советского читателя больше всего задевает и тревожит: тема Конца в русской литературе, до- и после-революционной. Апокалипсис как форма мышления русской литературы о самой России, о судьбе русского народа, все время испытующего на прочность и на разрыв ткань истории. А вдруг в ее прореху глянет радость ненаглядная, неотмирная?

Автор книги — Дэвид Бетеа, профессор Висконсинского университета, один из немногих американских славистов, которые от книги к книге рискуют резко менять свой тематический профиль. Предыдущая книга Бетеа "Ходасевич: его жизнь и искусство" вызвала бурю восторгов в американской прессе, не только славистской, и оказалась по списку газеты "Нью-Йорк Таймс" одной из тринадцати лучших книг 1985 года.

Книга об Апокалипсисе была принята гораздо более спокойно — думаю, потому, что сужденный ей, хотя и незнакомый с ней читатель, восприимчивый к апокалипсису нашего времени, живет теперь далеко от США. Книге повезло выйти в 1989 году — как раз тогда, когда страх ядерного апокалипсиса, цепко державший американцев на протяжении последних сорока лет, был наконец развян теплым ветром с востока и таянием советской имперской мощи. В надежде славы и добра американцы встретили новый 1990 год, не желая омрачать его знанием апокалиптических предчувствий той страны, откуда апокалипсис уже не ожидался.

Но еще загодя, в 1986 году, призрак Апокалипсиса переселяется с Запада на Восток и начинает бродяжить по Советскому Союзу, откуда теплый ветер все явственнее доносит запахи адского пекла. Подобно тому, как коммунизм, задуманный светлым будущим всего человечества, в конце концов стал осуществляться в отдельно взятой стране, — так и Апокалипсис, предназначенный вроде бы покрыть все человечество черным облаком, в последний момент опять-таки избежал всемирности и стал внедряться в пределы все той же богоразлюбленной страны. Облако Чернобыля выстрелило во весь мир, но покрыло с головой только своих земляков и соседей.

Та страна, от которой весь мир ждал ядерного апокалипсиса, как раньше ждал коммунизма, решила начать с самой себя и ограничиться его введением в масштабах одной, зато почти безграничной страны. Или, точнее, Антихрист решил позаимствовать лексикон своих досточтимых коллег и вместо открытой повсеместной брани ввел "ограниченный контингент" хорошо вооруженного, почти незримого воинства в дружественную сверхдержаву. После чего, примерно с 1989 года, мир облегченно вздохнул, а Россия затаила дыхание.

Вот почему книга Бетеа, своевременно переведенная, могла бы стать литературоведческим бестселлером в Советском Союзе и годом своего издания встать в тот же ряд опережающих литературных явлений, что и произведения В. Войновича, Л. Петрушевской, А. Кабакова, тогда же, в 1989 году, увидевшие свет и предсказавшие тьму.

Книга посвящена пяти русским романам: "Идиот" Достоевского, "Петербург" Андрея Белого, "Чевенгур" Платонова, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Доктор Живаго" Пастернака. Казалось бы, вещи совершенно различные, кроме общей принадлежности высшему рангу литературного отличия. Но произведения, разделенные почти столетием, начинают легко переговариваться между собой, стоит наложить на них прообраз, просхему всех произведений апокалиптического жанра — само Откровение Иоанна Богослова. В этой книге, завершающей Новый Завет, повествуется о конце человеческой истории, о пришествии Антихриста и его битве с силами света, о грядущем преображении земли и неба. По словам Пастернака из "Доктора Живаго", "всякое великое, подлинное искусство напоминает и продолжает Откровение Иоанна Богослова: оно всегда размышляет о смерти и поэтому всегда творит жизнь."

Что же общего находит Дэвид Бетеа между этими пятью романами? Прежде всего, их внутренняя тема совпадает с их сюжетным завершением: это — тема Конца. Но при этом Конца, соотнесенного с началом, так что вся история мыслится как возвращение: от райского сада через совращение человечества и усиление зла, через страдание и искупление — к возрождению Царства Божия и Новому Иерусалиму.

В каждом из произведений отмечен этот начальный период благодати и невинности, предшествующий падению героев во мрак и ужас истории. В "Идиоте" Достоевского это чистый, безгрешный роман князя Мышкина со швейцарской девушкой Мари, а также идиллическая жизнь Настасьи Филипповны в Отрадном до ее соблазнения Тоцким. В "Петербурге" Белого это отважное поведение Николая Аполлоновича как сказочного Ивана Царевича, прежде чем он пал в своих взаимоотношениях с Софьей Петровной. В "Чевенгуре" это новый Китеж-град, который Дванов-отец едет разыскивать у озера Мутево и который, как мечта, достается в наследство Саше Дванову, направляя его в поисках большевистского города Солнца. У Булгакова это счастливая пора любви и творчества, прежде чем Мастер и Маргарита были разлучены демоническими силами истории. У Пастернака это гармоническое мироощущение Лары, прежде чем ее совратил Комаровский, и Юрия Живаго, прежде чем его союз с Ларой не был прерван тем же Комаровским. Этот утраченный рай проецируется в будущее и становится точкой притяжения как для отдельных персонажей, так и для всей национальной и мировой истории.

Все романы, однако, заканчиваются смертью главных героев, обозначая тот видимый конец Земли и предел земного страдания, за которым, по высшей предреченной логике чуда, должно последовать торжество Духа. Залог чему – явление князя Мышкина, очистительное значение стихов Живаго и романа Мастера. Но сами герои остаются поневоле пленниками истории и свидетелями ее предпоследних, однако еще не последних событий. Апокалиптическое сражение сынов света и сынов тьмы в самом разгаре, затмевая самые светлые умы, пятная самые чистые души. Николай Аполлонович, Саша Дванов, Паша Стрельников – сами и жрецы и жертвы такого революционного беснования.

Мстительны кони Апокалипсиса, карающие человечество за грехи и одновременно предвещающие приход самого Греха, царства Антихриста, находят изобразительно точное соответствие во всех романах. Так, у Достоевского Рогожин представлен таинственным зверем из книги Откровения, и он же наездник железного коня, дышащего огнем и серой. Таким Рогожин является во сне Ипполиту, чье имя, кстати, означает – "развязывающий лошадей".

Вспомним также Медного всадника из "Петербурга", чья демоническая сущность переплавляется в Дудкина и повелевает ему убить Липпанченко. Вспомним также платоновского всадника – прекраснородного убийцу Копенкина, этого Дон-Кихота революции, который попирает всю Россию на своем Россинанте по имени "Пролетарская Сила". В это ряд апокалиптических всадников естественно вписывается и булгаковский "всадник золотого копыа" по имени Понтий Пилат. Наконец, пастернаковский Стрельников, мечущий сквозь тайгу на "вороном коне", мечущий громы и молнии со своего бронетранспортера ("изо рта их выходил огонь, дым и сера" – сказано о конях у Иоанна). Это последний из тех доблестных всадников, за которыми следует ад, глотающий их самих.

Так сцепляются у американского исследователя разные звенья одной апокалиптической традиции, которую изнутри, из русской литературы, трудно охватить одним взглядом – так близко она всех нас касается. И захватывает. И несет дальше, замыкая в безысходное кольцо все новые звенья.

Книга Бетеа знаменательна не только обширной сквозной темой, которую мы ради краткости пересказа выделили в ней, но обилием микроразборов, крупнозернистостью мелких деталей. Методика западной славистики есть чтение следов, снятие отпечатков, предельная интеллектуальная подозрительность, столь отличная от размашистого стиля отечественных исследователей, которых привлекают в основном крупные конструкции, широкие обобщения. Российский литературовед – пророк в своем литературном отечестве, западный славист – следопыт, кропотливо берущий пробу с чужого, неизвестно куда уводящего следа. Часто результат столь подробных прочтений смущает читателя, как после глотка свежей воды смущает взгляд на нее в микроскоп, кишащий микробами.

Но книга Бетеа, во-первых, не упускает целого и прослеживает цепочку следов до самого горизонта, за которым взгляд уже не может состязаться с ускользающим в постисторию предметом. Во-вторых, подозрительность, как методология, сродни психологии и эсхатологии ожидания. Каждая подробность укрупняется в своих масштабах, каждая мелочь воспринимается как примета Конца.

Это и есть адекватный метод прочтения апокалиптического текста, вписанного петитом в каждую страницу истории, в каждый замусоленный обрывок быта. В общении со старообрядцами, искушенными мастерами прощального общения, мне приходилось не раз слышать, что вот, железные кони пашут землю – значит, конец уже близок. В таком же согласии с жанром исследователь может истолковать живых и железных коней в русской литературе как гонцов то ли с поля Армагеддона, то ли с острова Патмос. Середина, прочитанная под знаком конца, – это одновременно и способ создания апокалиптического текста, и метод его интерпретации.

В Послесловии автор кратко останавливается на произведениях Солженицына, Бродского, Аксенова и Трифонова, ссылаясь, в частности, на мистическое значение Чернобыля, той самой звезды Полюнь, которая упала на источники многих вод и отравила их, "и многие люди умерли от вод, потому что они стали горьки". И тут сама книга обнаруживает свое место во времени – как всегда, предпоследнее, потому что послесловие к этой книге, изданной всего два года назад, могло бы уже превысить по объему все сказанное в ней.

Апокалипсис свершается в российской истории быстрее, чем пишется история апокалипсиса. Такова трудная участь книг, посвященных теме Конца – и никогда не способных ее завершить, испытать счастье совпадения конца с Концом. Последний всегда остается за их пределом.

Вашингтон, 1991 г.



Александр ГЛЕЗЕР

# ОПЯТЬ ЛУБЯНКА

*Из книги воспоминаний «Человек с двойным дном»*

Окружают меня, окружают,  
Окружают, как дикого зверя.

Значит, они меня поторавливают. Настроились, что подам заявление в ОВИР не позже октября, но по моей просьбе прислали из Израиля новый вызов. Органы этим-то и обескуражены. Будет Глезер еще год воду мутить, а там получит очередной вызов – и так до второго пришествия. Выжить, выжить его!.. Вынудить убраться восвоеси.

А я отъезд и в голове держать перестал. Когда беспросветное существование, подобно болоту, засасывало, когда от своей никчемности хотелось быть волком – готов был бежать на край света. Теперь дудки! Кто же в разгар сражения дает деру? Но философия – философией, а на ночной разбой откликнуться следует. Третью пресс-конференцию не созовешь – повод мелкий. И скучно, наверное, журналистам непрерывно ездить ко мне на пресс-конференции. Прикидываю и так, и этак, и намечаю: продолжим таранить Алешина – пусть назначает судебное разбирательство; продолжаем жать на Управление культуры – пусть санкционирует декабрьскую выставку. Это убедит неприятеля в моей непреклонности. А еще подгажу ему своеобразным манером: организую на квартире вечер собственной поэзии. Приглашу художников, друзей, иностранцев, – стукачи сами придут, и бабахну стихами, которые припрятаны глубоко в столе, а часть и вовсе хранится вне дома.

И пошло-поехало. Регулярно навещаем Алешина, который юлит, крутится, вертится, но придерживается рамок закона. Сулит обязательно назначить дело к слушанию, только оттягивает, оттягивает, чего-то дожидается.

Выставку на декабрь пробили. Принимал нас с Рабиным лично председатель Управления культуры Моссовета, в некотором роде министр культуры Москвы, Покаржебский. Ласковых слов не жалел. Кроме птичьего молока, все обещал: и ежегодные экспозиции, и специальный салон для продажи картин, и альбом с репродукциями. Можно было подумать, что то ли произошла культурная революция, то ли она вот-вот разразится.

А двумя-тремя днями позже возобновились атаки на художников. Грязную статью опубликовала "Вечерняя Москва", особенно лягнув Оскара и Немухина. Милиция схватила Диму Плавинского, когда он выходил из моей квартиры, и учинила ему по всей форме допрос:

- Зачем ходил к Глезеру?
- Кто там был?
- О чем велись разговоры?

Гебисты пристали на улице к Эльской, выкрикивая ей вслед из машины угрозы. От Мастерковой участковый потребовал, чтобы она трудоустроилась в пожарном порядке – иначе попадет под суд как тунеядка. Толково спланировали: одни организации бросают к нашим ногам золотые россыпи, другие организации травят. Первые – широковещательно, чтобы весь мир убедился в демократичности страны Советов. Вторые – втихомолку. Глас "Вечерней Москвы", и тот на Западе вряд ли услышат. Она, как большинство областных и городских газет, предназначена лишь для внутреннего употребления, вывозить за рубеж строго воспрещается – стыдно. На страницах царит ложь, не то, что в "Правде" или в "Известиях", неприкрытая, не отретушированная.

Забегая вперед. Покидая СССР, мы привезли на таможенную коробки с пластинками. Таможенник открыл первую из них и увидел наложенные на пластинки сверху, чтобы не разбились, разорванные на клочки газеты, спросил:

- Какие?
- "Вечерка", "Московская правда".
- Нельзя.
- Рваные же!
- Все равно.

Однако лукавые планировщики были разгаданы, и художники преподнесли им сюрприз – по инициативе Оскара отказались от декабрьской экспозиции. Удивленным корреспондентам было сказано:

– Мы не пойдем на выставку, когда преследуют наших товарищей, мы не позволим использовать нас для обмана международной общественности (мол, посмотрите, какие мы либеральные!



Бульдозеры – досадная ошибка. Зато потом и Измайлово, и экспозиция в помещении. Все в лучшем виде, все в полном соответствии с политикой разрядки напряженности).

Оскар просил отменить и вечер поэзии, полагая, что отказ от выставки с публичной оглаской причин достаточный щелчок по носу властям и не надо раздражать их дополнительно. Я отстаивал право на свою войну с ними. Видя, что меня не остановить, Оскар превратился в цензора, категорически восстав против чтения наиболее антисоветских стихов.

– Они у тебя все "анти". Ты не должен выступать с самыми отчаянными. Ты принадлежишь на себе, а всем нам.

С ним и с Витей Тупицыным, разделявшим Оскарову точку зрения, мы спорили из-за каждого стихотворения:

– Это – можно.

– Это – нельзя!

– Это – ну, дьявол с тобой, читай!

Мы сидели, как обычно, в кухне. За стенкой Алеша отстукивал на пишущей машинке отобранные стихи. В большой комнате художники уже который день засиживались за полночь, распивали вино и водку и дискутировали до хрипоты – правильно сделали, что отказались от выставки, или нет. Майя стонала:

– Так больше невозможно! Невыносимо!

Она жаждала покоя. А в доме третий месяц непрерывно толклись люди, милиционеры и стукачи.

– Устраивай выставки, пресс-конференции, вечера, войой с КГБ, но жить дай! Погляди на меня, погляди на ребенка! Что ты с нами творишь?

Она была права. И я был прав. И не было выхода. И, доведенный ее упреками до иступления, я орал:

– Ты пятая колонна! Ты хуже КГБ!

Порою мы ненавидели друг друга. Порою казалось, что конец, семья распадается. Но любовь оказывалась сильнее. И сбежав сначала к подруге, а потом с Алешей в дом отдыха, она сразу прилетела, едва надо мной нависла серьезная опасность.

Вечер поэзии третьего декабря прошел благопристойно, без эксцессов. Оскар притулился в первом ряду и сосредоточенно слушал, не нарушу ли договора, не занесет ли меня? И так же сосредоточенно слушала явившаяся без приглашения симпатичная секретарша секции детских писателей Московского отделения Союза писателей Инесса Холодова. Но о ней позже.

7 декабря мы с Рабиным на сутки смотали в Ленинград. Рухин отмечал день рождения. На обратном пути Оскар, недавний сторонник моей эмиграции – поможешь оттуда, здесь глухо, – принялся уговаривать меня не уезжать. Тщетно я убеждал его, что давно распрощался с мыслью об отъезде. Он не верил, упрямо повторял:

– Мы должны драться вместе!

Той ночью в душном, несмотря на распахнутую дверь, купе нами был разработан тонкий тактический вариант. КГБ хочет, чтобы Глезер убрался на Запад. Глезер притворяется, что согласен. Берет в ОВИРе анкеты для заполнения и не спешит. И вообще может потерять анкеты и сходить за новыми. А дальнейшее сама жизнь подскажет. Мы, как дети, радовались задумке, да не учли одного — стукачей. Не трудно было догадаться, что без них не обойдется. Не случайно, когда мы ехали в Ленинград и обратно, в вагоне почему-то оказывался пассажир, которому кассиры "по ошибке" продали билет на Оскарово место. Деваться этим лишним гражданам было некуда, и они настырно болтались неподалеку от купе. Увлеченные нашей идеей, мы не обратили на них внимания. Видимо, они-то и доложили Лубянке подслушанное. Потому и маневр не удался.

11-го утром широковещательно, специально для КГБ, оповестил друзей, что еду в ОВИР. Это для перестраховки. Все равно за такси двигалась машина с двумя лбами. Инспектор районного отделения ОВИРа, лет под тридцать полная женщина, осведомленная о моем визите, интересуется, кто я по профессии, почему уезжаю. Узнав, что меня выгоняют, участливо вздыхает, дескать, понимаю, но помочь не в силах.

Нет, не верю я тебе, инспекторша. Добрых людей на такие должности не сажают. Искренних — тем более. До свидания — и на улицу. Такси тут. Лбы тут. Порядок. И Оскар доволен: утомонятся на время. Ох, как мы заблуждались!

...Около полуночи ко мне завалилась компания: художник Алик Гогуадзе с приятелями и разгульной девкой Ларисой, в просторечии Лориком, именующей себя "матерью русской демократии", пухловатой, небольшого росточка особой в устрашающе черных очках, которая вечно крутилась возле молодых живописцев и длинноволосых московских хиппи. Всю ночь мы кутили, крутили музыку, балагурили. Прилегли только на рассвете. В 8.00 звонок в дверь:

— Откройте, Александр Давидович. Это Сергей Леонидович. Поговорить нужно.

— Вы один?

— Да.

И в дурную башку не пришло, что не балакать приехал он ко мне — не о чем нам разговаривать!

— Подождите, оденусь.

Я и не раздевался даже, но ребят предупредить необходимо, и прибраться бы не мешало. Прибраться! Осел! Лучше бы припрятал, на балкон вынес бы, что ли, чуть не посередине комнаты валяющийся чемодан с материалами "Белой книги". Еще неделя, закончил бы ее.

И вновь нетерпеливый звонок. Куда подевалась ваша засстенчивость, Сергей Леонидович? Открываю. И бесцеремонно от

бросив меня в сторону, в квартиру врывается гебистская банда. Впереди в форме низкорослый, жилистый, с острым, будто треугольным лицом, очевидно, главный, за ним в штатском Ильин и еще четверо оперативников. Один, в дальнейшем ни на шаг от меня не отходивший, ширококостный, грубо сработанный тип застывает около меня. Двое устремляются в Алешину комнату, двое в Майину. Сгоняют гостей в кухню. Велят писать, почему здесь ночевали. Начальник, широко расставив кривые ноги:

— Глезер Александр Давидович?! Я — старший лейтенант, старший следователь Комитета Госбезопасности Москвы и Московской области Грошевень Николай Викторович. Ознакомьтесь с ордером на обыск. Антисоветская литература, валюта, драгоценности.

А я невнимательно вслушиваюсь и бессмысленно твержу, обращаясь к Ильину:

— Вы меня обманули! Вы меня обманули!

Нашел, когда и кого стыдить. Ухмыляется, сука!

Грошевень усаживается за небольшой круглый столик:

— Что это у вас и стола настоящего даже нет? — И следом: — Сами покажете, что где?

— Ищите!

Гебисты принимаются искать. Мне выйти из комнаты не дают.

— В туалет можно?

Грошевень не возражает, но за мной тенью мой сторож. Отвел, привел. Чего они опасаются? А ишейки стараются, все в зубах несут Грошевению. Он заносит в протокол. Изымают магнитофонные кассеты. На этих — беседы с художниками об их творчестве, никому не повредят и не жалко. Вторые экземпляры надежно скрыты. Слово в воду глядел — переписал. На тех выяснения отношений с наведывавшимися ко мне милиционерами и гебистами. Кое-что в бытность удалось зафиксировать. Жаль отдавать, но почти все помню наизусть. На этой кассете мои стихи, антисоветчина с начала до конца. Пусть переваривают. Страха никакого не испытываю. Ненависть сжигает все иные чувства. Позже Марат признавался:

— У тебя в течение двух месяцев был типичный реактивный психоз. Положил бы в больницу, но ведь от меня заберут — и в психушку.

Вскрывают чемодан.

— Белая книга! — вскидывается Грошевень. Радостные возгласы.

Хорошо, господа, смеется тот, кто смеется последний. Берите, давите! Даст Бог, восстановлю. Кое-что скопировано. Не доберетесь.

Валюты и драгоценностей в доме почему-то нет. При-таскивают следователю книги зарубежных изданий: Орвелла, Замятина, Булгакова, Набокова и Евангелие.

– А что, Евангелие тоже антисоветская литература?

– Не знаю, не читал! – отрезает Грошевень.

Но до чего же плохо работают! Роются, роются в бумагах, копаются в чепухе, а в толстую коричневую тетрадь с записями, которые ох как могут повредить близким друзьям, заглянули – вот когда дух захватило! – и зашвырнули под стол. Полегчало. Пытаются снять с полки портрет Солженицына.

– Это не литература и не валюта! Не трогайте!

– Любите его?

– Люблю.

– Ну-ну... Он же антисемит...

Улучив минуту, хватаю телефонную трубку, но аппарат отключен.

Грошевень подпускает шпильки:

– Не ерпеньтесь, Глезер, поберегите нервы.

Восемь с половиной часов длился обыск. За это время заглянули сосед – шуганули его, да чета Русановых. У них проверили документы и отпустили. Надеялся, что они заскочат к Оскару. Куда там! Полные штаны со страху наложили. К 16.40 в присутствии двух понятых, студента и студентки, прихваченных, по их словам, прямо на улице, гебисты опечатали все изъятое добро. Грошевень, отдавая мне копию протокола:

– А теперь, Александр Давидович, мы с вами поедем на допрос.

Самодовольный поганец

– Без повестки не двинусь с места.

Острит:

– Сдвинуть бы вас сдвинули, но, пожалуйста, повестку я выпишу.

Читаю. Пока еще не обвиняемый. Привлекают в качестве свидетеля.

– По какому делу?

– Номер четыреста девятнадцать, спекуляция антисоветской литературой.

– А я при чем?

Многозначительно:

– Скажу.

Перед уходом просит всех очистить квартиру. Я брыкаюсь:

– Кто-то должен остаться! Мало ли что вы мне подкинете!

Иначе не поеду.

Грошевень, морщась, соглашается. Лорик и Гогоудзе запирают за нами. Гебисты косо смотрят на Алика. Очень не понравилось им, как он объяснил свое пребывание у меня: "Саша Глезер – мой кровный брат, и я прихожу к нему, когда захочу и зачем захочу".

Лубянка. Ровно месяц назад я был здесь в правом крыле. Теперь привезли в левое. На третий этаж не иду, а бегу – скорей бы в рукопашную! – перескакивая через ступеньки. Грошевень за мной.

– Не торопитесь, Глезер. Разговор у нас долгий.

В кабинете было присаживается, но:

– Я перекушу быстренько, а чтобы вам не скучно было, побудьте в комнате с товарищем Копаевым. Тоже наш следователь.

Я-то за целый день чашку чая да бутерброд с сыром в себя протолкнул. Вот и изголяется. Через полчаса вернулся. Копаева поблагодарил, отпустил – и за стол. Я слева от него, за соседним. Вынимает и разглаживает протокол допроса. Но не заполняет. Сначала, мол, погитарим, а потом попишем. Спрашивает, где я достал книги, изданные за рубежом. Молчу. Придвигает ко мне уголовный кодекс.

– Посмотрите сюда. За отказ от дачи показаний можете получить год исправительно-трудовых работ.

Отбрасываю сборник в серой унылой обложке.

– Это ваш кодекс.

– Это наш советский кодекс.

– Нет, ваш!

– Александр Давидович! Мы арестовали группу спекулянтов антисоветской литературой. Почему вы не хотите нам помочь?

Опять в кошки-мышки со мной играет. Что ж, я не прочь.

– Орвелла и Замятина купил на черном рынке в тысяча девятьсот семьдесят первом году.

– У кого?

– У спекулянта.

– Примет не помните?

– Николай Викторович, за три года не то что спекулянта, а любимую женщину позабудешь! Кажется, брюнет. Длинный.

– А Булгакова?

– Кто-то подарил на день рождения. – И поясняю: – У меня же по сто человек бывает! Подарки на стол в комнате сына складывают. Не разберешься, от кого что.

– А Набоков?

– Сосед принес.

У Грошевень загорелись глаза.

– Фамилия!

Называю и добавляю:

– Он в Израиль эмигрировал.

На треугольном лице старшего следователя вздулись скулы:

– А Евангелие?

– Приятельница оставила, когда в Америку уехала.

Грошевень кладет передо мной лист бумаги:

– Напишите все, что рассказали.

Почему нет? Пишу. Он вызывает Копаева, который вновь меня сторожит, а Грошевень с моим признанием отправляется к начальству. И сразу же обратно. Зырится исподлюбья. В кабинет входит среднего роста кряжистый, пожилой, с проседью человек. Грошевень и Копаев в струнку. И мне:

– Встаньте, это полковник...

– Ваш полковник!

Тот брезгливо держа мое объяснение:

– Я не верю ни одному вашему слову.

– А я вашему!

Он устремил на меня взгляд. Буквально гипнотизирует.

– Что вы смотрите, как комиссар Мегрэ?

Полковник безмолвно повернулся и скрылся в темной пасти коридора. Копаев за ним. Грошевень напустился на меня.

– Как вы себя ведете?

– А кто он такой?

– Начальник следственного отдела Госбезопасности Москвы и Московской области, полковник Коньков.

– Ну и что?

Выйди же из себя, Грошевень, выйди! Выплесни злобу, которая таится в твоих глазах! Нет, отменно вымуштрованный старший лейтенант сдерживается.

– Александр Давидович, среди арестованных спекулянтов ваш знакомый.

– ?!

– Флешин.

Так вот где он! Его жена Элла звонила на днях и сказала, что Саша второй месяц в Таджикистане. Я удивлялся длительности командировки. Бедняга же попал как кур в ошип. Летом мимоходом видел его в Тарусе. Он удил рыбу и приговаривал:

– Пусть политикой занимаются лошади.

Грошевень:

– Флешин на следствии показал, что восьмого октября сего года около Дома художников вы ему продали двенадцать антисоветских книг: Солженицына, Бердяева, Замятина...

Сварганено грубо. Во-первых, спекулянт, находящийся под крышей КГБ, подпишет любые показания. Подтвердит, что ни потребуют. Во-вторых, кто же поверит, что забрали меня не за выставки, не за открытые письма и пресс-конференции, а за книжную торговлю. И, в-третьих, восьмого октября я был в Тбилиси. Стопроцентное алиби. Нокаутирую я вас.

– Врет Флешин!

– А мы точно знаем, что не врет!

Я смотрю на часы. Бог ты мой! Уже скоро девять!

– Мне нужно позвонить домой.

– Нельзя.

Ах, нельзя! Разговаривайте сами с собой. Умолкаю, и Николай Викторович сдаётся.

– Звоните, только покороче.

Набираю номер, и Лорик выпаливает, что в "Вечерней Москве" обо мне фельетон. Лубянка меня еще лишь допрашивает, а газета уже спекулянтом антисоветской литературы обзывает. Ну, в меня,

товарищ Грошевень, дисциплину не вбивали, и нервы мои не столь закалены, как ваши. Роня стул, вскакиваю:

— Негодяи!

Вздрогнул. Вскинул невинные голубые глаза. А я разбушевался и вправду, как псих:

— Вешайте, бейте, пытайте! Ни слова больше от меня не услышите!

На крик прибежал Копаев. Засуетились.

— Александр Давидович, что с вами?

— Кто приказал "Вечерней Москве" печатать обо мне фельетон?

— Но не мы же! Наша организация к прессе отношения не имеет.

— Суда не было! Приговора не было! А я уже преступник, и без вашего ведома?

Грошевень всплескивает руками.

— Можно же по-человечески! Зачем шуметь? Ды вы поймите — мы "Вечернюю Москву" давно не выписываем. Только "Правду", "Известия" и "Литературку".

Отчего-то именно эта брехня подействовала на меня отрезвляюще. То КГБ всевидяще. Так и допросы с новичками ведутся. "Признавайтесь, нам все равно всегда все известно". То КГБ в полном неведении. Московские следователи не читают московских газет.

— Мы с вами, Николай Викторович, понапрасну теряем время.

Он же, заметив, что я в норме, опять за стол и меня приглашает.

— Разберемся. С Флешиным давно знакомы?

— Лет семь.

— И ничего ему не продавали?

—!

— Но покупали?

— Да.

— Антисоветскую литературу?

— Альбомы по живописи у него приобретал. Какие, не помню.

А Грошевень вновь пускается во все тяжкие. Уговаривает меня добровольно сознаться, что я загонял антисоветскую литературу. Ну, может быть, не загонял, но распространял. Мы же знаем, Александр Давидович, все знаем! Упомянутый выше гебистский вариант для малолетних.

— Если знаете, отдавайте под суд.

— Славы жаждете?

До десяти часов он меня промурыжил и заключил:

— Трудно с вами. Отсыпайтесь сегодня, а завтра продолжим.

Вот повестка на одиннадцать часов.

— В одиннадцать я занят.

— Вас не на концерт зовут.

— В одиннадцать ко мне приезжают друзья.

— Зарубежные? — вворачивает Грошевень.

- Зарубежные.
- Отмените визит.
- Перенесите допрос.
- Не придете в одиннадцать, возьмем силой.
- Берите.

Когда же, вернувшись домой, прочитал фельетон, то окончательно утвердился не отступить ни на йоту. Вот он, красавец:

"А все-таки двойное дно!

В марте сего года А. Д. Глезер праздновал свое сорокалетие. К дому № 8 по Большой Черкизовской то и дело подкатывали машины иностранных марок с беленькими опознавательными номерами. Из машин бодро выходили иногости и дружно шли в квартиру № 37, где их встречал взволнованный и обрадованный таким иновниманием хозяин.

Пускало пузырьки шампанское, пускали пузыри от умиления гости, пузырем от важности надувался юбиляр. "Почтили-с. Благодарствуем-с"...

И звучали тосты. Громче других – на инязыках, разумеется. На всю Большую Черкизовскую славили Глезера. Только тосты звучали почему-то как аванс, выдавались, как векселя, плата по которым впереди. Но об этом чуть позже. Пока же перелистаем календарь назад.

Наиболее полная биография Александра Давидовича Глезера была опубликована "Вечерней Москвой" 20-го февраля 1970 года в фельетоне "Человек с двойным дном". Потому как автором фельетона был я, то без риска прослыть плагиатором повторю некоторые вехи из жизни "героя".

В 1956 году Глезер заканчивает нефтяной институт, однако не долго радуется промышленность своим активным с ней сотрудничеством. Нефтяник становится с тех пор, как он себя именует, литератором, переводит стихи с грузинского и узбекского языков на русский. Это занятие популярности, увы, не приносит. И тогда тщеславный переводчик выражается в тогу покровителя живописи. Ну конечно, именно той живописи, которой покровительствуют издали. Сие, рассудил Глезер, куда выгоднее. А там, где пахнет выгодой, там-то уж энергии ему не занимать. И вот, начиная с 1967 года, в разных местах и городах он обманным путем, не ставя никого об этом в известность, кроме некоторых иностранных корреспондентов – любителей "жареного", организует выставки картин тех авторов (разумеется, не членов Союза художников), кои неоднократно критиковались людьми бесспорно компетентными в живописи.

Когда же поутихли овации в адрес Глезера, то он и без вызова на бис выходил на сцену: написал, например, опус в защиту подопечных "непризнанных", об атмосфере недружелюбия, которая якобы их окружает, и пытался переправить этот опус за рубеж.



Ярлык "борца за свободу творчества", небрежно подброшенный некоторыми падкими на дешевые сенсации зарубежными газетами и радиоголосами, очень уж ласкал слух и сердце Глезера. Советские люди, побывавшие на этих, с позволения сказать, вернисажах, с возмущением писали о выставленных картинах как о "злонамеренной идеологической диверсии". А оттуда, издалека наоборот, поощрительно похлопывали по плечу: "Так держаты!" И Глезер "держал".

Коммерция имеет свои законы. С удвоенной энергией отработывал он похвалы. Новые выставки, новые спровоцированные скандалы. Нитки, правда, за марионеткой видны, ну да ничего не поделаешь: кто платит, тот и музыку заказывает.

Вот в это время и встретились мы с А. Д. Глезером в фельетоне "Человек с двойным дном".

Спустя некоторое время, сняв свою изрядно подмоченную тогу, "борец" явился в редакцию газеты "Вечерняя Москва" с покаянным письмом. Он подтверждал в нем "одноплановый" (читай — чуждый настоящему искусству) характер организованных им выставок, считал своим долгом "публично осудить попытку передачи статьи", бил себя в грудь и в заключение сообщил, что "...из общественной критики моих поступков сделаны соответствующие выводы". Таков был А. Д. Глезер образца 1970 года.

После этого у Глезера наступила пора затишья. Поутихли радиоголоса в его адрес, пожелтели от времени страницы газет со статьями "о борце". Да и вообще что-то тихо стало. Не пора ли, думает Глезер, напомнить о себе: так ведь, неровен час, и вовсе позабудут. И вот в марте с. г. он отмечает свое сорокалетие. Приглашенных на торжество много. Среди них, естественно, иногости. Искрится шампанское, провозглашаются тосты. Но звучат они, повторяю, как аванс, выдаются, как векселя, оплата которых впереди. Почему так? Да потому, что 15 сентября с. г. Глезер действительно их оплачивает. В этот день он как один из организаторов решил показать очередную партию "работ" своих подопечных. Как всегда, заранее оповестив зарубежных журналистов, Глезер привозит на перекресток улиц Профсоюзной и Островитянова несколько десятков картин с их авторами. Работавшие здесь на воскреснике жители Черемушкинского района были немало удивлены визитом шумных художников и их художествами. Возмутило их и вызывающее поведение прибывших.

Участники воскресника справедливо потребовали дать им возможность продолжать работу и обратились, как и полагается, за помощью к милиции, которая вынуждена была принять меры для поддержания общественного порядка. Так фактически обстояло дело. Тем не менее, оплата по векселю, выданному А. Д. Глезеру в день его сорокалетия, произошла. Нет, не тем, что показ был организован, дело-то как раз в обратном. В том, что он, то бишь, показ, не состоялся. Да, как ни парадоксально это звучит,

именно в этом была цель Глезера и иже с ним. Потому как именно этот факт, услужливо и провокационно предложенный Глезером, дал возможность кое-кому вновь заговорить на набившем уже оскомину антисоветском жаргоне об "инакомыслящих" и "непризнанных". Затягивал издающийся в США троцкистский листок "Новое русское слово", бросились на защиту "Нью-Йорк Таймс", "Балтимор-сан", "Ди Вельт" и другие газеты, посочувствовала западногерманская "Немецкая волна". Итак, вексель оплачен.

И Глезер опять пользуется моментом. Он достает из сундука пропахшую нафталином тогу "борца" и созывает у себя на квартире пресс-конференцию для иностранных журналистов, с ног на голову становятся факты, густо поперченная ложь выдается за истину; рассказываются небылицы о "пропавших" или "уничтоженных" во время показа картинах, о произволе властей" и т. д. и т. п. Но зато Глезер снова провозглашен "борцом". Словом, все идет по законам коммерции: "вы – нам, мы – вам".

Между тем, коль ты сказал "а", от тебя ждут уже и "б". И Глезер спешит отправить "открытое письмо" в газету "Вечерняя Москва". Забыв о том, как четыре года назад каялся, он встает в позу на только защитника, но и нападающего. Защищать ему все равно кого: привлеченного к ответственности за уголовное преступление Ламма – пожалуйста. "Моих ближайших друзей" – с удовольствием. Глезеру все равно, кого защищать. Важно – для чего. И важно, на кого и на что нападать. Почему же так? – спрашивается вопрос. А вот на него-то ответила американская газета "Крисчен сайенс монитор" в одном из сентябрьских номеров.

"...Последний спектакль (имеется в виду инцидент с неудавшимся показом) укрепит мнение критиков разрядки напряженности". Эх, подвела газета Глезера! Уж очень откровенно высказалась. Есть, понимаете ли, такой неопровержимый факт – разрядка напряженности. Все прогрессивное человечество – сторонники ее. А по другую сторону – критики этой разрядки, которым спокойствие в мире ни к чему, во вред даже. И оказывается, в этой-то оголтелой толпе "борец за свободу творчества" А. Д. Глезер, он ни много ни мало "укрепляет мнение" противников разрядки напряженности.

И становится ясным, на чью мельницу льет воду предпринимчивый "борец". И становятся совсем уже видимыми ниточки за фигурой марионетки. Коллекционирование "произведений живописи", организация (если выбранный им обманчивый и провокационный путь вообще можно назвать организацией) выставок и показов – все это, так сказать, фасад личности А. Д. Глезера, фасад, видимый миру его поклонения. Но, как известно, коль есть фасад, то должна быть и обратная сторона его. Она есть, и хотя А. Д. Глезер не желает ее афишировать, думается, пришло время рассказать о ней нам, потому как эта обратная сторона ничуть не светлее фасадной.

"Деньги не пахнут" - эту формулу А. Д. Глезер усвоил давно. И, памятуя о ней, предприимчивый "коллекционер" в свободное от своей деятельности "борца за свободу творчества" время занимается элементарной спекуляцией из-под полы. Однако спекуляция эта особого толка. Не импортной кофточкой, а импортной пропагандой промышляет А. Д. Глезер. Глезер торгует книгами, изданными опять-таки вдалеке. Так, например, одному крупному, находящемуся сейчас под следствием спекулянту книгами Глезер продавал "произведения" отъявленных антисоветчиков. Обратные адреса на обложках нам знакомы: "Международная литературная ассоциация в Мюнхене", издательство "Посев" и другие, столь же почитаемые в антисоветском мире организации.

Глезера сие не смущает, ведь "деньги — и надо сказать в этом случае немалые — не пахнут". Ох, пахнут, Александр Давидович, эти деньги, да еще как плохо пахнут! И грязные они! Такие грязные, как и руки тех, кто передал вам эти книги для перепродажи.

Я начал фельетон с короткого описания торжества сорокалетия, состоявшегося на квартире А. Д. Глезера. Вернемся к нему лишь затем, чтобы прочесть прикрепленный в тот памятный день плакатик. "Сорок лет — один ответ" — так было начертано на бумажке, которую мог увидеть всяк в квартиру входящий. Не будем заниматься казуистикой и искать подтекст, который вложил в этот лозунг сам Глезер. Согласимся с ним в одном — в том, что сорок лет это уже солидный возраст, в этом возрасте человек действительно должен держать ответ за слова свои и поступки. И не пора ли общественности спросить у А. Д. Глезера ответ за все его неприглядные дела.

Р. Строков".

Комментировать очередную стряпню Строкова — занятие несвое. Но необходимо все ж таки кое-что отметить. По фельетонисту получается, что Глезер уже в марте предвидел, что в сентябре состоится просмотр на открытом воздухе, то бишь на гебистском языке "провокационная выставка", запроектированная на империалистическом Западе. Фантастика! Но ведь где ее Глезер опровергнет?

Неплохо упомянуть, что сей борец за свободное искусство в 1970 году явился в "Вечернюю Москву" с покаянным письмом. Не явился? Столь неподходящее письмо прислал, что и напечатать его не смогли?! Но как он это докажет? Конечно, лежит у него дома послание самого аж главного редактора "Вечерки" С. Индурского:

"В таком виде Ваш ответ редакции я не считаю возможным публиковать, а полемизировать же с вами на страницах газеты тем паче".

Ну и пусть себе лежит. Кому его предъявишь? У нас, слава Богу, свободной печати не существует и свободных судов тоже. Посему что хотим, то и пишем, а что пишем, то и печатаем.

И читайте, пожалуйста!

"Не нужен был Глезеру показ 15 сентября, а нужно было, чтобы его сорвали". Как это Строков не догадался указать, что именно я и послал бульдозеры уничтожать выставку и тем самым вызвал злополучный инцидент. Тогда бы логичней выглядело утверждение, что Глезер организовал экспозицию на пустыре по заданию противников разрядки международной напряженности и даже самолично (экий богатырь!) доставил на пустырь "несколько десятков картин с их авторами".

А до чего же удобно, что как раз теперь арестовали группу спекулянтов книгами. Присоединим-ка к ним в фельетоне и Глезера, который, естественно, торгует не просто дефицитной литературой, а только антисоветской. Замечательно выходит! Уж если общественность в лице КГБ после первого фельетона не растерзала Глезера, то сейчас...

Взяли меня 13-го силой. И по глупости своей взяли с невообразимым шумом. В 10.30 заходит в квартиру заместитель начальника отделения милиции в гражданской одежде и с ним чистых кровей гебист, подделывающийся под рядового милиционера, но подсказывающий шефу решения и настаивающий на их выполнение.

— Начальник отделения просит вас сейчас к нему зайти, — говорит заместитель.

— На одиннадцать у меня повестка в КГБ.

— Мы в курсе. После нас поедете туда.

— Я жду гостей. Уедут — приеду.

Заместитель топчется посреди комнаты. Гогуадзе и Лорик с любопытством наблюдают за происходящим. Гебист встает на дыбы:

— Вы властям подчиняетесь или нет? В милицию вас вызывают, а вы гостей собираетесь развлекать!

Я же, будто бы и нет его, только к заместителю:

— Даю вам честное слово, что приду. Через два часа секунда в секунду. Не сомневайтесь. Если же примените силу, буду драться. А теперь простите, у меня гости.

Заместитель оскорблен:

— Вы что же, нас выгоняете?

Ничего не попишешь, сами виноваты. Пришли-то без приглашения. Гебист стервенеет:

— Чего тут рассусоливать? Брать его надо!

И будто кто шпоры в меня всадил:

— Мой дом — моя крепость! — и чтобы посеять между ними рознь (ведь КГБ и милиция — как кошка с собакой. Милиция вынуждена подчиняться. Грязную работу гебушка поручает ей. Но и не любят зато милицейские старшего брата), киваю в сторону заместителя:

— Его я хоть знаю, а кто вы такой и что здесь потеряли?

Под моим напором они вышли, но застряли под окнами. Все ясней ясного — завернут иностранцев. Звоню начальнику отделения и втолковываю ему, что лучше договориться по-мирному. Прятаться не намерен. Непременно в начале второго буду у него. Он колеблется: просит, чтобы я позвонил к телефону заместителя. А машина с иностранным номером уже показалась во дворе. И несутся к ней мои визитеры. Выбегаю на улицу.

— Андре-Поль, проходите! Это не КГБ, а милиция. — И заместителю: — Начальник на проводе. Пройдите к телефону. Мы будем в подъезде.

Андре-Поль, жена директора Московского бюро Ассошиэйтед-Пресс и ее подруга — немецкая журналистка, стоят на ступеньках. Я чуть выше, на лестничной площадке. Между тем Лорик (как я потом узнал), когда я помчался во двор, прильнула к трубке и слышала, как начальник отделения куда-то, на Лубянку бесспорно, звонил и в ответ на распоряжение заверял: "Не пропустим, никого не пропустим!". Потому-то от неуверенности заместителя не осталось и следа. Он прошествовал мимо меня, словно мимо пустого места, и — дамам:

— Извините, сюда нельзя!

— Андре-Поль, квартира моя, а вы — мои гости. Пройдите!

И тогда заместитель скомандовал:

— Взять! — будто к псам обращался. И тотчас со второго этажа стремглав кидаются два милиционера, участковый Лосев и какой-то юнец с едва пробивающимися усами. Один за левую руку, другой — за правую. Растянули, как распяли, и ну выкручивать кисти. Умельцы, право слово умельцы! Повалили на колени, а я воплю:

— Красные фашисты! Красные фашисты! Алик, кинь мне кинжал! Резать их нужно.

Андре-Поль закрыла лицо ладонями. Ее подруга плачет. И вдруг... Двери подъезда с грохотом распахиваются. Гебисты-оперативники из вчерашних. Первый вежливо уговаривает иностранцев уехать. Те подчиняются. Второй чеканит:

— Отпустить!

Фараоны повинуются. Я же в прыжке (слава реактивному психозу!) бью Лосева головой по зубам.

— Ты что!? — отшатывается он.

— А ты что?

— Так мне приказали!

Эх, не революция, был бы Лосев деревенским мужиком, работающим, добрым, хлебосольным. По лицу видно. Во что же его и ему подобных превратил кровавый режим!

А гебисты изображают из себя рыцарей-избавителей.

— С кем связались, Александр Давидович! Милиция — грубые люди. — И заботливо: — Повестка у вас есть? Поехали-ка на допрос.

И тут Оскар мчит во весь дух в нелепой меховой распахонке. Что попало под руку, то и нацепил.

— Без меня Глезер никуда не поедет!

Я — как эхо:

— Не поеду!

Гебисты меж собой посоветовались:

— Пожалуйста, Оскар Яковлевич!

Выходим. Во дворе пять или шесть милиционеров. Грубые люди задержались, чтобы в случае чего помочь людям чутким.

В машине я оказался на заднем сидении. Слева Оскар, справа гебист в черном кожаном пальто. Совершенно забыв, что оперативники не живые люди, бездушные исполнители, которые поступят, как им велено, не более того, сознательно пытаюсь вызвать у них, как вчера у следователя, озлобление. Оборачиваюсь направо:

— Вам нравятся песни Галича?

— Не слышал.

Сейчас спою. Как вы среагируете на "Песенку об отставном чекисте", господа? Возмущен ваш брат дерзким Черным морем?

"Ах ты, море, море, море, море Черное,

Ты какое-то крученное, верченное,

Если б взял тебя за дело я,

Ты б из Черного стало Белое"

А как вам знаменитые Галичевы "Облака"?

"Облака плывут, облака,

В милый край плывут, в Колыму..."

В Колыму. Чуешь, черное пальто, в Колыму! Туда, где твои коллеги превзошли в мастерстве палачей Освенцима. Гебист безмолвствуют. Оскар тоже. А меня несет и несет:

— Передайте Грошевеню, что я отказываюсь говорить по-русски. Пообщаемся через переводчика.

Николай Викторович встречает меня в вестибюле Лубянки дружелюбно-иронически.

— Чудите вы, Александр Давидович.

Но вижу, не в себе старший лейтенант. Наверняка получил нагоняй за неуклюжую постановку, разыгранную на глазах иностранцев, да еще имеющих непосредственное отношение к печати. "Голос Америки" уже в 12.00 передал, что я арестован. Малопривлекательная для КГБ огласка. Мой отсутствующий вид сбивает Грошевеня с толку. Он подготовился к взрыву, а тут странное безразличие. Черное пальто ему объясняет, что Глезер по-русски разговаривать не желает и настаивает, чтобы пригласили переводчика.

— С какого языка?

– С английского.

Николай Викторович бодро:

– Разберемся.

Похоже, что это его излюбленное словечко. И – Рабину:

– А вы посидите в приемной. Если Глезер не станет чересчур умничать, я его домой быстро отправлю.

– Я не тороплюсь, – веско отвечает Оскар, как бы подчеркивая, что без меня с места не тронется.

В кабинете Грошевень располагается в замедленном темпе. Испортил я ему заготовленный сценарий. Придется импровизировать на ходу. А это ему не по вкусу. Бормочет:

– По-английски я говорю. Переводчик нам не нужен.

– A little? – спрашиваю.

– Что такое?

Э, ни хрена ты не знаешь, дорогуша. Режу на своем варварском произношении.

– Where is translator? I don't understand Russian.

Накаляется Грошевень, накаляется.

– Вчера вы написали в анкете, что ваш родной язык – русский, а сегодня его не понимаете?

– Вчера я не читал фельетона и меня не насиловали.

Тонкие губы следователя подергиваются.

– Если будете разговаривать по-русски, отпущу через час. Заупрямитесь, продержу до ночи.

– Please.

– Вас ждет Рабин.

– So what?

Грошевень звонит Конькову, жалуется. Тот появляется немедленно. Вновь и вновь клянутся, что управятся за один час. Когда же я уступил, полковник удалился, а Николай Викторович расправил крылья. Мы, говорит, сегодня писать будем мало. Побеседуем.

Мне бы его послать подальше, так нет. В своем взвинченном состоянии совершенно потерял способность логически мыслить. Он рвется беседовать. Неспроста же. То, что нужно ему, само собой противопоказано мне. Во время беседы следователь может затрагивать проблемы, обсуждать которые свидетель по делу спекулянтов книгами совсем не обязан. Может он также, примеров масса, охмурить, поймать на противоречиях и так запутать, что потом за голову схватишься. А я ведь не в гости к приятелю пришел, я на допросе. Допрашивай же! Разглагольствовать будешь дома с женой. Но благоразумие на меня не снизошло. Уверенный в себе, напирая, поторапливаю его. О чем, мол, о чем?

Он, эффектно откинувшись на спинку стула, любезно доводит до моего сведения, что с изъятыми при обыске антисоветскими стихами ознакомился. Ну и прелестно. Они нигде не опубликованы.

На вечере я их не читал. Распространения мне не приклеишь. Сочинял вирши и складывал в стол. Это не преступление даже в СССР. Впрочем, если вы хотите судить меня за стихи, пожалуйста! Пожимает плечами. И неожиданно:

— Вы враг советской власти?

О, как приятно швырнуть в твое самодовольное лицо:

— Да!

— Вы враг марксизма—ленинизма?

И еще раз ликующе-яростно:

— Да!

Не таясь, удовлетворенно потирает ладони (мелькает догадка, что облегчил я ему что-то), хвалит за откровенность и снисходительно:

— Я в долгу не останусь. Советую вам, Александр Давидович, поскорей эмигрировать.

Эх, ларчик просто открывался. И обыск, и фельетон, и допросы состряпаны с одной единственной целью — заставить меня уехать.

— Не собираюсь.

Грошевень сожалеет и не одобряет. Втолковывает, будто малому, неразумному дитяти, что иного выхода нет. Снова в кабинет с достоинством, как и подобает большому кораблю, всплывает полковник Коньков. Непритворно изумляется моей наивности. Признался, что враг, ему предлагают эмигрировать (это вместо того, чтобы уничтожить), он же не благодарит, а сопротивляется. Короткий, но выразительный диалог:

— Или вы уезжаете, или — под суд и в лагерь.

— Хочу к Буковскому!

— По-вашему, и на Западе жизни нет, и в Советском Союзе. Только у нас в концлагере.

— Для меня — да.

— Ошибаетесь. На Западе лучше! Уезжайте!

Ай-да полковник Коньков. Ай-да правдолюбец! И до чего смелый! На загнивающем Западе лучше, чем в отечественном концлагере! Лишь на Лубянке и возможно услышать подобное. Разве в ЦК и, поднимай выше, в Политбюро кто-нибудь осмелится на такие речи? А он выдал совет и закрыл дверь с той стороны. Грошевень же, словно и не было разговора об отъезде, берется за протокол.

Появляется новый персонаж. Присаживается поодаль. Создается впечатление, что он изучает меня и одновременно контролирует работу следователя. Последний лаконичен.

— Кто из иностранных корреспондентов снабжал вас материалами для "Белой книги"?

Ну и наглец! Знатный вопросец.

— Отказываюсь отвечать.

— Кто входит в редколлегия "Белой книги"?



– Отказываюсь отвечать.  
– С кем вы договорились об издании "Белой книги"?  
– Отказываюсь отвечать.  
– Я вас предупреждал об ответственности за отказ от дачи показаний? – И, как наказание, подталкивает ко мне "Уголовный кодекс".

И я, как вчера, отшвыриваю серую книжку, не вымолвив ни слова. Незвестный посетитель, словно привидение, вышагивает в коридор, и Грошевень преобразается. Клокочет, как вулкан:

– Я имею все основания отдать вас под суд по обвинению в антисоветской деятельности и думаю, что это необходимо сделать. Но мое начальство считает преждевременным прибегать к таким кардинальным мерам. Уезжайте!

Отменно отрепетировано: каждый раз заносится топор – спекуляция антисоветской литературой, антисоветские стихи, "Белая книга" – и каждый раз опускается мимо. И вслед за угрозами мольба: "Уезжайте!" О-кей. Сейчас тебя против шерсти.

– Сегодня же я передам ваше заявление гласности!

А он хоть бы хны. Абсолютное равнодушие. Стало быть, наверху все решено и подписано.

На субботу и воскресенье Грошевень одаривает меня передышкой, а в понедельник с утра опять на допрос. Оскар выслушивает новость и мрачнеет. Спасительных мыслей ни у него, ни у меня нет. Как ни крутись, ни вертись, одно из двух. Но до понедельника нужно дожить. В воскресенье же я еще позавчера надумал в знак протеста открыть на квартире выставку. Оскар против. В поисках хоть чего-нибудь позитивного он хватается за последнюю соломинку: возможно, обойдется, возможно, пугают, попробуй пересидеть тихо.

Нет, не годится себя убаюкивать. Не шантаж это. Чувствую, что закручено всерьез. Не отступятся. Дополнительно развернули почтово-телефонную травлю. Вот образцы полученной мною корреспонденции:

"Глезер, прочел вчера в "Вечерке" о твоих грязных делах, и вся моя душа возмутилась твоей продажностью, предательством и пресмыканием перед иностранцами! Как ты, гаденыш, родился в нашей светлой стране, учился в нашей советской школе, окончил наш советский институт, небось за все годы обучения получал наши кровные деньги – стипендию, и вот – на тебе, иуда жидовская, сволочь, падаль. Мое письмо к твоей поганой роже не первое и не последнее, миллионы москвичей, прочитав фельетон в "Вечерке", клеймят тебя. Мой друг – он еврей, честный советский инженер, на мое предложение выставить тебя из нашей Родины сказал мне – нельзя. Его надо отправить как государственного преступника на рудники, где он вспомнил бы свое счастливое детство, школу, институт и людей, которые не подозревали, с какой мразью имели дело.

Да, он прав, таких жидов, как ты, давно стоило отправить в "обетованную землю", и там понял бы, что он потерял, что не ценил.

Мне стыдно, я краснею, что мы относимся к одной национальности. Я безмерно благодарен советскому правительству, которое дало мне образование и почетную работу начальника цеха. Гад, гад, гад!"

Второе письмо короче, но еще похлеще. С одной стороны:

"От участников Великой Отечественной войны, которые боролись против фашистского строя убийцев еврейского народа. Если бы мы знали, что у нас родится предатель Глезер, мы сами своими руками уничтожили таких гадов."

На обороте:

"Орден – виселица для изменника Родины.

Глезер (Гитлер) Гимлер Геббельс Геринг

На память Вам и семье за вашу борьбу за "Свободу". Долой предателя! Нет вам места среди русского народа!"

Среди груды писем гадостных порадовало одно дружеское. Жаль, что анонимное, но и на том спасибо. Кто-то, скрывшийся под псевдонимом В. Сесюрин, прислал послание в отдел писем "Вечерней Москвы". Там посмотрели лишь на первые строчки, в которых искрилась, переливалась ругань по моему адресу, и сразу же переправили сесюринское сочинение мне:

"Уважаемая редакция!

Лично я с гражданином Глезером Александром Давидовичем не знаком. Дома у него не был. Шампанское с ним не пил. Табличку с надписью "Сорок лет – один ответ" на дверях его квартиры не видел. Но прочитав заметку вашего специального корреспондента о дне рождения Глезера тов. Строкова Р., возмутился до глубины души. Глезером, конечно. Сука он. Делает, понимаете, что хочет, говорит, что хочет, любит, что хочет и кого хочет, пьет, с кем хочет... Да где он живет?! Кто ему давал права справлять день рождения, как он хочет?! Ужас!! Наша семья, как прочитала этот репортаж о том, как глезеры справляют свои дни рождения (и родились ведь!), так расстроилась вся. Стали считать, чего они там пили и ели, да какие подарки Глезеру делали и опохмелялись, конечно, утром, противники разрядки, мать их ... А тут вкальваешь как негр, а на день рождения тебе от завкома только благодарность, и то на бумаге. Спасибо еще тов. Строкову Р., который под видом иногостя (он этого не сообщает, но мы же фильмы смотрим и представляем его трудную и опасную профессию журналиста) проник в дом Глезера, все сфотографировал и записал на пленку. Теперь, Александр Давидович, ты от нас не уйдешь. Ответишь, резидент Солженицына и Пикассы, не только за свой день рождения, но и за узбекский язык, который ты бросил, чтобы помогать каким-то художникам, не членам Союза. Мало у нас что ли членов бедствует, почему у тебя душа только к нечленам

лежит?! Почему ты против Форда и Киссинджера, которые вместе с нашей партией борются с американским конгрессом? Конечно, у меня нет прямых улик, но я почему-то уверен, что тебе нравятся такие, как Сахаров и Наум Коржавин, чей голос недавно передавали по "Голосу". И, конечно, ты лютой ненавистью ненавидишь таких, как Р. Строков, и все, что им дорого. У тебя на дне рождения не был. Шампанское с тобой не пил. Табличку "Сорок лет – один ответ" не видел. Но "Вечерку" выписываю регулярно.

В. Сесюрин."

А телефон надрывается, с традиционным "убирайся вон!" и прочим стереотипным набором примелькавшихся фраз. Сквозь них прорвался корреспондент "Юнайтед-Пресс" и через советскую переводчицу выпрашивает, что я думаю о заявлении ТАСС и о выступлении Громыко по поводу еврейской эмиграции из СССР. Речь шла о разоблачении американской будто бы выдумки, что Советский Союз обещал выпускать ежегодно 60.000 евреев. Я удивился, с какой стати подобный вопрос задается мне – я ведь еврейскими проблемами не занимаюсь.

– Но вас назвали в фельетоне сторонником холодной войны, противником разрядки напряженности.

А я-то забыл, что "Вечерняя Москва" превратила меня в политического деятеля. Ну, почему же тогда не ответить. Стараюсь поясной и покороче.

Что обещал Громыко Киссинджеру или Брежнев Форду, мне неизвестно, но дело не в цифрах – шестьдесят или тридцать тысяч, а в принципе: каждый человек имеет право жить в той стране, которая ему по сердцу. И силой задерживать его в СССР или Китае – безнравственно.

И словно в отместку за нахальство – его то ли выгоняют на Запад, то ли сажают, а он интервью дает, – звонок особого рода:

– Привет, Глезер! Как дальше жить будешь? – Голос низкий, грубый, интонации издевательские.

– Кто говорит?

– Строков.

– Какой Строков?

– Пишу о тебе, пишу, а ты не помнишь.

Вот скотина! Биограф-фельетонист не стесняется мне звонить. Хотя при чем тут стеснение? Выполняет приказ. Не часто я матерюсь – не специалист в этой области, но на сей раз покрыл его на всю катушку и пригласил в гости:

– Вспору тебе живот кинжалом.

Гогочет.

В квартире же шурум-бурум. Молодые художники привезли картины. Меняется экспозиция. Печатается каталог. И в воскресенье вечером вернисаж удаётся на славу.

Молодцы американцы! В этот день посол США устраивал почти в то же время, с разницей в час, прием в связи с пребыванием в

Москве американского балета. Я предполагал, что дипломаты, особенно из Штатов, будут напрочь заняты. Однако они — и сколько! — приехали. Всего на 15 — 20 минут, но это неважно. Сам факт их присутствия во главе с советником посла и первым секретарем посольства — поддержка мощная. Элл Саттер, войдя, протянула мне сверток:

— Это иносыр.

— ?!

— Если я иногость, то... — Остроумная Элл воспользовалась терминологией Строчкова.

Под окнами, конечно, гебисты. Их бесит и сама выставка и уж больно не по носу, что у меня наряду с дипломатами и журналистами собралась московская интеллигенция и здесь же, черт побери, такие известные диссиденты, как Андрей Твердохлебов, Алик Гинзбург и Вадим Делоне. Ко мне подходит скромный человек в больших роговых очках с пронизательными глазами, излучающими дружелюбие и тепло. Представляется. Фамилия в кругах инакомыслящих широко известная. Я вынужден спрятать его под псевдонимом Д., так как он, слава Богу, пока что на свободе, и может быть, Господь убережет его и дальше. Д. негромко произносит:

— Вы ведет себя на допросах неправильно.

До чего же быстро по столице расходятся слухи! Трем-четырем друзьям рассказывал, как и что, а Д. откуда-то все знает.

— Если вы не против, — продолжает он, поправляя очки, — то когда люди разойдутся, присядем и поговорим.

Во втором часу ночи мы окопались на кухне. Д. показывает самиздатовскую книгу "Как вести себя на допросах".

— Читали?

— Нет.

— Сейчас мы начнем ее штудировать. Но прежде скажите, вы обязательно хотите есть?

— Не обязательно.

Оба смеемся.

— Тогда читайте и что непонятно — спрашивайте.

И началась моя наука. Устал, как собака. Глаза слипаются. Но Д. халтурить не позволяет

— А как вы поняли это?

— ...

— Правильно. А это?

— ...

— Неправильно. — И следует подробнейшее объяснение.

Педагог он первоклассный. Оказывается, и обманывал меня следователь, пользуясь моим незнанием "Уголовного кодекса", и шантажировал — задавал вопросы, никак не относящиеся к делу, свидетелем по которому я вызывался, и вдобавок грозил за отказ от дачи показаний осудить на год. По закону я имею полное право

сам записывать свои ответы в протокол, а следователь норовил сам втиснуть туда собственные их формулировки. И еще массу юридических тонкостей раскрыл Д., подготовил меня к дуэли с Грошевенем.

Перед поездкой на Лубянку Оскар напутствует:

— Не уверен, что тебя решили выгонять. Но если действительно одно из двух, то не геройствуй. На Западе ты нам поможешь, а здесь, чтобы не выглядеть негодьями, мы будем вынуждены вступить в бой за твое освобождение, заранее обреченные на поражение.

Такого же мнения придерживается и вся художественная братия. Борух Штейнберг даже убеждал меня вчера в шутку, но в каждой шутке есть доля правды, что я раб художников. Но пора, брат, пора!..

Очередной поединок с Грошевенем. Он бодр и подтянут. Глаз у него острый.

— Глухо спали, Александр Давидович? Надеюсь, все хорошенько обдумали.

Пока он вписывает в протокол какие-то пометки, мой взгляд рассеяно блуждает по столу, за которым я сижу, и падает на открытый календарь. В нем четкая запись: "Звонила Инесса Холодова".

О, страна должна знать своих стукачей. Вы помните симпатичную литсекретаршу, которая была на моем вечере поэзии? Невысокая, стройненькая, неопределенного возраста. Сорокалетняя — работает под семилетнюю девочку: круглые глаза, бантики в косичках. Она неизменно бывала со мной ласкова, она помогала мне заполнять анкеты при подаче заявления о приеме в Союз писателей, она с чисто женским любопытством выпрашивала о новостях, она приходила на Измайловскую выставку и потом застенчиво зазывала меня заезжать: "Я недавно развелась с мужем."

— Николай Викторович, у нас с вами общие знакомые.

— Общие знакомые... Светский разговор... Какие общие знакомые?

— Вот Инесса Холодова и мне звонит, и вам звонит.

Не доглядел, не доглядел Грошевень. Ценного агента засыпал. Ах как обидно-то! Прежде заглянет на второй этаж ЦДЛ писатель, пишущий для ребятишек, и поведает сероглазой Инессе о тяготах и заботах, о проклятой цензуре, изъывшей из книжки лучшие куски, о заевшемся и продавшемся редакторе, почище любого цензора выноживающем и истребляющем подтекст, о надоевшей до чертиков военно-патриотической тематике, без которой, по утверждению верхов, ни один ребенок не вырастает полноценным гражданином своей миролюбивой отчизны. Как-то при мне разоткровенничался с ней мой знакомый. Пожаловался, что ни разу не ездил за границу, даже в соцстрану. Ныне просится в Польшу.

– Туда-то уж всех пускают! Одному мне как заколодило. Хотя чего огорчаться – из одного концлагеря попаду в другой.

А милая женщина слушает его с редким пониманием, какого он и от родной жены не дождется, и подлакивает. И придет ли собеседнику в голову, что эта сучка заложит его на Лубянке? И возьмут там на заметку разносящего крамолу писателя. При случае запугают или завербуют. Люди из литературных кругов гебушке до разреза нужны. Вроде есть они. Вроде много. Но все не хватает. Очень уж важная область.

Оправившись от удара, Грошевень переходит в атаку. Выражает надежду, что я больше не стану упорствовать. Начну прямо и честно отвечать на вопросы. Тогда вместо того, чтобы идти под суд, отправлюсь на свободный Запад. У стороннего наблюдателя сложилось впечатление, что не КГБ просит Глезера убраться, а Глезер умоляет КГБ подобру-поздорову его отпустить. Кажется, пора охладить грошевенеvский пыл. Довожу до сведения ретивого следователя, что не настроен долго разговаривать, хочу познакомиться с вопросами и собственноручно заносить ответы в протокол.

Грошевень напрягается, как что-то учувшая овчарка. Треугольное лицо его вытягивается. Но с законным требованием он соглашается, только предупреждает, что прежде чем что-либо писать в протокол, я должен ответить устно. Это мне известно от Д. Это соответствует их правилам. Прошу задавать вопросы. И Грошевень почти слово в слово повторяет то, что спрашивал в пятницу.

– Кто входил в редколлегию "Белой книги"? Отвечать на вопрос будете?

– Да.

По выражению его глаз вижу – не подготовлен к сему. Надеюсь, что откажусь, заготовил некий каверзный ход и... впустию. Теперь буквально глядит мне в рот. Что же скажу?

– Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как он не имеет отношения к делу номер четыреста девятнадцать (в точности по учебнику "Как вести себя на допросах").

Насупился:

– Пишите.

Внимательно следит, чтобы я не накатал чего лишнего.

– Кто давал материалы для "Белой книги"?

– Я отказываюсь...

Николая Викторович не дурак, понимает, что игра пошла не по его сценарию. Огорчен и обозлен.

– Однако готовили вас, Александр Давидович!

Подтверждаю.

– А кто, не скажете? – поддразнивает.

– Не скажу.

Скучая, по долгу службы задает третий вопрос. И тут я до-

рываюсь. Он то ли уверился, что я не оскверню протокола, то ли подыскивает иную тактику взамен провалившейся — но бдительность утерял. Краем уха выслушал мой стереотип и не обратил внимания на то, что я строчу слишком долго. А я вписываю в протокол, что следователь в ходе допроса оказывал на меня давление и вводил в заблуждение.

Прочел Грошевень, ужаснулся, заметался по кабинету. Дергается от негодования, осыпает упреками.

— Я на вас давил?! Я вас обманывал?! Когда? Где?

Призвал Конькова. И тот солидно:

— Что же вы с Николаем Викторовичем сделали? За что такие обвинения?

Ничего и никого гебисты не боятся. А вот собственных протоколов опасаются. Казалось бы, всесильны, а бумажку, которая не нравится, уничтожить не могут. Все эти листики тщательно пронумерованы. Исчезни хоть один — со следователя спросят. Но с него спросят и за мою жалобу. И не в том он виноват, что шантажировал и обманывал, а в том, что допустил допрашиваемого записать это черным по белому. Плохо, значит, работал. А ведь кругом коллеги-противники. Всякий рад тебя подсидеть. Поэтому Грошевень и психует. Полковник же, к нему расположенный, встревожен.

Но вот они круто разворачиваются. Выясняют, что избрал — Запад или лагерь. Витийствует главным образом Коньков. Отточенные формулировки, логичные построения. Вдалбливает: одно из двух, третьего не дано. Вы сами определите свою судьбу. И заканчивает:

— Я — у себя. Жду вашего решения.

Грошевень, который сегодня упек бы меня с еще большим удовольствием, чем вчера, вынужден оперировать аргументами полковника. Советует не зарываться и не забывать о семье. Тоже мне заботливый родственник! А я-то почти не слышу его слов. Вспоминаю напутствие Оскара: "Не геройствуй...", вспоминаю Майкины слезы: "Уедем! Я боюсь за тебя!", вспоминаю изречение: "Все, что противно разуму, безобразно". Ну конечно, для художников на Западе я полезнее. Ну конечно, в моей ситуации предпочтеньем эмиграции лагерь противно разуму. Ну конечно, жена и сын. Однако Алик Гинзбург отсидел, и Андрей Амальрик отгрохал срок. И Володя Буковский сидит. Чем же я лучше их? Почему моя судьба должна быть легче? И вновь я слышу голос Оскара: "Не геройствуй..." И, бывший шахматист, мучительно ищу выхода в безвыходной позиции. И в какую-то секунду мне чудится, что нахожу.

— Николай Викторович, передайте полковнику Конькову, что если я соглашусь уехать, то только с коллекцией. — И думаю: "Они на это не пойдут! Стоит ли запрещать туристам вывозить одну-две картины, которые безобидно висели бы в чьей-то квартире, чтобы

дозволить Глезеру забрать с собой несколько десятков, а то и сотен холстов? И ведь понятно, что сидеть на них он не станет, а займется пропагандой неофициального искусства." Стараюсь по лицу Грошевеня прочесть его мысли. Но по этому поводу у него их нет.

Идет на доклад. Коньков немедленно приглашает меня к себе. Сколько за последний месяц было дурацких, ни к чему не ведущих разговоров! То со Шкодиным, то с Ащеуловым, то еще Бог знает с кем, но здешнее – то начальство попусту трепаться не любит. Чего ж полковник паясничает? Спрашивает, что буду делать с картинами, сетует, что на Западе работы модернистов часто используются с антисоветской целью. Напоминаю: художники политикой не занимаются, следовательно, и я не стану превращать их произведения в нечто политическое.

Господи, что за бред? Какое значение имеют мои намерения? До тех пор, пока в СССР все – и живопись, и литература, и музыка, и философия, объявляется политикой, до тех пор, пока картины нонконформистов отечественная пресса называет "не безобидной игрой в чистое искусство, а проповедью буржуазной идеологии", любая выставка неофициального русского искусства будет выглядеть как что-то антисоветское. И виновны в том не художники, не их картины, не козни западных журналистов, а та власть, которую вы, товарищ полковник, представляете и защищаете. Та власть, которая даже в невинном натюрморте Дмитрия Краснопевцева, созданном не по канонам социалистического реализма, ухитряется обнаружить враждебную, подрывающую устой режима пропаганду.

Представьте, какой подлец этот живописец – написал кувшин, где темно-зеленая ветка торчит не как положено – из горлышка, а прорастает откуда-то сбоку. Коварный намек на то, что, дескать, как вы ни завинчивайте гайки, как ни давите на нас, а мы к свету прорвемся. Дима, естественно, и в голове подобного не держал, однако интерпретация партийцев была именно такова.

Еще более смешной случай произошел со Львом Кропивницким. Художник Николай Андронов, член КПСС, рекомендовал принять его в Союз художников. Легкомысленного Андропова вызвали в райком партии и потрясенно возопили, показывая фотографию картины Кропивницкого, с которой глядели два обыкновенных быка:

– Кто это?

– Быки.

– Вы – коммунист. Посмотрите внимательно.

Андронов глядел, глядел и снова:

– Быки. А что еще?

– Нет! – возмутились партийные босы. – Это он изобразил наших руководителей!

Точь-в-точь по народной пословице: "На воре и шапка горит".



Безусловно, Коньков не хуже моего знает о сложившейся вокруг неофициального искусства обстановке. Но у него есть какие-то свои соображения, и потому объективные факторы он отбрасывает и требует, чтобы Глезер поклялся, что какие бы то ни было им организованные на Западе выставки русских авангардистов не приобретут политической окраски.

— Итак, чтобы нам с вами развязаться, — суммирует Николай Михайлович, — вы составите заявление, в котором попросите освободить вас от роли свидетеля по делу четыреста девятнадцать в связи с отъездом на постоянное место жительства в Государство Израиль, гарантируете не смешивать живопись с антисоветчиной, обещаете не выпускать "Белую книгу" о выставках на открытом воздухе и прекращаете судебную тяжбу о выплате компенсации за погибшие пятнадцатого сентября картины.

Коньков доказывает, что без такого заявления не обойтись.

Должен же быть документ! Мы не можем (они не могут!) базироваться только на словах. Потом с нас спросят (кто это с них способен спросить?), и хлопот не оберешься. А вас что смущает?

Соображаю. По существу неприемлемо только требование о "Белой книге". Но в случае чего окрещу ее голубой, оранжевой или зеленой. А в предисловии объясню, откуда столь странный для разоблачительного сборника цвет. Но все равно нужно поразмыслить. Нет, настаивает, чтобы писал сразу, тут же, не выходя из здания. Его не устраивает, чтобы я с кем-либо советовался, а я не хочу подписывать бумагу без консультаций с Оскаром и Д. Натолкнувшись на мое железобетонное упрямство, Коньков уступает.

— Теперь три часа. В пять возвращайтесь.

Куда он так торопится? План, что ли, выполняет? Почему бы и нет? Государство у нас плановое, даже выпуск подштанников планируется...

У Оскара, вместе с ним и Д., составляем текст на полстранички, такой конкретный и недвусмысленный, что, кажется, подложить свинью гебисты не сумеют. Была не была! Коньков доволен. Выражает надежду, что этот документ разглашаться не будет. Заводит речь о картинах. Сколько собираюсь увозить? Двести? Аппетиты у вас, Александр Давидович!

— Не аппетиты, а картины.

И разворачивается неуместная для этих суровых стен рыночная торговля.

— Тридцать — сорок куда ни шло.

— Вы что, Николай Михайлович? Минимум сто пятьдесят! — Препираюсь ради потехи. Если по совести, мне совершенно безразлично, сто или двести. Так или иначе — все переправлю. Лучшее — нелегально. Художник Титов, уезжая, доверился им, и они облили его холсты серной кислотой. Достал их в Риме из ящиков искалеченными. Руки-ноги повывергивать бы готтентотам с Лубянки.

А полковник Коньков торгуется, как деревенский мужичок, спокойненько, не распаляясь. Я ему:

— Американке Стивенс вы разрешили вывезти восемьдесят картин...

Он, впервые обрывая меня:

— Вот и вы забирайте восемьдесят.

Прикидываю. Годится. С ходу солидную выставку в Европе устрою. Коньков же напирает:

— Больше восьмидесяти не выйдет. — И несется во весь опор. — Когда отправитесь в ОВИР? В декабре вы должны выехать.

В декабре не успею. Мне нужно попрощаться с родными в Уфе и Тбилиси, съездить на выставку в Ленинград.

Полковник не унимается:

— В Уфу и Тбилиси самолетом в три дня обернетесь. На выставку ездить не обязательно.

Кому нет, а кому да. Вы меня из-за картин выгоняете, а я на первую выставку ленинградских модернистов не поеду? Как бы не так! Он говорит, что в следующем году с отъездом усложнится. Я простодушно отвечаю, что с удовольствием останусь. Коньков чуть ли не ласково сулит посадить, как антисоветчика. В тон ему:

— Заранее благодарю.

— На днях еще увидимся, — заключает Николай Михайлович.

Грошевень провожает меня и, словно само собой разумеющееся:

— Прежде, чем из Москвы куда-нибудь ехать, позвоните и предупредите.

Чего захотели! Поднадзорный я, что ли? А то какой же?!

Их машины по-прежнему за мной по пятам. Не меньше двух. Накануне они усердно гонялись за такси, в котором мы ехали с художником Герасимовым. Водителя замучили: то тут сверни, то там развернись, то гони во всю мочь, то замри в переулке. От одной удрали. От второй никак. На обледеневшем подъеме близ Преображенки такси забуксовало. Оглядываюсь. Лыбятся. Захлестнула ярость. Выскочил — и к ним. Герасимов следом. Пытается удержать, но отстал. Я же распахнул дверцу гебистской машины и:

— Сволочи! Подонки!

Словно оглохли. Лица деревянные. Пустые глаза смотрят в никуда. Ну что же, раз вам охота за мной следить — следите, из Москвы поеду — ловите, а предупреждать вас уж увольте, Николай Викторович.

Вечером ко мне приходит хмурый Оскар. Он весь в напряжении, комок нервов. Ни на секунду не допускает, что меня выпустят с картинами. И вообще отпустят. Повторяет, что затеяна какая-то провокация. Говорит загадочно и возвышенно:

— Ты многое сделал. Было и страшно, и опасно, но ты сделал. То, что нужно сделать сейчас, требует особенного мужества.

Обещай, что ты это сделаешь, или мы больше не друзья.

Я обеспокоен не его словами, а его состоянием.

— Объясни, что случилось?

— Сначала пообещай, что сделаешь.

Пробую ослабить напряжение шуткой:

— Нельзя же вслепую. Вдруг ты захочешь, чтобы я сжег все картины или убил Майю?

— Саша, я серьезно.

— Обещаю, Оскарчик.

Маска одержимого спадает с его лица:

— Нужно предать гласности документ, который ты сегодня отнес на Лубянку.

Ну и чудак! Конечно, это опасно, если они просили сохранить в тайне. Но разве открытые письма, пресс-конференции, антисоветские интервью грозят менее суровыми последствиями? А он опять нервничает, боится, что передумаю.

— Пошли, Оскар, звонить корреспондентам.

Жаждет сам. Но я не уступаю. Если предавать гласности, то это моя задача. Иначе я как бы прячусь от страха за его спину. Названиваю неудачно. Ни в Ассошиэйтед Пресс, ни в агентстве Рейтер, ни в Юнайтед Пресс будто нарочно — никого. Наконец, во Франс Пресс откликаются. И через час прибывает высокий, чуть сутулый пожилой мужчина, прекрасно говорящий по-русски. Фамилия Данзас. Ему передается копия документа с просьбой ознакомить с ним англичан, американцев, немцев, скандинавов. Для Москвы — обычная процедура. Здесь журналисты обмениваются информацией. Данзас согласен. Оскар еще, еще и еще говорит ему о важности этого короткого текста и необходимости запустить его в эфир побыстрее. Увы! Данзас обманул. Никто из знакомых корреспондентов о документе не узнал, и Франс Пресс он остался тоже неизвестен...

Напрасно я радовался, что, может быть, мой поступок сорвет соглашение и отъезд отложится или отпадет вовсе.

Вена — Париж, 1976 г.



# «ЛЮБАЯ СВОБОДА ЛУЧШЕ САМОЙ КРАСИВОЙ И САМОЙ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЮРЬМЫ»

*Беседа с Евгением Сидоровым*

*Перестройке и гласности стукнуло уже шесть лет. Литература стала свободной, что ты можешь сказать о литературном процессе этого периода?*

Очень сложный вопрос. Прежде всего — стала ли наша литература свободной? Потому что, как выясняется, свобода — это не есть только нечто внешнее, что отменяет цензуру или дает возможность печататься, свободно говорить о том, что думаешь, а свобода — это прежде всего внутреннее состояние художника, которое не приходит в связи с отменой каких-то законов или созданием новых законов. И поэтому до подлинной художественной свободы в России еще очень и очень далеко.

Сегодня нашим писателям-шестидесятиникам, условно говоря, которые так радостно приветствовали перемены в Советском Союзе и правильно приветствовали, ибо гласность и отмена цензурных ограничений, свобода передвижения, эмиграция — это главное, что принесла эпоха Горбачева в нашу жизнь, так вот сегодня этим писателям не до литературы, они почти и не пишут. Они перестали писать книги. Они пишут речи, статьи, письма... Подлинники демократы, они с головой погрузились в политическую деятельность. Только в Союзном парламенте девяносто человек — члены Союза писателей. Где еще есть страна, которая делеги-

ривала такое количество писателей в парламентарии? Это Россия, которая просто не знает, что такое парламентаризм, поэтому она и двинула туда людей, которые должны как бы обеспечить свободную политическую деятельность в тоталитарной стране, никогда не знавшей демократии.

Должен сказать, что мне кажется, что это временно, плохо, ненормально, потому что единственное, что может каким-то образом повлиять на развитие нормальное художественной ситуации в моей стране, в нашей с тобой стране, это дело возрождения культуры. Пока, к сожалению, об этом думается в этаким мечтательном плане и реальная художественная практика не позволяет делать вывод, что делаются какие-то серьезные шаги в этом направлении. Вакуум, который возник в результате почти полного отсутствия какой-то современной, серьезной литературы, начал заполняться литературой, прежде запрещенной.

Короче говоря, публицистика экономическая, социологическая, философская плюс публикация того, что было запрещено, — вот это создало фон и весь литературный процесс этих шести лет. Все остальное было периферийно. И я тут чувствую, что подхожу к вопросу, который ты задашь дальше. Особенно тревожно почувствовало себя молодое поколение, которое как бы оказалось не у дел, ибо перестройка им ничего не принесла. Конечно, литераторы, которые раньше отрицали все стили, связанные с социалистическим реализмом, с идеологизированным словом, вышли из подполья, так сказать, немножко высунулись, но все равно им не было предоставлено достаточных возможностей для публикаций и они почувствовали себя вновь обделенными. Иными словами, меньше всего перестройка дала возможностей им, этой новой, другой литературе. О них-то и хотелось бы поговорить.

*Кстати, еще два года назад мы говорили на эти темы с Натальей Ивановой, Аллой Латыниной и другими нашими критиками. Мне довелось с ними говорить и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. И вот наши мнения совпали. Эти писатели эстетически не подходят даже новым, либеральным редакторам. И между прочим, то же самое получилось в эмиграции. И там их практически не печатали. Именно поэтому "Стрелец" стал широко их публиковать. Кстати, я получал письма от них в 1986-87 годах, они писали, что посылали в разные зарубежные издания свои произведения, но увы... И вот последняя надежда у них на "Стрелец". В последние два года в Москве появилось много альманахов, куда стали все чаще включать этих писателей. Но, очевидно, и это недостаточно, и в этом смысле мне показалась интересна та конференция, которая прошла у вас в институте, "Постмодернизм и мы", при переполненном зале.*

Ну, а как ты смотришь на ближайшее будущее русской литературы?

Я убежден в том, что какие бы политические сотрясения ни вздымали нашу почву, культура не погибнет. И только она,

кстати, может спасти и человека, и Россию от гибели в духовном смысле этого слова. Молодые, которые пришли сейчас в литературу, хорошо это понимают, они стремятся вернуться в литературу и искусство, уйти от митингового слова, которое уже просто в зубах навязло, к слову художественному. Это ты правильно подметил. В своих сочинениях они пытаются поставить заслон такому эмпирическому, политизированному слову, которое захлестывает сознание современного человека, и обращающей человек прежде всего воспринимает его через язык произведений, что чрезвычайно важно для молодых. А ведь чувство формы было совершенно убито предыдущим периодом, и те, кто знает советскую историю, не станут возражать против того факта, что коллективизация в деревне по существу совпала с коллективизацией писательского слова, тогда-то и был создан Союз писателей.

Короче говоря, возвращение к слову не идеологизированному — это самое главное, что несут молодые. Но при этом вовсе не обязательно их надо поддерживать, как мне кажется, во всех проявлениях, потому что появляется страшная опасность очередных всякого рода спекуляций, спекуляций уже на отсутствии каких-то запретов, внутренние законы перед художником все-таки должны стоять, и мне не нравится, когда это наотмашь отрицается. К примеру, мы обсуждали на этой конференции проблему мата. Когда это у Алешковского, в совершенно определенной структуре, а у Алешковская это сказовая форма, из недр опохабленной советской жизни поднимается правдивый голос, рассказывающий о том, что происходит, это одно дело, там мат несет эстетическую функцию, он совершенно необходим для того, чтобы объективно отразить изображаемое. Но другое дело, когда интеллигентный московский паренек для того, чтобы прослыть крупным лидером андерграунда, начинает насыщать свои тексты похабщиной и матерщиной, которая не несет серьезной эстетической функции. Тогда плохо, тогда это та же самая условность, только с обратным знаком.

Во всяком случае, литература, которая обращает наше сознание к 20-м годам, когда русская проза и поэзия отличались разнообразием и формальными поисками, — это у молодых тенденция, которую я всячески приветствую. Но должен опять сказать, что в каждом случае надо разбираться отдельно. Есть замечательные авторы среди сорокалетних. Например, я очень высоко ценю прозу Евгения Попова. Кстати, гораздо выше, чем прозу Виктора Ерофеева, хотя очень его ценю как литературоведа. Это умный, рафинированный, блестящий литературовед. Но вот проза его мне нравится меньше. Она мне кажется скучной, немножко вторичной и вообще построенной на эпатаже. Литература не может строиться на отрицании чего-то, она всегда должна нести, как мне кажется, большой положительный потенциал, божественный заряд, особенно русская проза и русская поэзия, русская литература вообще...

Кроме Попова, я бы назвал еще Елену Шварц — поэта с божественным даром. И, конечно, следует назвать такое явление,

как Венедикт Ерофеев, это, по-моему, нечто огромное. Вот в ком поистине есть божественный дар. И он такую правду сказал о русском характере, о русском человеке, выбившемся из всех социальных рамок, такую великую правду сказал... Вот этого не хватает иногда молодым. Но сам факт, что люди молодые, в том числе студенты Литинститута, уходят от любых социологических камер, сеток, клеток, выходят на простор какого-то самостоятельного речевого жеста, это очень важно. Они понимают, что только слово может их освободить и только слово может их привести к какому-то чувству формы, так как слово освобождает настоящее и одновременно ставит какие-то рамки, потому что ограничение — это тоже признак художественного дара, признак формы. Но ограничения он сам строит себе, то есть не кто-то внешне, а сам. Пока что у молодых больше такой свободы и меньше ограничений. Должно пройти еще какое-то время, чтобы русская почва дала какие-то художественные плоды. Ведь все мы — и модернисты, и постмодернисты, и соцреалисты, и метафористы, и концептуалисты, и кто угодно — выкормыши советской системы, советского образа жизни. Как бы ни бунтовали наши дети, в них это заложено в школе. Они главным образом специалисты больших протестов. А как только перед ними ставишь конструктивную задачу: сделай что-то сам, поведи куда-то людей — полное фиаско. Ты понимаешь?

*Ну, может быть, они считают вслед за Галичем, что не надо никого никуда вести. Они уходят в чистую литературу, в чистое слово. Скажем, Зуфар Гареев, Анатолий Гаврилов, Валерия Нарбикова, Лариса Ванеева. Они разные, конечно, и по дарованиям, и по направлениям своим... Им даже не приходит в голову, что литература должна куда-то вести.*

Я тоже считаю, что она не должна куда-то вести, но ты понимаешь, в чем дело, вести-то не надо, но должен быть какой-то момент, должен быть свет. Я тяготею к нормальной евангелической, христианской традиции. Есть же книга — Евангелие. Это для меня пралитература новейшего времени. Это может быть не в образе пластического, это может быть развито в стиле, это может быть в чем угодно. Я перечитывал недавно Генри Миллера. Это потрясающая по своему чувственному восприятию Парижа книга. Если сопоставить хемингуэйевский "Праздник, который всегда со мной" и книгу Миллера, то это — две книги о радости жизни. Я читаю всякие современные любовные сексуальные истории... В них нет радости, им эта жизнь не в радость. Ведь та же самая Ванеева и Нарбикова — замечательная техника, но это техника совершенно бессильных, импотентирующих людей. Это свидетельство времени, чего угодно, но там нет никакой мощи, понимаешь, там нету даже признаков мощной витальности, жизненности. Это мои дети, и я страдаю, но я не могу поощрять их в этом. Они не могут быть сильными. И это, видимо, трагедия поколения. Кстати говоря, те, о ком мы беседовали, так или иначе связаны с Литинститутом, учились у нас. А вот, например, у

Кропивницкого и его Лианозовской школы все это было. Там было служение, понимаешь? Несмотря ни на что. У нынешних наших служения нет, они свободны, но подлинного Бога в душе у них я не ощущаю. Наверное, я ворчу просто...

*Со многим я согласен. Но все-таки мне кажется, что та же Нарбикова искренна в своем творчестве. И, как говорится, пусть одни служат, но другие могут и не служить. Два разных вида литературы русской. Был Фет, а был Тютчев. Фет чистый лирик, если и служил, то чистой музе. Но вот интересно, в конце концов, что из этого получится. Потому что — то ли это дорога в никуда, в тупик, то ли путь, который превратится в широкий проспект. Это покажет только время. Во всяком случае, мне кажется, что в настоящее время их надо поддерживать.*

Безусловно. Все критические вещи, сказанные мною тебе, никак не противоречат тому, что я их всячески поддерживаю. Ведь невозможно уже терпеть ровную, выжженную, серую, однообразную литературную массу, которая у нас существовала... Поэтому любая свобода лучше самой красивой и самой обесчещенной тюрьмы. Другое дело, что необходима огромная художественная воля писателю, который понимает, что он пришел сказать новое слово в литературе. А здесь — двери, распахнутые настежь, причем они распахнулись внезапно, и это, конечно, чревато огромными соблазнами. По-моему, сейчас опять идет выработка стилей, форм, возвращение слова к слову русскому, и вот среди этих молодых есть потрясающе талантливые люди, например, Владимир Сорокин прозаик очень интересный, но не нужно забывать о предтечах "другой литературы". Надо говорить о Саше Соколове, об Аксенове, Битове, да и об Андрее Вознесенском... Сейчас они уже мэтры, которые спешат за молодыми, как "задрвштаны, бежать за комсомолом", помнишь? Но они, их книги очень способствовали появлению и становлению нынешних молодых.

*Два года назад я проводил в Париже симпозиум "Новая литература и новая эстетика". Там говорили о предтечах, об Аксенове в частности. В интервью, взятом мною для "Стрельца" у Жени Попова, он тоже говорит об Аксенове.*

Попов прекрасный писатель, я его очень люблю. Он очень национальный писатель, как и Венечка Ерофеев. Все-таки, знаешь, иметь национальную, а не чисто космополитическую окраску в прозе, поэзии очень важно. Я говорю это, хотя для меня идеалом современного человека является Андрей Дмитриевич Сахаров, который был убежденным космополитом и считал, что наряду с многим нам мешает и ложно понятое национальное чувство. Это была одна из его идей, в которых они расхолись с Солженицыным. Во второй половине двадцатого века Россия выдвинула две такие фигуры мирового масштаба. Эти два крыла могут способствовать победе подлинной русской идеи, но только в разумном сочетании. Потому что нельзя иметь только одного



Солженицына, нельзя иметь только одного Сахарова... Необходимо соединение национальной трагической истории с западничеством высокого толка... Вот почему я не могу так уж радостно приветствовать только то, что делают наши молодые постмодернисты, которые явно ориентируются на космополитический стиль. Но в то же время они делают то, что совершенно необходимо, — выработывают новый свободный язык русской прозы. В этом я вижу их предназначение, их гибельный подвиг, их задачу. И поэтому я всячески буду их поддерживать, нравится мне или не нравится.

Скажем, когда я начал собирать картины неофициальных художников, некоторые из них не были моими... Но если я хотел показать во всей полноте картину подлинного русского искусства, я должен был обязательно приобрести для своей коллекции и то, что не чувствовал, но понимал, что это — значительно. Порою в "Стрельце" я печатаю вещи, которые не мои, потому что у меня тоже есть свои вкусы и идеалы. Но если я вижу, что это талантливо, что написано не для эпатажа, то публикую. Интересно, что на Западе, в эмиграции оказалась тоже группа молодых, которые как бы тоже заявили о том, что они "другая литература", — Юрьенен, Савицкий, Милославский и другие... И получилось так, что их зарубежная русская пресса тоже практически не печатала. И когда я начал их наряду с "другой литературой" из метрополии активно печатать, эмигрантская пресса заворчала. На протяжении многих лет в эмигрантских газетах о "Стрельце" были только положительные рецензии, может, иногда была критика, но в общем, в основном, писали положительно, а тут уж пошло прямо по-советски: декаданс, разврат, отсутствие нравственных ценностей... С одной стороны, это очень странно, а с другой, понятно, так как я уже говорил о том, что это все люди со вкусами — выработанными в шестидесятых годах, к тому же люди непримиримые, истинно советские.

После нашей конференции по постмодернизму в прессе появились отклики, причем некоторые прямо-таки хулиганские... Сегодня я беседовал с одним из руководителей Союза писателей России, который сказал, что, дескать, у вас в Литинституте безобразия происходят, что надо его закрыть, ваш Литинститут, потому как там у вас порнография. Вот вам и шестой год перестройки. Сейчас в Союзе писателей РСФСР к руководству пришли люди, которые уже жаждут все, что им не по нраву, закрыть, закабалить, придушить... Повторяется все, что было. И я сегодня поймал себя на мысли, что начинаю бояться — а вдруг действительно?

Солженицын выдал замечательную триаду: "Не верь, не бойся, не проси..." Так что, Женя, не стоит бояться. Ведь борьба двух лагерей идет не на жизнь, а на смерть, особенно со стороны тех, кто печатался многотысячными тиражами и вдруг... просто исчез...

И в этом смысле Литературный институт, который сейчас в общем как-то приобрел какую-то филологическую окраску, интеллигентность, я смею надеяться, вызывает плохо скрываемую ярость у людей, которые считают, что все должно вернуться в русло реалистической, псевдоэпической, ужасной литературы...

И поэтому – все-таки страшно....

Интервью взял Александр Глезер.

Москва, апрель 1991 г.

## **ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «СТРЕЛЬЦА»:**

**Проза: В. Бутромеев, Олег Дарк, Алексей  
Скалдин, Федот Сучков, Борис Фальков,**

**Поэзия: Елена Дунская, Константин  
Кедров, Михаил Книжник, Виктор  
Кривулин, Генрих Сапгир, Михаил  
Синельников**

**Эссе Василия Аксенова**

**Воспоминания художника Дмитрия  
Плавинского**

**Отрывок из книги об Анатолии Звереве**

**Глава из книги Доры Штурман:**

**«Городу и миру». О публицистике  
А. И. Солженицына**

**Рецензии на новые книги, обзоры  
выставок русских художников на Западе**

# СКУЛЬПТОР ГАРРИ ФАЙФ

Объекты, сконструированные Гарри Файфом, сразу поражают классической чистотой линий, цвета и световых пространств. Я не говорю о "чистоте" в смысле заурядного "искусства ради искусства", а в смысле того, как Малевич, на которого Файф ссылается, желал избавиться от изображения и от "предметного хлама", от иллюстрации, от мимического воспроизведения предметов природы, и от предметов, субъективно деформированных тем или иным художником.

Файф не хочет имитировать или деформировать природу. Он хочет создать новый живой образ через динамическое восприятие пространства.

Архитектор по профессии, он радикально отличает архитектонику, где ритм связан с законом земного притяжения, и скульптуру, которая организует независимый и замкнутый в себе мир, своего рода монаду, мир, который в силу вещей учитывает земное притяжение, но строится по принципу притяжения. Мобильные или стабильные сооружения Файфа являются мерой мира, созданной человеком через него и для него.

Неслучайно кинетически-конструктивистская группа, основанная в Москве Гарри Файфом, Вячеславом Колейчуком и Геннадием Рыкуновым, носила название "МИР", что по-русски одновременно означает вселенную и мир. Символически нельзя лучше определить функцию, которую Файф предназначает искус-

ству, функцию, которая все больше и больше осознается поколением современных художников.

В поисках нового языка синтеза форм (возможно, при помощи звуков, света, цвета, комбинации самых различных материалов), современный художник не околдован, как раньше, мифологией "нового", в том виде, как его утверждал футуризм, а затем все авангардисты. Осознание, что не может быть изобретено ничего нового, ведет к необходимости творить, исходя из огромного пластического и концептуального наследия двадцатых годов, не видя ничего зазорного в том, чтобы совершенно свободно перемешивать, "миксировать", интегрировать достижения прошлого, не боясь при этом даже включать в свои вещи явные "цитаты" из произведений двадцатых годов. Что-то аналогичное было провозглашено художником Ларионовым и поэтом Ильей Зданевичем (ИЛЬИАЗДОМ) в Москве в 1931 году, когда они основали свое направление "ВСЁЧЕСТВО". Перемешивание всех живописных культур, возведение копии на уровень оригинального произведения, стремление все "раскрашивать", вплоть до человеческого тела... В этом скрывалось желание искусством охватить всю жизнь.

У Ларионова, у И. Зданевича, у Р. и С. Делоне и немного позже у дадаистов было стремление превратить жизнь в некий карнавал.

В доминирующем же сегодня искусстве, у Файфа в частности, мы находим, кроме этого, выражение новой сакральности, которая непосредственно не связана больше с религиозным открытием, но которая и здесь сочетает разные религиозные концепции человека в его поисках символики, позволяющей ему противостоять неизведанному, в том числе и смерти.

На первый взгляд, серия супрематических объектов Файфа напоминает известные "архитектоны" Казимира Малевича. Однако у основоположника супрематизма имеются в виду проекты утопической архитектуры. А Файф не делает архитектурных проектов, он конструирует скульптуры, развивая идею, которую Малевич развил в брошюре, написанной в Витебске в 1920 году. "Супрематизм, 34 рисунка". Там великий художник пишет:

"Супрематический аппарат, если можно так выразиться, будет едино-целым, без всяких скреплений. Брусок слит со всеми элементами подобно земному шару, несущему в себе жизнь совершенств, так что каждое построенное супрематическое тело будет включено в природо-естественную организацию и станет представлять из себя спутник. Нужно найти только взаимоотношение между двумя телами, бегущими в пространстве. Между землей и луной может быть построен, оборудованный всеми элементами супрематический спутник, который будет двигаться по орбите, образуя свой новый путь."

Пользуясь квадратом как основной формой, Файф строит пространство с четырьмя кубами. Чтобы это пространство ожило, надо, чтобы оно выделило свою собственную энергию, надо, чтобы содзалося напряжение между различными элементами.

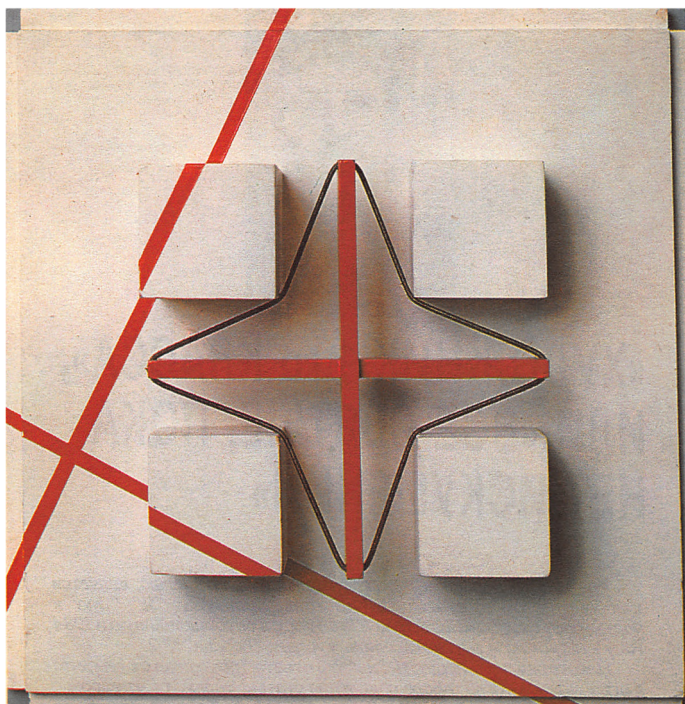
Это достигается с помощью растянутой между четырьмя кубами линии-пружины и цветной линейной графики.

Крест – другой основной элемент исторического супрематизма, задуман Файфом, как пересечение в центре той единственной точки, в которой сконцентрированы энергия и напряжение построенного пространства. Минимальные цветовые линии благодаря контрасту с рельефом, пустотой и заполнением, оживляют конструкцию своим живописным ритмом.

Среди хаоса и неуверенности современного искусства, которое, по всей видимости, является только переходной стадией к чему-то, творчество Гарри Файфа значительно уже тем, что оно отличается ясностью, упорством, логикой. Оно убеждает чистотой и силой воплощения идей мастера.

**Жан-Клод МАРКАДЭ**

Париж





## «ХУДОЖНИК 1-го КЛАССА», ИЛИ «ВСЕ СВЯТЫЕ, ПОКА НЕТ ИСКУШЕНИЙ»

*Уважаемая редакция, текст, который я вам посылаю, является как бы ответом на статью И. Кабакова "Культура, "Я", "Оно" и Фаворский свет", написанную в 1980 году и опубликованную в 1984 году в парижском русскоязычном журнале "Беседа" № 2.*

*Некоторая запоздалость "как бы ответа" объясняется тем, что я ограничился тогда, после появления статьи, только разговором с Кабаковым, назвав эту его публикацию "Майн Кампф". Теперь по прошествии ряда лет и бурных событий, многое изменивших в нашей жизни, я вижу, что статья Кабакова была не только небрежно стилистически оформленным притязанием на представителя "культуры" в современном искусстве, но и теоретическим обоснованием его притязаний на "мировое господство". Мне трудно избежать двусмысленности моего положения, поскольку я являюсь действующим лицом этого конфликта (что тоже было причиной долгих колебаний). Тем не менее я считаю, что проблема, о которой идет речь, гораздо шире, чем выяснение отношений между двумя художниками. Речь идет о судьбе художника вообще, независимо от того, в каком конкретном социуме он существует, и поэтому я считаю свой ответ актуальным сейчас, когда судьба дала художнику столько соблазнов и каждый стоит перед выбором.*

*Нью-Йорк, 20/5/91 г. Владимир Янкилевский*

Когда-то, лет двадцать назад, один из видных представителей московского "андерграунда" Илья Кабаков фундаментально поставил вопрос о социальной "завербованности" (Ж.-П. Сартр) личности, выражением которой стала иерархическая сетка ("машинист 1-го класса", "бухгалтер 3-го класса", "чертежник 2-го класса" и т.д.), являющаяся образом бюрократического омертвления жизни, подменой человеческих ценностей правилами игры социума. В то время это был не только независимый онтологический анализ структуры актуального социума (продолжающий традиции Гоголя, Кафки), но и позиция, занимаемая художником по отношению к "другой", чуждой реальности, в которую, как "сказал" в своей картине другой видный представитель "андерграунда" Эрик Булатов, "Входа нет".

Эта чуждая реальность была выражением "не жизни", "несвободы", в отличие от "жизни творческой", т.е. свободы художника-творца. Это было время, когда художник "неофициальный", т.е. не ангажированный, "не существовал" для официальной жизни, был выведен за ее пределы. Его вещи не выставлялись, о нем ничего не писалось в официальной прессе (кроме случаев, когда он как гражданин или художник-диссидент вступал на каком-то уровне в конфронтацию с официальной демагогией. Тогда его рассматривали как "идеологического противника" и публикации о нем были "огнем на уничтожение"). Быть художником-"авангардистом" в то время было непрестижно, невыгодно и просто опасно.

Критика социума всегда имеет психологически как минимум два основания. Первое – неприятие социума как абсурда, разрушающего личность, ирония над его институтами, и второе – "мшение" обществу, куда Тебе "Входа нет". (Скрытое и, возможно, подсознательное стремление к привилегиям, наградам и аплодисментам, которые может дать только актуальный социум).

Эти две возможные альтернативы определяют судьбу художника. Судьба подлинного художника часто бывает трагична, независимо от того, в каком социуме он живет. Это нормально, так как судьба художника – это судьба его пророчества, его высказывания о мире, которое ломает устоявшиеся стереотипы восприятия и мышления, создаваемые "массовой культурой" и интеллектуальным снобизмом. Быть творцом и быть "в свое время" канонизированным "героем" социума – это почти непреодолимый парадокс. Пытаться его преодолеть – это путь к конформизму.

Если рассматривать произведение искусства как модель жизни, то формально эта модель должна иметь иерархическую структуру, адекватную по сложности и богатству взаимосвязей самой жизни. Произведение состоит как бы из двух составляющих: 1 - это человеческая оценка мира и 2 – организация материала



(информации) по заданному иерархическому принципу (что, на мой взгляд, является наиболее точным и емким определением интеллекта). Эти две составляющие находят свое отражение в многоуровневой структуре произведения. Но ограниченные возможности художника (чувственные и интеллектуальные) определяют конечный результат. В этом смысле по произведению можно диагностировать личность художника.

Выбор языка описания, формы произведения адекватны дарованию художника и его представлению об "описываемом".

"Верхним" и наиболее доступным слоем произведения является литературный сюжет, или то, что "нарисовано" и что можно рассказать "словами". Этот слой "понятен" людям, чей жизненный опыт позволяет судить о нарисованном.

Есть более глубокие "невидимые" слои, в которых находят свое отражение метафизические связи между изображенными вещами и цветовые и ритмические взаимодействия, создающие более универсальное представление о переживании мира. Эти слои менее доступны для восприятия, они действуют на подсознание и вытекают из его глубин архитипы и культурную память.

Дистанция, которая отделяет творца от слияния с социумом, есть дистанция необходимая и спасительная для творчества, так как она дает больший угол рассмотрения проблем, пространственность и неоднозначность оценки. (Дистанция оценки необходима и зрителю, эту дистанцию создает время).

Бывает и так, что социум воспринимает и аплодирует только тому "слою" произведения, который ему "понятен", не воспринимая глубинную и самую важную часть произведения. Художники, в произведениях которых нет прямой и легко воспринимаемой связи с актуальностью, обречены на долгое ожидание признания социумом.

От "верхнего" слоя актуального сюжета произведения, через метафорическую образность более глубоких слоев, вызывающих в сознании зрителя сложную неоднозначность представления об экзистенциуме (пространстве существования человека), до "нижних", глубинных слоев, апеллирующих к подсознанию, все это "выстраивается" в каждом конкретном произведении в иерархию ценностей, которая и является мировоззрением художника. Жизненные приоритеты художника отражены в его произведении.

Если слой "актуального сюжета" не спроецирован на слой "вечных проблем" и не "зашифрован" на универсальном языке пластики, персонально и ясно выраженном художником-творцом, этот слой становится однозначным, не имеет пространственной и временной глубины и уплотняется до уровня вульгарной социальной рефлексии и комментария, более или менее остроумного.

Именно так называемый "соц-арт" как явление и паразитирует на этом слое, используя все спекулятивные моменты актуального сюжета. Идеологическим манифестом "соц-арта" вряд ли можно считать какой-нибудь один документ. Это идеология и психология вызревала долго в недрах андерграунда и в этих недрах носила признаки художественного явления, так как была трагическим выражением анализа "родной" и в то же время "чуждой" реальности.

Не следует забывать и о том, что такие выдающиеся мастера, как Дмитрий Шостакович (Раек), романсы на тексты писем в журнал "Крокодил"), Александр Галич с его песнями, Эрнст Неизвестный с его альбомной серией "Королевство говна", в то время, когда это было смертельно опасно, актом творчества выявляли чудовищную суть режима. Эти усилия составляли только одну из сторон полнокровных и многогранных усилий художников, писателей, музыкантов по созданию образа сложной и трагической реальности.

В атмосфере деградации советского общества искусства "соц-арта" в глазах публики стало вытеснять своей "понятностью", отзывчивостью и однозначностью "другое" искусство. На наших глазах социальная жизнь одного поколения художников радикально изменилась. Художники бывшего андерграунда стали ангажированными, их покупают, их прославляют, им аплодируют.

Немногие выдерживают это испытание, ибо "критикуя" реальный социум, зарабатываешь аплодисменты и деньги, тем более что это перестало быть опасным занятием. Маниакальное ерничество на тему советской символики и разных сторон советской реальности, которое давно уже прошло свой пик остроумного комментария, кажется, превращается из ненависти в болезненную вечную любовь. В социальном плане это явление родственно "бесовщине", которая появляется в опеределенные "смутные" времена, делает свой "шабаш" и исчезает.

В плане художественного выражения для "соц-арта" характерна эстетическая эклектика, заимствование элементов или стилистики массовой культуры или "культурного мусора". Этот разваливающийся, не имеющий центростремительной, соединяющей пластической силы конгломерат поддерживается только зрителем, который "в курсе дела", с которым художник как бы перемигируется. Это легко усвояемая, эпигонская по своей сути традиция "общего места" предопределила появление в "соц-арте" массы обезличенных художников.

На фоне эпохальных событий в СССР "соц-арт" стал самым популярным на Западе художественным товаром. Совершилась закономерная метаморфоза спекулятивного социального искусства "соц-арта" в коммерческое.

Характерная деталь: много критиков, "не умеющих" писать о современном искусстве и не имеющих "языка описания", с легкостью переключились на описание "соц-арта". Появились интеллектуальные снобы "соц-арта".

Популярность "соц-арта" на Западе можно объяснить несколькими причинами: доступностью содержания, определяемой упрощенным набором советских символов и "остроумным" сюжетом, интеграцией "соц-арта" в художественный рынок Запада, вложением денег крупных дилеров и коллекционеров и сопутствующие этому реклама, паблисити и т. д.

Безусловным лидером этого нарастающего обвала является Кабаков, благодаря не только масштабам своего творчества, но и титанической работе по завоеванию "площадки". Мощным трамплином явился для него журнал "А — Я", который стал идео-

логическим и пропагандистским органом Кабакова в борьбе за чемпионство.

Но самым важным программным и до изумления откровенным документом, обосновывающим претензии Кабакова на первенство, является его статья "КУЛЬТУРА, "Я", "ОНО" и ФАВОРСКИЙ СВЕТ", написанная еще 22 июня 1980 года и опубликованная в журнале "Беседа" № 2 1984 года. (Дата написания зловеще символична, так как эта статья и была, как будет показано дальше, объявлением "войны").

Прочитав впервые эту публикацию, я был потрясен и в разговоре с Кабаковым назвал его статью "Майн Кампф". Теперь, когда прошло десять лет, то, что тогда было для меня пугающей догадкой, методично претворялось в жизнь, как программа по завоеванию "мирового господства", что становится очевидным для все большего числа даже его "соратников" и апологетов. Эта деятельность настолько поражает своим масштабом и всепоглощающей страстью, что кажется болезненной манией. На него "работают" (у борца за "чемпионство" всегда есть команда) критики, которые "знают", как обосновать приоритет "чемпиона" и выстроить в соответствии с этим новую иерархию и мифологию, выбрасывая из нее всех, кто не вписывается в "кредитную историю" чемпиона, дилеры и коллекционеры, которые на него "поставили". За всем этим идет армия последователей и эпигонов.

В статье Кабаков распределяет наиболее важные, с его точки зрения, художественные тенденции в Москве на четыре культурные "кучи" (так в тексте). "Кучи" располагаются почему-то по углам ромба. Четыре "кучи" — это культура (без кавычек), "я", "оно" и Фаворский свет (тоже без кавычек). "Кучи", Фаворский свет и "оно" соединяет вертикаль (Фаворский свет вверху, "оно" — внизу) и "я" и культуру — горизонталь ("я" справа, культура — слева).

*"Слева от юга, естественно, мы расположим культуру (подчеркнуто мной, — В.Я.). Слово "культура" будет у нас лежать на западе как бы, то есть слева, если смотреть фронтально на север — юг. Там ей и место, как естественно полагать. На востоке у нас будет "я". Так оно и должно быть, так как оно постоянно восходит и с него все начинается, а с западом все, естественно, кончается."*

Вот как характеризуются эти четыре "кучи": "1-ое — это то, что можно назвать "я", всевозможная проблематика, вопросы, связанные с тем, что такое "я" — что это "я" конкретно может сделать, на что оно способно, как оно решает свои проблемы, как оно оценивает себя, из "я" целый ряд вопросов, как эти вопросы представляются этому "я", каковы задачи "я", вообще, всякая фокусировка, и всякая ориентировка всех явлений на поглощение, на отражение в этом "я", реакции этого "я", в общем, все, что называется этим замечательным словом — "я".

2-ое гнездо связано с понятием культуры. Бесконечные коловращения вокруг этого слова, начиная с чисто теоретического и кончая всякими комплексами, связанными с ответом на вопрос: связано ли данное явление с культурой, или явление это не культурное, обеспечивается ли оно культурой, находится ли в свете культуры, то есть бесконечное маневрирование вокруг слова

"культура", показывает, что это слово не менее емкое, что оно — одно из важнейших энергетических центров, гнезд понятий.

3-е понятие — это понятие "оно", это все, что обладает энергией, давлением, из которого как бы лучится и истекает невероятная мощь, неопределенность, обязательность, то есть все, что связано с невероятной силой и в то же время не может быть никак названо: оно только ощущается и никак не может быть опеределено, поскольку оно страшно размыто, неопределенно, присутствует везде и нигде, оно также носит характер основы, почвы, некоторого фона, стоящего за всем, то есть некоторого мучительного требования, которое требует ответа, определения, описания самого себя — в общем, все, что связано с бессознательным, с тем, что мы чувствуем, но что определить невозможно. Сюда входят также и понятие места, которое может быть тоже воспринято как "оно", требование определения самого себя в этом месте и т. д.

4-ое гнездо, четвертый центр, вокруг которого все вращается, также бесконечно сводясь к нему и опять расходясь от него, — это понятие Фаворского света. Так мы назовем это понятие, которое включает в себя понятие метафизического: понятие высшего, понятие абсолюта, понятие идеи, духа и всевозможнейшие уровни, которые понимаются как высокие, идеальные, к чему нужно стремиться, что необыкновенно парит и сияет и довлеет".

Кто же персонифицирует эти "кучи"? Кабаков выбирает четырех художников: "Я" — Кабаков, культура — Булатов, Фаворский свет — Штейнберг и "оно" — Янкилевский. "Это всем известно и признается (? — В. Я.), что полное и подлинное содержание не только самой фигуры Штейнберга, но и его искусства составляет проблему Фаворского света и наличие его, факт его существования в картине, в которой он и является главным действующим лицом. На этом все, собственно, и построено".

"Почему выбран Янкилевский как антипод, лежащий на этой же вертикали, но внизу, почему он персонифицирует "оно"? Только потому, что та самая нерасчлененная и густая, невероятно связанная, а главное, поглощающая в себя все элементы, растворяющая в каком-то чрезвычайно густом, суггестивном, сжатом, и в то же время живучем, в какой-то плазме, сила, то, чему нет имени, составляет основу, и главный образ, и полное впечатление, и воздействие его искусства. Мы не можем сказать, о чем собственно вычлененно может говорить его искусство, его образы, его слово, то есть они являются как бы малозначимыми. Да, там есть и понятийные структуры, есть там знаки и образы, но все прекрасно понимают, что все они растворены в чем-то гораздо более целостном и по отношению к этому целостному выступают как незначительные и неважные. Они как комки в манной каше, когда ее начинаешь перемешивать, они все равно растворяются в чем-то таком целостном и едином, которому по существу не может быть имени, но которое и по массе, и по мощи, и по энергии всеми очень сильно воспринимается и переживается. Поэтому впечатление "оно", которому нет имени и в котором все элементы растворены, очень сильно присуще искусству Янкилевского. По этой причине мне и захотелось поставить Янкилевского внизу, то есть в низ, который называется "оно".

Почему Булатов персонифицирует точку культуры? Не только потому, что у Булатова начисто отсутствует все мистическое, и рациональное, безличное или слои, воздействующие на сверхсознание, на бессознание, не только потому, что он чрезвычайно ясен, а потому, что если под культурой понимать чрезвычайно сложную и в то же время чрезвычайно отчетливую знаковую структуру, структуру, которую можно смело назвать языком и в которой каждый элемент что-то означает и в этом смысле познается не только как знак, но также как и стоящая за знаком сеть известных и уясненных понятий, — то это оперирование знаковыми структурами, это отдавание отчета в смысле и содержании каждого знака и дает возможность поставить Булатова, как персонажа, олицетворяющего начало культуры. К культуре можно отнести Булатова еще и потому, что эти взаимодействия понятий знаковой структуры настолько значительны и самодовлеющи, что они игнорируют как безличные слои, так и слои, связанные с психологией, со всевозможнейшими замутняющими личными акциями и т.д., т.е. тут как бы элементы представлены своей откровенной, ясной и самодовлеющей силой, и во взаимоотношениях друг с другом (слово "культура" везде подчеркнуто мной. — В. Я.).

Почему Кабаков может занимать точку под названием "я"? Потому, что основной импульс, который лежит в основе его занятий и маневрирования, связан прежде всего с импульсом, исходящим от "я". Тут все явления, все, что ни делается, прежде всего имеет начало в субъективности, в субъективности самого "я". Начиная с произвола, игры, глупости или просто жеста, что особенно свойственно "я", в основу кладутся все явления как бы понятые и в начальном своем движении и в конечном счете сквозь психологию, в основе всего лежит некоторый психологизм, который является самым верным признаком оценки всего происходящего через "я". Все рассмотрение начинается с рассматривания внутри "я" и на "я" же оно и заканчивается. Первой и последней инстанцией в рассмотрении всего целого является "я". Оно есть как бы и центростремительное и центробежное начало: все начинается и заканчивается на "я".

Далее, после этих небрежных и многословных определений идет изложение мысли Лотмана о двух языках. Кабаков сопоставляет эти рассуждения о двух языках с содержанием описываемых "куч" и делает вывод, что "оно" и Фаворский свет олицетворяют праязык, который "...связан с мифологическим сознанием". "...Целостность и единство, всепоглощаемость любого материала являются основой этого языка, он наиболее древний, первичный...". И далее "...в первом языке времени не существует, существует вечность".

Скажем так, что все эти определения можно подытожить понятиями многозначность и универсальность, т.е. понятиями, которые лежат в глубинных слоях предлагаемой мной модели произведения.

Посмотрим теперь, как определяется второй язык, "...язык дискретный, где знак предстает в форме не обозначающего самого

по себе (так в тексте. — В. Я.), а обозначающего нечто (? — В. Я.). Знак выступает в этом языке как обозначающий другое понятие, и язык служит как бы вторичным, является вторичным по отношению к первому языку. Он обладает другими свойствами: дискретностью, отчетливой выраженностью кусков, частей, элементов, чрезвычайно высокой степенью знаковости (? — В. Я.), где каждый знак совершенно твердо обозначает что-либо".

Не знаю, правильно ли излагает Кабаков теорию Лотмана, но этот пассаж можно обозначить одним словом: однозначность. Это то, что лежит в "верхнем" слое предложенной мной модели произведения искусства и называется словом "актуального" сюжета.

Далее Кабаков развивает свою спекуляцию: "Несложно понять, что первая вертикаль, принадлежащая теоретически к области Шифферса, а персонально к области Штейнберга и Янкилевского, представляет собой область антологии, мифологического понимания мира и действительности. Сюда относятся области нерефлекторные, незнаковые, некультурные, невторичные, а области невероятной первичной цельности, мощности и неразведенности".

Это уже фокус. Почему бы Кабакову с такой же изящной легкостью не употребить здесь другие слова: "Сюда относятся области" футбола, кондитерских магазинов, спецодежды и... читатель может добавить любые слова, какие он хочет.

Но попробуем дальше проследить использование Кабаковым понятия "культура", которое он понимает, кажется, очень нетрадиционно, но тем не менее упорно не ставит это новое понятие в кавычки. У него это понятие все время выступает как нечто противоположное понятию "оно". "Оно" не нуждается в каких-то определениях культурного (здесь и дальше подчеркнуто мною. — В. Я.) эта ось, что совершенно замечательно, игнорирует и "я" и культуру... "Оно" может выражаться в ком угодно: это может быть Пушкин, Достоевский, да вообще любой персонаж, только лишь бы через него это "оно" могло бы прореветь, продышать и прозвучать. (!!! — В. Я.). "Оно" также противоположно всякой культуре, "оно" ей не только противоположно, "оно" ей враждебно, ... "оно" существует вне культуры. В каких формах "оно" выражается? Да какая разница, поскольку ведь проблема формы и проблема языка — это и есть явление культуры". (Как же быть с Пушкиным и Достоевским? — В. Я.).

Кабаков чувствует для себя почему то угрозу в "оно", которое он описывает как "...необыкновенная мощь почвы, которая бесконечно плодоносит, бесконечно порождает из себя невероятно могучие таланты и гениев, вообще всякие шедевры в огромном количестве".

Место и эмоции, которые он уделяет описанию "оно", ясно говорит о том, как "оно" болезненно действует на него, как он боится "оно" и комплексует по отношению к "оно". Вся словесная эквилибристика плохо скрывает лишь детское желание, чтоб "неприятное" "оно" сгинуло.

Итак, каков итог теоретического исследования проблемы "оно"

"...трудно говорить об этих вещах, как о произведениях искусства, стоящих в ряду искусственных механизмах культуры".

Итак, это вывод, подведем итог: Янкилевский и Штейнберг убраны с горизонта культуры, по Кабакову. Не знаю, будем ли мы с Кабаковым через сто лет "... благосклонны и нежны, как бы друг друга поддерживать при переходе через лужу, а текущий момент они (то есть мы. — В. Я.) воспринимаются разведенными полярностями и чрезвычайно враждебными. Именно этот субъективный момент хочется подчеркнуть: наша точка зрения не искусствоведческая..."

А какая же, политическая? Вот и выявленный враг, противник, которому в 1980 году объявляется война, "не искусствоведческая". Теперь остается посмотреть, что же осталось. Что такое культура и "я" в его интерпретации.

"Теперь я хочу сказать, что совершенно по-другому ведут себя произведения и работы, которые относятся к другой горизонтали — горизонтали, которую назовем "культура и "я". Я теперь опять вернусь к центральному, болезненному вопросу о том, как относятся произведения, изготовленные здесь, на нашей почве, к произведениям Запада. Я думаю, что на первой оси, в случае магической онтологии, этот вопрос стоит принципиально. Там игнорируется всякое представление о Западе (? — В. Я.) или искусство Запада победоносно отбрасывается, как лживое, формальное, заземленное и лишенное глубины и мистики, мощи и т. д. Таким образом победоносно решается вопрос в первой вертикали (? — В. Я.). Что же касается второй оси, здесь вопрос решается не так просто и не так победоносно, что ли. Он скорее решается паритетно-сравнительно, причем можно сказать, что слово "решается" тоже сказано слишком смело, поскольку он скорее ставится, чем решается. Ставится же он не то чтобы произвольно. Это есть единственная возможная установка этой оси и с этого момента она, ось, собственно и начинает существовать. Именно будучи поставленной по отношению к Западу, она, собственно, впервые обнаруживает свои параметры, свои категории и самое себя, то есть без света, без присутствия западного искусства она, возможно, и не может себя назвать. Действительно, по определению, наша культура, в данном случае местная культура художественная, является именно тем, что воспринимается на фоне, при свете и по отношению к некоей культуре, которая изначально предполагается существующей на Западе (? — В. Я.). Все рефлексии, все реакции и отношения связаны с тем, как то, что делается здесь, в качестве культурного предмета относится к культурному предмету, уже существующему на Западе".

Соотнесение понятия "культура" исключительно с понятием "Запад" является просто несерьезным.

"Идеология ровно и спокойно, как нормальная ряска, покрывает всю нашу жизнь. Она может стать художественным продуктом уже в качестве естественного выразителя, активно действующего лица и представителя всей нашей жизни. Игнорировать ее как культурное явление мы не можем" (подчеркнуто мной. — В. Я.).

Поразительное открытие. Вот что такое "культура" для Кабакова. Но почему же он навязывает это представление нам, выступая от нашего имени? И если вспомнить, что свидетельствует Н. Алексеев в "Посередине восьмидесятых" ("Родник", № 12, 1980 г. Рига), "... очень показательны слова Кабакова о том, что середина 70-х годов была для него пиком страха...", то становится ясным та психологическая подоплека его творчества, которая не позволяет ему освободиться от "социальной рефлексии".

Фактически то, что описывает Кабаков как "язык культуры", это знакомое нам понятие "новоречи" (Оруэлл. "1984"), но какой же "другой" смысл оно имеет там!

Дальше в статье идет уже деловое установление иерархии в этой "культуре". *"Но почему все-таки хочется назвать Булатова прежде всего? Дело в том, что он лидирует (лидирует в культуре "ряски"? – В.Я.) хронологически – первая подобная картина Эрика относится к концу шестидесятых годов, если я только не вру (! – В.Я.), а появление работ Комара и Меламида относится к концу 70-х, другое поколение.*

*Но дело не только в хронологии, во временном приоритете. Речь идет также о более глубоком слое, об особой, именно культурной интерпретации этой идеологической продукции".*

Итак, историческое положение трех "куч" уже уточнено. Где же четвертая – "я"?

*"Но сейчас я все больше склоняюсь к идеям Булатова и надеюсь найти там какую-то особую интерпретацию во вскрытом им слое".*

*"Какое место занимает "я" в той области, казалось бы, безличной, анонимной продукции, которую представляет собой идеологическая продукция?"*

*Оказывается, "вопрос сложный, и ответ можно дать только в будущем. Удастся ли этот номер проделать?"*

Как видим сейчас, кажется, удалось.

Опять потрясающий трюк. Булатов описывается как мишень, устанавливается "сектор обстрела", по нему можно стрелять (что в следующем номере "Беседы" и сделали Комар и Меламид, не разделившие точку зрения Кабакова о первенстве в "соц-арте"), сам же Кабаков спрятался в танк под названием "Булатов", "разгромил" позиции противников и вылез из него целым и невредимым. "Я", которое, собственно, и убить нельзя, поскольку на вопрос "что это такое?" "ответ можно дать только в будущем".

Ни стилистический, ни структурный анализ этого текста не входит в мою задачу. По небрежности, даже какой-то расслабленности формулировок этот текст напоминает то милую болтовню избалованного ребенка (определение "я"), то песни акына Джамбула (по поводу Востока и Запада), то застольный галдеж. Все рассуждения идут по кругу взаимоисключающих противоречий, где каждое понятие многократно меняет свой смысл. Полное впечатление произвола в теоретическом обосновании задачи, которая, тем не менее, вполне очевидна и, если убрать замутняющие проблему "ключки" – "Я", "Оно", "Фаворский свет" и "Культура", то остаются четыре персонажа, четыре художника-"соперника", с которыми Кабаков и "разбирается".



Для историков искусства, возможно, будет интересно сопоставить время написания статьи Кабакова с большой выставкой на Малой Грузинской, 28, где участвовали все "герои" этого вскоре написанного текста.

Я бы не уделял столько времени анализу этого текста и не стал бы утомлять читателя пространным его цитированием, если бы не обнаружил сейчас очевидные результаты этой программы.

Борьба Кабакова за "мировое господство" приняла грандиозные масштабы. Он и его "команда" формируют выставки, организуют публикации, работающие на новую мифологию "Кабаков и другие" (естественно, УЧИТЕЛЬ и последователи).

На этом можно было бы поставить точку и грустно вздохнуть, но, кажется, в самой судьбе Кабакова скрыта ирония: художник, фундаментально поставивший вопрос о социальной "завербованности" личности, выразив ее в формуле "художник 1-го класса", реализуя скрытое желание войти туда, куда ему "Входа нет", сам стал "начальником" и "художником 1-го класса".

*Владимир ЯНКИЛЕВСКИЙ*

Москва

# ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Борис Свешников... Это имя давно известно любителям живописи во всем мире. Картины Бориса Свешникова еще в 1967-м приобрел знаменитый нью-йоркский Музей Модерн Арт. В 1977-м его рисунки для музеев Франции приобрело Министерство культуры Франции. Работы Свешникова неоднократно выставлялись на групповых русских экспозициях в музеях и выставочных залах Франции, Англии, США, Японии, Скандинавии, Италии, Западной Германии. И я хорошо помню успех картин и рисунков Бориса Свешникова на этих выставках, особенно в Токио, Западном Берлине и США. Гордостью моей коллекции являются две замечательные картины московского мастера: "Ателье гробовщика" и "Панихида". И сколько раз западные коллекционеры к этим холстам приценивались – и американский коллекционер Нортон Додж, и французский писатель Ди Стефано, и французский бизнесмен Мишель Брошетейн. Не скрою, порой финансовая ситуация у меня бывала сложной, но расстаться с двумя этими полотнами было свыше моих сил.

Но вернемся к выставкам Бориса Свешникова. Повторяю, он участвовал во многих экспозициях свободного русского искусства на Западе, я думаю, что примерно в семидесяти. Но вот организовать его персональную экспозицию никак не удавалось из-за того, что его произведений было в Европе и Америке маловато.

Однако недавно я привез из Москвы (приобрел для парижского и нью-йоркского Музеев современного русского искусства) одиннадцать потрясающих рисунков Свешникова из цикла "Капричос", присоединил к ним четыре старых, лагерного периода и шестидесятых годов рисунка и две уже упомянутые картины из собрания парижского Музея современного русского искусства. Свыше десяти картин и рисунков предоставил для экспозиции профессор Нортон Додж. Несколько произведений московского живописца и графика есть в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити под Нью-Йорком. Так что стало возможным провести первую персональную, причем ретроспективную, выставку Бориса Свешникова.

"А что он все-таки живописует и рисует?" – могут спросить меня любители живописи из разных уголков России.

Коротко расскажу.

Судьба художника и человека Бориса Свешникова, которого я называю рыцарем печального образа, сложилась очень трудно. В 1948 году он, студент Суриковского института, был арестован и на восемь лет брошен в сибирский лагерь. Первые три года Свешникову пришлось работать на лесоповале, силы его убывали, и ему казалось, что никогда он уже не возьмет в руки кисть. Но судьба оказалась в конечном счете к нему благосклонной. В лагере, в котором он сидел, была художественная мастерская. В ней несколько арестованных художников делали для лагерного начальства копии с Шишкина, Поленова и других художников-передвижников. Видя, что молодой их коллега чуть ли не погибает, зеки-живописцы решили его спасти и пригласили работать в ателье. Увы, подлинный художник Борис Свешников даже под угрозой смерти не мог себя заставить писать копии. К счастью, нашелся выход. Его сделали ночным сторожем лагерной художественной мастерской. И там он писал и рисовал, и как он вспоминает, чувствовал себя совершенно свободно. Никто не интересовался тем, что он делает, никто не диктовал – что и как ему изображать. Лагерные работы Свешникова – это трагический цикл, трагическое повествование, если хотите, это лагерная фантазмагорическая жизнь, схлестнувшаяся с фантазмагориями Гофмана, одного из наиболее любимых писателей художника.

В 1956 году, то есть в оттепельные времена, Борис Свешников обрел и внешнюю свободу (внутренняя всегда была с ним). Сначала он поселился в Тарусе, потом перебрался в Москву. Многие из тех людей, которые сидели в сталинских лагерях, сумели их забыть, выбросить из памяти. Свешников не смог да и не хотел забывать.

В новой жизни его искусство по-прежнему оставалось трагическим. Да и сама жизнь вокруг, сама действительность также ведь была трагической. А Свешников всегда изображал жизнь, пропуская увиденное, продуманное через свое сердце, навсегда обожженное благородное сердце. Правда, стиль его изменился (в лагере он шел от старых фламандцев, в Москве его палитра просветлела, порой он стал использовать в своих картинах приемы пуантилизма). Но при этом Свешников всегда оставался самим собой.

На персональной выставке Бориса Свешникова в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити, под Нью-Йорком, представлено свыше тридцати его работ – полотен и рисунков. На вернисаж, который состоялся первого июня, пришло множество любителей живописи – американцев, эмигрантов, журналистов и представителей Советской миссии в Нью-Йорке.

"Удивительные рисунки", – сказал мне один из коллекционеров, стоя перед циклом "Капричос", – прямо гойевская сила". Не знаю, можно ли, нельзя ли делать такое сопоставление великого испанского художника и современного замечательного русского мастера, но мне думается, было бы полезно выставить однажды на одной экспозиции "Капричос" Гойи и "Капричос" Свешникова. Я уверен, что это была бы весьма интересная выставка. Если, скажем, Эрнст Неизвестный выставлялся вместе с Генри Муром, то почему бы не поместить в одном зале "Капричос" Гойи и Свешникова. Конечно, они очень разные. Но не сомневаюсь, что по силе воздействия на людей – очень близки.

Выставка Бориса Свешникова в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити под Нью-Йорком продлится до конца сентября. А в октябре–ноябре здесь же состоится персональная экспозиция другого московского значительного мастера – Александра Харитонова.

*Александр ГЛЕЗЕР*



"Танец", х/м, 1959 г.



"Прогулка", х/м, 1967 г.



"Ателье гробовщика", х/м, 1961



## ОСКАР РАБИН В МОСКВЕ

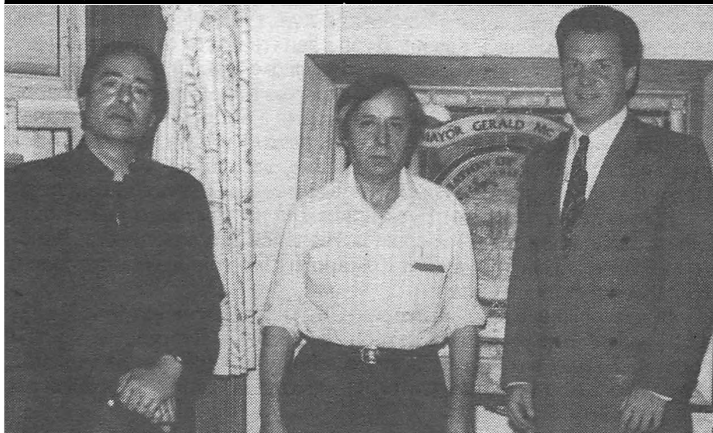
С 27 марта по 9 апреля нынешнего года в Государственном литературном музее в Москве состоялась персональная выставка замечательного русского живописца, многолетнего лидера московских художников-нонконформистов Оскара Рабина. В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. С этих же пор Рабин живет и работает в Париже.

Еще несколько лет тому назад, уже в эпоху перестройки и гласности, начальство снимало картины Оскара Рабина с групповой московской выставки "Эрмитаж".

А вот теперь — персональная. И хотя, конечно, ее можно было организовать много лучше — напечатать каталог, выставить не восемь картин и около ста рисунков и набросков, а сто картин и сколько-то рисунков — тем не менее эта экспозиция стала в определенном смысле знаменательной, стала свидетельством все большей и большей демократизации нашей страны.

Поэтому удивительно, что советская, да и зарубежная русская пресса, за исключением еженедельника "Русский курьер", не отменила факт проведения такой выставки.

"Стрелец" поздравляет своего давнего автора, выдающегося русского художника Оскара Рабина с первой персональной выставкой на родине (позади уже персональные в Лондоне, Париже /трижды/, Осло, Нью-Йорке) и выражает уверенность, что в ближайшее время в Москве состоится его персональная, ретроспективная экспозиция, организованная на высшем уровне.



## МОСТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ МОСКВА — ПАРИЖ — ДЖЕРСИ-СИТИ — ВАШИНГТОН

В конце апреля, выступая перед депутатами Моссовета, Александр Глезер напомнил о своем давнем предложении создать в Москве Центр современной русской культуры, в которую войдут Музей русского искусства, галерея русского искусства, зал для камерных концертов и литературных чтений, архив, издательство "Третья волна" (Париж — Москва — Нью-Йорк), редакции газеты "Русский курьер" и альманаха "Стрелец" и собственная типография.

— Такой Центр не только не будет нуждаться в каких-либо дотациях, но даже сможет делать отчисления от своих доходов в рублях и в валюте на культурную жизнь Москвы, — сказал Александр Глезер.

Как нам стало сегодня известно, Моссовет положительно отнесся к этой идее, и в ближайшее время архитекторы уже смогут приступить в работе.

1-го июня аналогичный московскому Центр современной русской культуры открылся в Джерси-Сити, под Нью-Йорком.

В связи с его открытием здесь 11 июня состоялась пресс-конференция Президента Центра Александра Глезера, в которой принял участие мэр Джерси-Сити, господин Джералд Мак Канн и вице-президент Центра, художник-дизайнер Виктор Добров.



В своем путешествии из Москвы в Джерси-Сити Александр Глезер остановился на две недели в Париже. Там он получил предложение от Генерального секретаря культурного фонда Даниэль Миттеран господина Рафаэля Дуэба занять пост советника музея "Ле Монд де л ар" по русскому и советскому искусству.

Этот новый парижский Музей-галерею открывает 1-го декабря культурный фонд Даниэль Миттеран. Господин Дуэб станет директором этого Музея, в котором, кстати, будут выставляться русские, грузинские, азербайджанские, узбекские художники. Подробно об этом читайте в следующем номере нашего альманаха.

В конце мая господин Дуэб приезжал на три дня в Нью-Йорк, где он совместно с А. Глезером встречался с художниками Эрнстом Неизвестным, Виталием Комаром, Дмитрием Плавинским и Владимиром Янкилевским.

Второго июня в мэрии Джерси-Сити состоялась встреча Рафаэля Дуэба, Александра Глезера и Виктора Доброва с мэром города. В ходе этой беседы представитель Франции предложил создать мост русской культуры между Москвой, Парижем и Джерси-Сити.

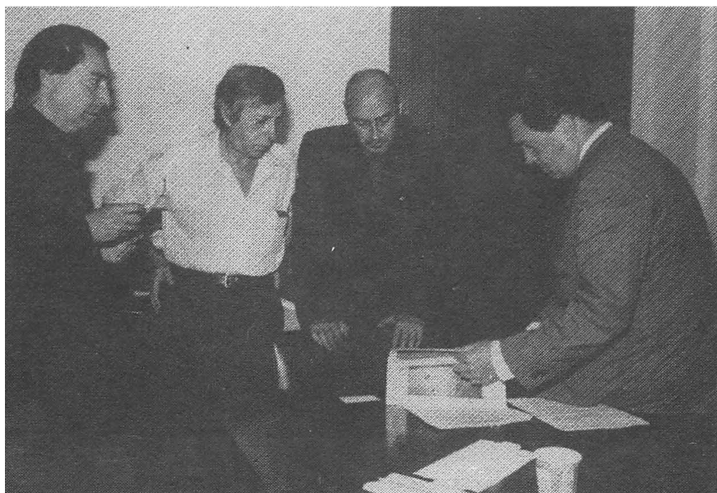
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Натальи Чепрасовой и Талеуша Чисельского.



Здесь будет музей



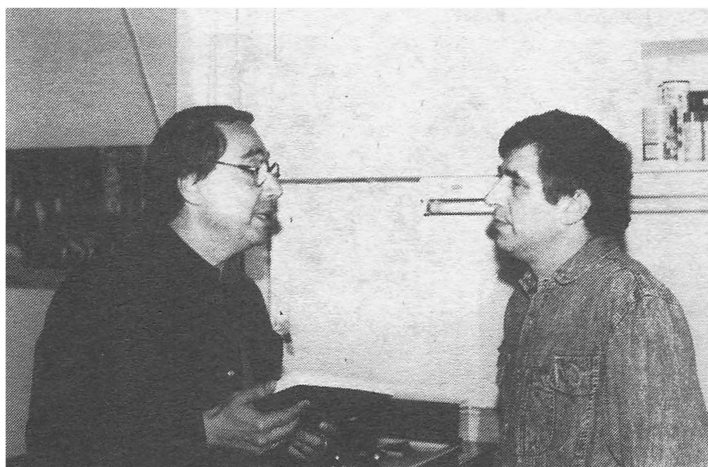
Слева направо: Генеральный секретарь Культурного фонда Даниэль Миттеран Рафаэль Дуэб, Александр Глезер и мэр Джерси-Сити Джералд Мак Канн



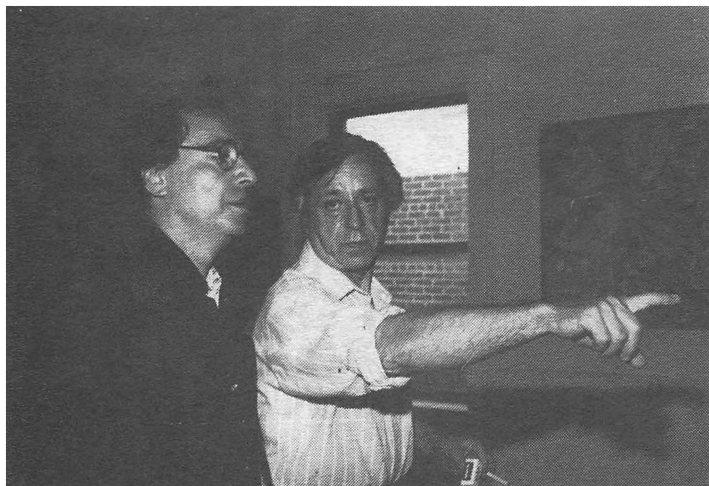
У мэра города Джерси-Сити



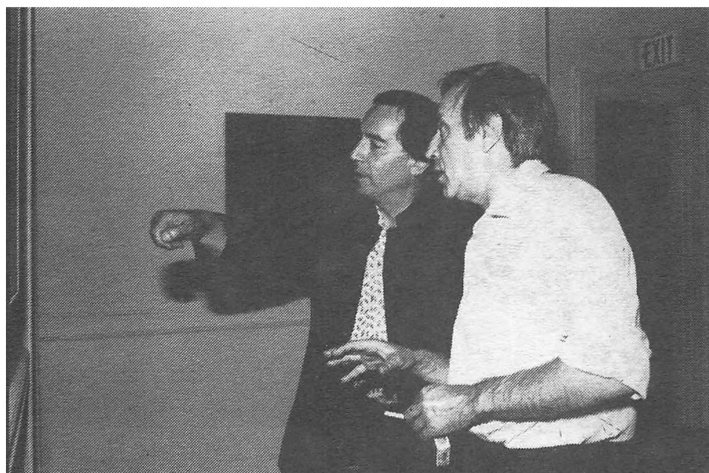
В нью-йоркской мастерской Эрнста Неизвестного



В нью-йоркской мастерской Владимира Янкилевского



Джерси-Сити, 2 июня 1991 года. В Музее современного русского искусства.





Джерси-Сити, 11 июня 1991 г. На пресс-конференции А. Глезера.





Джерси-Сити, 1 июня 1991 г. Господин Рафаэль Дуэб выступает на открытии Центра современной русской культуры.



На открытии Центра современной русской культуры выступает известный певец Михаил Гулько.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции .....	3
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ	
<i>Юрий Кублановский</i>	
Земля. Стихи .....	4
<i>Венедикт Ерофеев</i>	
Из записных книжек .....	7
<i>Ян Сатуновский</i>	
Стихи разных лет .....	14
<i>Георгий Владимов</i>	
Не обращайтесь вниманья, маэстро. Рассказ .....	23
<i>Лев Лосев</i>	
Новые стихи .....	54
<i>Сергей Юрьенен</i>	
Беглый раб. Евророман .....	61
<i>Евгений Рейн</i>	
Муравьево. Поэма .....	108
<i>Сергей Бардин</i>	
Чудо о груше. Рассказ .....	114
<i>Мария Шаронова</i>	
Дебют. Стихи .....	118
<i>Владимир Сорокин</i>	
Заседание завкома. Рассказ .....	122
<i>Владимир Цыбин</i>	
Четыре стихотворения .....	136
<i>Валерий Попов</i>	
Любовь тигра. Рассказ .....	141
<i>Владимир Большаков</i>	
«Внутри меня — своя страна». Стихи .....	159
<i>Игорь Яркевич</i>	
Два писателя. Рассказ .....	165
<i>Ирина Путьева</i>	
«О, в жизни все высокое слагается, как стих». Стихи ...	171
<i>Руслан Марсович</i>	
Чужой суд. Рассказ .....	178
<i>Татьяна Поляченко</i>	
Елена. Поэма .....	190

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Зуфар Гареев*

Ферфичкин велел пущать всех ..... 203

*Олег Дарк*

Перо, кисть и драма ..... 212

*Виктор Дмитриев*

Портрет эпохи на фоне знаменитой решетки ..... 217

*Олег Дарк*

Три лика русской эротики ..... 223

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

*Вадим Крейд*

Об Александре Алексеевиче Кондратьеве (1876-1976) ..... 230

*Александр Кондратьев*

История о воскресшем Иоэзере. Рассказ ..... 231

## ЭССЕ

*Михаил Эпштейн*

Три эссе ..... 242

## ВОСПОМИНАНИЯ

*Александр Глезер*

Опять Лубянка. Из книги воспоминаний

«Человек с двойным дном». ..... 254

## НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Беседа с Евгением Сидоровым. «Любая свобода лучше самой красивой и самой обеспеченной тюрьмы». ..... 283

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Жан-Клод Маркадэ*

Скульптор Гарри Файф ..... 290

*Владимир Янкилевский*

«Художник 1-го класса» или «Все святые, пока нет искушений» ..... 294

*Александр Глезер*

Первая персональная ..... 305

*А. Д.*

Оскар Рабин в Москве ..... 310

## СОБЫТИЯ

*Александр Глезер*

Мост русской культуры Москва — Париж —

Джерси-Сити — Вашингтон ..... 311





